Цена 90 коп. Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 3 / 1988

Константин СИМОНОВ. Глазами людей моего поколения

Николай ШМЕЛЕВ. Спектакль в честь господина первого министра. Повесть

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. Московская улица. Роман

Стихи Расула ГАМЗАТОВА, Юрия КУЗНЕЦОВА

Статьи Н. ИВАНОВОЙ, А. ИЗЮМОВА

Знамя, 1988, № 2, 1—240.

ЗНАМЯ 2 1988

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Февраль

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга вторая
ФЕВРАЛЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Изяслав Котляров

ВОЗВРАЩЕНИЕ

★

Вдруг отец распахивает сени.
Дождь... В саду ворочается мгла...
— Шел с вокзала. А со мною — Женя...
Вот до самой хаты довела...

Бабушка ключи из рук роняет,
бабушка отца не понимает:
— Женя?! Как?! Покойница-жена?!

Мокрую шинель отец снимает.
Бабушку сердито обрывает:
— Да она! Она это! Она!

За мостом окликнула несмело...
В голубом пальто и в шапке белой, —
в чем ее оставил до войны...
Что я — не узнал своей жены?!

Воду жадно пьет отец из кружки.
— Кто б сказал... Поверил бы? Ни в жизнь!
Бабушка, лицом припав к подушке:
— Гришенька, — кричит ему, — очнись!

А отец как будто и не слышит, —
словно добежал и трудно дышит.
Воду снова черпает и пьет, —
разливает, в рот не попадет.

— Шли мы с ней одни, как в той пустыне.
Все она — о Славке и Фаине...
У дверей сказала мне: «Бывай!
Женишься — детей не обижай!»

— Господи! Да что же это значит? —
Бабушка опять в подушку плачет.
А отец рыдает у стены...

Третий день, как он пришел с войны.

г. Светлогорск.

Инна Фруг

ЗВЕЗДЫ ЯСНЫЕ

Автор этих записок, Инна Фруг, была школьницей, когда началась война. Семнадцати лет, из десятого класса, она добровольно ушла на фронт, как многие юноши и девушки этого поколения.

Батальоны аэродромного обслуживания, если сравнить с пехотой переднего края, это, конечно, относительно спокойный тыл. Жизнь и тревоги здесь совсем иные. И все-таки война есть война, женщинам на войне особенно нелегко, а ведь более восьмисот тысяч женщин сражалось на фронтах — летчицы, снайперы, связистки, медсестры, прачки — знаменитые и незнаменитые. Как мало рассказано об их труде, об их беспримерном подвиге.

В одном из писем, которые прочтет И. Фруг, отец ее писал, что ему бы, а не ей быть на фронте. Но это одна из трагедий времени, предопределившая многие трагедии минувшей войны; фашисты подходили к Волге, а за Уралом, в глубинах Сибири, на Колыме, отторгнутые от семей, от главного дела своей жизни, содержались под конвоем армии преданных сыновей Родины, многие из них, как о счастье, как о высшей чести мечтали попасть на фронт.

В этих дневниковых записках есть узнаваемые черты времени, характеры людей и есть главное, что отличало поколение: чистота помыслов, вера в справедливость дела, которое выпало отстаивать на полях Отечественной войны.

Григорий БАКЛАНОВ.

В августе 1941 года я с мамой, Екатериной Осиповной Маневич, и младшей сестрой Янкой эвакуировалась из Москвы в село Усть-Гаревая Пермской (в то время — Молотовской) области. Мама преподавала историю в единственной здесь школе — неполной средней, а Янка училась в 6-м классе.

Эвакуировались мы именно сюда, потому что здесь уже была семья моей двоюродной сестры Муси.

Осенью мы с ней уехали в Добрянку, районный центр, где была средняя школа; я училась в 9-м, Муся — в 10-м классе.

Отсюда я написала свое самое первое в жизни письмо маме, потому что впервые с ней рассталась.

«Мамочка! Мы устроились замечательно, если бы не война, то больше и желать нечего. Дарья Андреевна замечательная, она все умеет делать! А какая она хозяйка! На окнах белоснежные занавески, в доме необыкновенная чистота, она прекрасно готовит.

Мы с Мусей перед школой пьем утром чай, в школе на большой перемене староста приносит поднос с черным хлебом — каждому по кусочку.

Школа мне тоже понравилась. Ребята отнеслись ко мне, как к старой знакомой.

Кто меня особенно поразил, так это историк, Молдавский Константин Павлович,— замечательный старичок! Такого и в Москве вряд ли встретишь!

Некоторые имена и фамилии изменены.

Знаешь, у нас есть два очень хороших мальчика с очень интересными именами: Леонард и Рэм. Рэм — это «Революционная Электрификация Мира».

Было и такое в письмах:

«Есть совершенно нечего. Пью только подсоленную воду. Здесь одна эвакуированная девочка сказала, что это очень полезно, но есть все равно хочется».

«Вот уже месяц как я хожу без рубашки и без чулок. Чулки все порвались. Я их штопаю каждый день, но ничего не получается, так как кругом дыры. Ношу носки и гетры, но в них очень холодно».

«Сегодня с Мусей идем в деревню — менять хоть на что бабушкины тюль и зонт».

«Вчера во время пленума потеряла сознание. Но прошло быстро. Ребята довели меня до дома. Странно, ведь там нам в буфете давали по булочке и даже квас».

«Мамочка! Пожалуйста, постарайся достать хоть какой-нибудь обмылок!»

...Вспомнилось: еду в санях из Усть-Гаревой от мамы в Добрянку, везу мешочек с мукой, которую мама не помню уж как и за какой срок насобирала. Дремлю... Вдруг — мужской смех, скрип полозьев — кто-то обгоняет наши сани и ко мне летит мой мешочек с мукой, незаметно оброненный дорогой: «Э-эй! Девка! Мотри! Голодна будешь!»

В Добрянке я получила первые страшные известия о гибели ребят из моего московского класса — Славы Тимофеева, засыпанного обвалом при рытье окопов, и Олега Рудановского, убитого на фронте.

В Добрянке не давал мне покоя огромный плакат: «Ты чем помог фронту?» — палец бойца, изображенного на плакате, указывал на меня.

Добрянка — город первых моих серьезных размышлений и самостоятельных поступков. Здесь, в семнадцать лет, я подала заявление на фронт.

Наш военком, Павел Иванович Некрасов, порвал его, сказав: «Пока мы таких девочек не берем». «Креста на тебе нет!» — кричала Дарья, узнав о заявлении.

Я продолжала ходить в военкомат и райком комсомола, но меня не брали. (Муся была уже в армии — она старше меня на год.) Тогда я заставила маму пойти к Некрасову и просить за меня, предварительно упрекнув ее, что она не такая, как матери из «Сказок об Италии» Горького, что она до сих пор «не подавила в себе животный инстинкт»...

«Креста на вас нет! — кричала Дарья Андреевна и топала ногами, когда мама пришла из военкомата,— мать девку свою во солдаты гонит!»

Но Некрасов маму не послушал.

Я продолжала ходить в военкомат.

27 ноября 1942 года пошла на очередную отборочную комиссию, предварительно сделав уроки, так как была уверена, что в армию меня снова не возьмут. Но меня взяли. Взяли потому, что на этот раз нужны были парикмахеры и повара, и тут можно было пройти как-то и до восемнадцати.

Я собралась за два часа.

Провожала меня вся наша школа, добрянские знакомые, Дарья Андреевна.

Катя Вдовина принесла мне в дорогу калигу (печеную брюкву) — чудесное уральское лакомство, Муза Санникова — два соленых огурца, Катя Чиркова — 40 рублей, Роза Королева — ножичек и носовой платочек, Роза Орлова — вареную картошку. Варя Матюхова, соседка по парте, поспешно сунула мне за пазуху свернутые чулки. (Когда я потом развернула их, сразу узнала — это были единственные Варины чулки, в них она все время ходила...) Анна Михайловна Некрасова, первый секретарь Добрянского РК ВЛКСМ, дала мне кусок туалетного (!) мыла и замечательную зубную щетку. Дарья Андреевна — луковицу.

Под беспрестанные, подгоняющие меня гудки грузовика, на котором мы, несколько мобилизованных женщин, должны были отправляться, я кричала в телефонную трубку: «Мамочка! Я в армию ухожу! Точно! Сейчас ухожу, сию минуту!» А она не понимала или не верила (не один раз я уже «уходила»): «Ладно, ладно, уходи! На днях приеду, картошку тебе привезу...»

У военкомата неподвижно стояла Дарья, истово крестилась, крестила меня и грузовик.

У Дарьи Андреевны я оставила маме поспешно написанную прощальную записку:

«Мамочка, моя родная, любимая! Мамуся, я счастлива, я еду наконец! Прости, прости, что ничего тебе не сказала заранее — я сама ничего не знала. Узнала сегодня и сегодня ухожу, собралась за 2 часа.

Мамуся, родная моя! Я все напишу тебе с дороги.

Если ты настоящий человек Советского Союза, если для тебя честь и свобода Родины выше мелочей личного, то не плачь (или поплачь немного).

Мама, пойми,— для меня нельзя было иначе. Помни об этом всегда!

Крепко обнимаю и целую тебя и Янку».

С дороги я написала маме три письма — из деревни Болезио и городов Любим и Ярославль. Это были первые солдатские треугольники со штемпелем военной цензуры. Потом, уже из армии, мама получила еще 107 моих писем. Все они сохранились.

15 декабря 1942 года я прибыла в деревню Будрино Ленинградской области, в 52-й батальон аэродромного обслуживания (БАО). Там и началась моя фронтовая жизнь.

Закончилась она после нашей Победы.

15 октября 1945 года я была демобилизована и из деревни Шаковнцэ (Чехословакия) вернулась на Родину.

В течение трех этих лет я вела дневники. Сейчас они передо мной — шестнадцать блокнотов, десять из которых самодельные: сшиты из толстой оберточной бумаги.

Первая запись в дневнике была сделана 31 декабря 1942 года.

31.XII.42 г. дер. Будрино, Ленинградск. обл.

Я в армии, в землянке. Наступила моя юность. Детство позади.

По радио, вместо новогоднего приветствия, голос диктора: «Гитлеровские палачи на глазах детей и женщин расстреляли двенадцать стариков, сожгли деревню...»

О, как я ненавижу фашистов, этих гадов, как ненавижу! И я добьюсь всего, что нужно, я тоже научусь бороться!

12.I.43 г.

Сегодня мы, девять девушек, прибывших в 52-й БАО 15 декабря, приняли присягу! Мы с Клавкой страшно волновались, но все прошло очень хорошо и очень торжественно. Теперь все!!!

15.I.43 г.

Из землянки к столовой — узкая дорожка. Кругом сугробы. Мы, девушки роты связи, идем с котелками за ужином. Мы все — почти одинакового роста. Идем и поем. Только месяц ранний смотрит на нас. Месяц — наш друг дорогой: ночью на посту с нами, и в лесу на глухой дороге, и просто так.

Почему-то всегда, когда идем за ужином, поем: «Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо, я вижу в открытом окошке твое дорогое лицо». И всю песню. Сегодня Настя Верезубова вдруг остановила строй да как закричит: «Кто кого видит?» Все стали называть парней, а я сказала: «Маму». Все засмеялись и пошли строем дальше, и снова запели «Иду по знакомой дорожке».

28.I.43 г.

...Стою в сосновом лесу одна, на посту. Караулю наши машины. Кругом снег. Пахнет смолой и морозом. Все время вспоминаю Добрянку. Как быстро все промелькнуло!..

Появились звезды. Я стою прямо под Полярной звездой.

...Звезды ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные...

...Заиграл на гармошке старшина Верюжский и запел свое неизменное: «На заре на зорьке...» Когда он играет и поет, то всегда низко-низко склоняет голову и мотает ею во все стороны. Мне кажется, что при этом он думает о своей единственной 13-летней дочке, которая сейчас в детском доме в Вологде...

24.II.43 г.

Вчера в землянку пришел зам. нашего командира по политчасти лейтенант Володин и приказал собрать всех девушек: «Такое дело...».

Все быстро собрались. Стало тихо.

Володин сказал: «Штаб 14-й Воздушной Армии разрешил девушек таких частей, как наша, по желанию отправлять на передовую». Стало еще тише. Не сдерживая счастливых улыбок, мы с Клавой переглянулись. «Если есть желающие, то подайте мне рапорт не позднее шестнадцати ноль-ноль. Есть желающие?» Все закричали: «Есть! Есть!» Но... кроме нас с Клавой, рапорта никто не подал.

Как же так?

К вечеру я узнала, что это набор в зенитно-пулеметную батарею — с небольшой подготовкой и быстрой отправкой на передовую. Мы с Клавой ликовали, но за ужином Октябрь Филиппов по секрету сказал нам, что командир нас не отпускает...

А ехать-то надо завтра в 9 утра! Мы чуть с ума не сошли, бросили ужин и помчались к командиру. Он был в штабе, на телеграфе. И он неохотно, но подтвердил, что, действительно, нас не отпускает: «Можно и здесь всему научиться, а потом уже ехать!», «Вас в роте и без того считают полноценными», «Не надо спешить, все придет в свое время» и т. д. и т. п. И тут, как в Добрянке: «Все в свое время». Но почему же никто не хочет понять, что это как раз и есть наше время?!

Возможно, будет еще набор. Так сказал лейтенант Володин, но я уже им не верю — ни ему, ни нашему командиру. Решила обратиться к начальнику особого отдела майору Горскому. С ним дружит наш младший командир Танька Клименко. Она тоже советует.

Между прочим, Таньку мы все терпеть не можем — она очень несправедливая и злая, но это к делу не относится.

7.III.43 г. дер. Градобить, Калининск. обл.

От Муси пришло письмо, которое меня очень удивило. Она пишет: «Будь одна, чтобы в твоем сердце не было привязанностей ни к кому. Это на войне излишне». Ну и ну. Я с ней абсолютно не согласна и сейчас ей об этом напишу. Правда, грузинская поговорка гласит: «Человек должен иметь сердце из стали, тогда у него может быть кольчуга из дерева, и он не испугается в бою».

«Сердце из стали»... Вряд ли мне этого когда-нибудь добиться. Впрочем, это поговорка, а люди побеждают со своими обычными сердцами, но быть одной — без друзей, без «привязанностей», как пишет Муська, я никогда не смогу, это уж точно.

15.III.43 г.

Шли вечером с аэродрома. Впереди шел капитан Житков, и я решила у него узнать, будет ли сегодня ночная работа. Подбежала к нему: «Товарищ капитан!» Но не успела произнести «разрешите обратиться», как он повернулся, наклонился ко мне и сказал: «Что, миленькая?»

Я страшно растерялась, а он совершенно не заметил, что так сказал. Только тогда я поняла, что и командир тоже должен быть ласковым. Хорошо, если бы все командиры были такие. Ведь одно слово — а как надолго оно остается в душе.

18.III.43 г.

Моя винтовка:
ИЖЕВСКИЙ
оружейный завод
1924 г.
№ 48409
Магазинная коробка № 6325
штык № 52032.

20.III.43 г.

В самом начале службы наш младший командир Октябрь Филиппов сказал нам с Клавкой Галкиной, что если погиб весь караул, то снять часового с поста может только сам командир части и непременно с развернутым знаменем.

Возможно, Октябрь сам так считал, может, пошутил, но 17-го на занятиях Клавка именно так и ответила на этот вопрос, и ей попало, но и сегодня на занятиях она сказала точно так же, потому что нам с ней это очень нравилось. И вот результат: Клавка получила наряд вне очереди.

Снять же часового с поста в таком случае должен не командир, а дежурный по части. И без всякого знамени. А вообще-то жаль.

27.III.43 г.

Сегодня мне 18 лет. Вот он, тот заветный возраст, о котором я так мечтала, чтобы меня скорее взяли в армию! И неужели так уж нужно было его ждать? Просто смешно...

Мой день рождения всегда ведь соединен с весной — март! — но здесь я это особенно чувствую. В лесу начала распускаться верба. Под стволами вытаивают желтые сосновые иголки.

Мы живем в 5 км от деревни, в маленьком домике, в сосновом лесу. У нас там прекрасные нары.

Ходим на пост через густой лес, и ночью это страшновато. И вот мы сговорились: для того, кто бежит лесом на пост, остальные поют у открытой двери домика, чтобы не было так страшно. Песню слышно далеко.

29.III.43 г.

Лед тронулся! Я поговорила с начальником особого отдела, майором Горским. Он редкий, замечательный человек. Я рассказала ему о всех своих планах и мечтах. Он меня отлично понял и дал слово, что при первом же наборе направит нас с Клавой на учебу или на передовую.

Мы с ним о многом еще говорили. Горский необыкновенно внимателен, его интересует буквально все в моей жизни. Он первый из всех здесь (конечно, не считая Клавы) прочел то большое прекрасное папино письмо из Котласа. Оно ему тоже очень понравилось, и он вообще такого мнения, что отец ни в чем не виноват. Горский просил и в дальнейшем приносить ему папины письма, но дело в том, что как только я ушла в армию, папа почему-то перестал мне писать,— пишет только мама.

Вышла от Горского в приподнятом, радостном настроении. Это был мой самый счастливый день в армии!

30.III.43 г.

Маме отправила справку, что я в армии, по ней ее и Янку будут официально считать семьей красноармейца.

Оказывается, в январе из нашего класса ушел в армию Илья Чернышов. В армии и Лида Манакова, сестра Левы.

2.IV.43 г.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «ЗА ЖИЗНЬ» («Советский пилот»)

«Забудем про все на свете, кроме одного: немцы на нашей земле. Пусть эта мысль жжет наше сердце, гложет нас изнутри, не дает ни минуты отдыха (...)»

«**Нет сейчас ни книг, ни любви, ни звезд, ничего, кроме одной мысли: убить немца**»[1].

«**Мы, наше поколение, несем ответственность за судьбу России**».

«Гитлер не споткнулся о линию Мажино, стоившую двадцати лет труда и миллиарды, он споткнулся о храбрость двадцати восьми панфиловцев».

8.IV.43 г.

Под Сталинградом окружено 22 дивизии. Из них в плену 91 тыс. чел. Взяты в плен фельдмаршал Паулюс, 24 генерала и 2,5 тыс. офицеров.

Всего разбито 102 дивизии:
Орудий — 13 тыс.
Танков — 6 тыс.
Самолетов — 3 тыс.

Мы продвинулись в глубину свыше 400 км.

12.IV.43 г.

Сегодня по-настоящему первый весенний день.

Речка почти вся уже чистая, только кое-где еще медленно проплывают льдины. Широкое небо. Сосны. Березы. И проталины... Что-то вспомнилось... Блок! «И на полях блестят проталины...»

Остро чувствую, что все здесь — Блок и Левитан!

Первая зелень. Салатная, намек на нее...

И все во мне сливается с этим прекрасным миром! Я знаю, что сейчас я очень красивая.

26.IV.43 г.

Еще и еще раз убеждаюсь, что впервые встретила такого гармоничного и прочного человека, до конца верного себе, как Клава Галкина.

Вчера после дежурства проговорили с ней всю ночь.

Именно с Клавой, при любом сравнении с ней, я вижу все свои недостатки особенно отчетливо. Иногда я просто ненавижу себя.

Например, Клава обо всем совершенно — молчит. Вот и мне надо быть строже, а то я уж больно откровенна со всеми. Это надо учесть. Но так молчать, как молчит Клава, я, наверное, все равно никогда не смогу. Такая сдержанность и строгость!

Кстати, Клава очень сдержанна даже в дневниках, я знаю. Она старается писать скупо, особенно о своих чувствах. Ее дневники заставили меня особенно многое пересмотреть в себе. Главное, что я поняла: молчать надо о всяких своих бедах, это уж точно! И не только потому, что не следует показывать свои слабости, а главным образом потому, что не надо ими обременять даже самых близких людей, что я разрешала себе в детстве и совсем еще недавно.

Насчет Клавы важно еще и то, что, если ты заметишь у нее самой какую-нибудь слабость и скажешь ей об этом, она никогда не обидится и обязательно начнет все исправлять. И всегда перенимает все ценное. Да, Клава ничего, кроме своего села Кукеты, не видела, но, не в пример городским девушкам,— все умеет. И выше их во много раз — ведь она сама создает себя!

Но чем я была совершенно потрясена и восхищена, так это тем, что Клава л ю б и т!

Теперь у меня остается один вопрос, который меня страшно волнует: полюблю ли я и когда это будет? Наверное, будет. Но вопрос именно в этом: к о г д а? Дело в том, что хочется сейчас.

28.V.43 г. В дороге

Еще одна перебазировка, и вот мы под Москвой! Здесь наш эшелон стоял долго, и я три раза была в Москве — меня каждый раз отпускали на сутки.

[1] Здесь и дальше выделения в цитатах сделаны мною.

Все мне казалось сном.

Город тот же, совсем не изменился.

Была в Островском переулке, на нашей квартире. У нас живут Лукашевы. Отец их в Свердловске, а мать работает здесь, в РК ВКП(б); они перешли в нашу квартиру из соседнего дома. В армии у них никого нет. Судя по всему, выселить их будет трудно.

Когда я вошла, дома как раз была сама Лукашева. Она спросила: «Вы кто?» А я сказала: «А вы кто? Это — наша квартира!» Она хоть и наглая, но отступила назад и замолчала (я ведь была в форме!).

Я прошлась по всей квартире. Абажур в бабушкиной комнате висит наш, этажерка и буфет на новом месте. В детской стоят наши с Янкой кровати, только застланы они какими-то особыми покрывалами, по-моему, китайскими — с яркими птицами, отчего мне стало как-то не по себе... В квартире появилось много дорогих вещей. Потом я пошла в кабинет и села на папин диван. Потом встала и быстро ушла.

Договорились с Ирой Малининой (она в Москве), что пришлю ей справку о том, что я в армии, и Ирка будет действовать. Конечно, сейчас самое главное, чтобы через военкомат действовала мама, причем срочно, но она почему-то всего боится... А ведь именно ей надо писать и писать на наше домоуправление, тем более что у нас теперь новый домоуправ, какая-то женщина. Я ее так ни разу и не застала, хотя заходила трижды.

Два раза была у Иры дома. Видела и ее мать.

...Вот мы стоим с Ирой друг перед другом и страшно смущены. Ира тоненькая, с красиво уложенными волосами, элегантно одетая, на руке замечательные часики, а я — в сапогах, в гимнастерке, в пилотке. Ира с матерью в один голос восклицают: «Ну, парень! Прямо парень! И движения какие-то новые, и вообще — тебе так лучше».

Да, тут они правы: мне действительно так — лучше.

Разговор не клеится, а ведь Ира была одной из самых близких моих подруг!

Потом Ира поставила пластинку «Татьяна», которую я так часто вспоминала в Добрянке, мысленно напевая ее с грустью и болью, а сейчас прослушала совершенно равнодушно. Ирка же станцевала под нее с одним из поклонников матери, который здесь был. Мать Ирки, с лицом, покрытым густым жирным кремом, томно полулежала на диване. Вдруг она произнесла:

— Ну, Инна, а пользу-то вы вообще приносите? Девушки? Я что-то не пойму.

Я не ответила.

Ирка рассказала, что Сережа Лобашков и Цинк — летчики, а Юрка Щукин — интендант. Лена Морозова уже два раза была замужем. Второй ее муж старше Лены на 21 год («слегка пробивается седина...»). Он заслуженный деятель искусств, режиссер Казахского театра. Ирка сказала: «Ну что ж, правильно поступает, ведь она начинает карьеру» (!). Я просто обалдела.

Наташа Рашина все еще в Звенигороде, в больнице. Я была у них дома. Долго разговаривала с ее родителями. Анна Валерьяновна держится, а вот Адольф Григорьевич плохо выглядит, страшно худой, зубов нет, в огромных глазах ужас... Когда он говорит, у него дрожат губы. Ему разрешили продолжать работу, и он начал писать статьи и даже книгу по экономике, но Анна Валерьяновна говорит, что у него пока ничего не получается: просто сидит весь день над бумагами и ничего не пишет...

Сережи Бляхера в Москве нет. Они, оказывается, все в Омске. Если бы Сережа был в Москве, мы бы непременно сходили в нашу школу, но без него я не пошла.

Вспомнилось, как мы с Янкой шли в школу после ареста папы. Мы шли и собирали опавшие кленовые листья. Янка сказала: «Давай сегодня хоть немного опоздаем». Мы шли медленно, но не опоздали. У раздевалки нас встретила школьный секретарь и сказала, что меня вызывает директор.

Николай Яковлевич Сикачев ходил по своему кабинету, а когда я вошла, подошел ко мне и спросил: «Что, Инна, папу взяли?» «Да»,— сказала я. Он снова стал ходить по кабинету, потом сел за стол, обхватил руками голову и стал раскачиваться из стороны в сторону. Потом сказал: «Иди».

Маме я не стала об этом рассказывать, чтобы еще больше ее не волновать, а сама волновалась. Кто и зачем сообщил о папе в школу? И главное — тут же, прямо наутро!.. Я рассказала об этом Наташе Рашиной, и она сказала, что когда арестовали ее отца, ее тоже вызывал утром Сикачев и так же ходил по кабинету... Мы с ней подумали, что, наверное, так положено, но не могли понять — зачем, я и сейчас не понимаю.

Еще вспомнилось, как нас всех — классами — выводили с уроков в большой зал и выстраивали там, чтобы мы организованно прослушивали радиотрансляцию об очередном разгроме новой антипартийной группировки. В зале не раз звучали фамилии наших ребят, т. к. говорили об их отцах. Помню, как Света Каминская вдруг упала — потеряла сознание.

Наверное, я все это вспомнила потому, что шла от Рашиных и только что видела Адольфа Григорьевича.

На душе стало тяжело, смутно.

Потом вспомнила, как все мы — тоже классами, всей школой — ходили в «Ударник» на фильм отца Лены Мачерет «Если завтра война». Колонну сопровождала Ленина мама.

Сейчас я особенно отчетливо поняла, что мне нисколько не хочется быть на месте Иры и других, кто так хорошо устроен в Москве, так прекрасно одевается (в Москве вообще много разодетых девушек). Я считаю более счастливой себя. И я с гордостью шла по своей Москве в солдатской форме. Но в то же время мне было стыдно. Ведь чтобы заслужить даже увольнительную в этот город, не говоря уже о дальнейшей жизни на «московских широких просторах», нужно очень много сделать лично. А что сделала я? Ничего. Вот об этом я и думала все время в Москве, где бы ни была.

Купила себе книги, бумагу и гуталин, а остальные деньги проела на молоке. Выпила два литра!

Когда вернулась после последнего посещения Москвы к своему эшелону и увидела всех наших, была безумно рада. Будто век всех не видала!

Старшина Верюжский смеется: «Эх-эх, товарищ Фруг! Какая же вы раньше были,— в трех парах валенок путались! Но я смотрю, вижу: у человека есть самолюбие. Ну, думаю, все в порядке. Успокоился. Да, сильно вы за один год изменились, большую школу прошли. Такую и за пять лет мирной жизни не получили бы. Молодец!».

Я была счастлива.

Ночью у эшелона спали под открытым небом, под цветущими яблонями. Утром купались в речке.

Вечером старшина и Сашка Марьяшин уселись на пни с гармошками. Сашка серьезно посмотрел на всех, быстро перебрал лады, и вот — вальс! Все стали танцевать. Внезапно Сашка смолк, но сразу же заиграл старшина. Мотает головой, улыбается... Потом снова заиграл Сашка, а старшина перестал.

Нет, ни за что я не променяю эту свою жизнь на любую «прекрасную» сейчас в Москве! Сейчас мой дом здесь.

На следующее утро наконец-то была погрузка. Погрузились быстро и уже едем. Куда — не знаем, но путь наш только вперед и в этом — счастье!

Между прочим, самое сильное впечатление, которое я испытала в Москве, было в момент, когда я выходила из метро на своей остановке и вдруг услышала гул Москвы.

14.VI.43 г. дер. Б. Тишанка, Воронежск. обл.

Проезжали мимо Воронежа. Город весь абсолютно разрушен. Сейчас стоим

недалеко от него, в деревне. Кругом яблони. Жара. Яблоки уже есть, но маленькие и зеленые.

В ночь иду дежурить на кухню. Дорогой почему-то снова думаю о значении, особенно в армии, обыкновенной (просто до жути!) человеческой ласки, нежности. А ее так мало... Но это не потому, что ее нет в людях. Наоборот, ее очень много в каждом, но каждый старается ее скрыть, стесняется ее проявлений. Ну вот, хотя бы я. Ведь знаю, что рядом другой, мой товарищ, ждет того же, но упорно молчу, вида не подаю, а то даже крикну громко, и как раз в тот момент, когда человеку надо сказать что-то мягкое... А сама жду...

По отношению ко мне ласковых обращений было два-три, да и то пустяковых, но я чуть не ревела потом, и внутри все опускалось, так что, наверное, правильно, что все мы сдерживаем себя и кажемся излишне суровыми, скрываем свою нежность, а то — чуть больше ласки, и пропал!..

15.VI.43 г.

Все еще продолжаю думать о вчерашнем. О скупости наших чувств. Все это сложно... В начале войны я выписала чье-то изречение: «Люди долга далеки от сентиментальности, от излишней чувствительности, их переживания проявляются скупо, но сильно и глубоко». Но это все равно никого не оправдывает, и меня в том числе, и ничего не решает...

24.VI.43 г.

дер. Хорольское, Воронежск. обл.

Я знаю, что никогда не полюблю просто так, но именно сейчас, в 18 лет, любить очень хочется. Но... пока е г о нет. Будет ли?

Иной раз подумается: а вдруг т а к и х и не бывает? Вдруг я вообще промечтаю так всю жизнь и на этом все и кончится? Ведь немало уже парней предлагали мне дружить, но я не соглашалась. Даже Клавка раз засмеялась: «Проищешь!» Но все же моим девизом остаются слова Чернышевского любимые и Зоей Космодемьянской: «Умри, но не давай поцелуя без любви» (!) Здесь я верна себе, это выше всех моих сомнений. Буду ждать.

18.VII.43 г.

дер. Александровка, Воронежск. обл.

Пришла на телеграф и там прочла в газете о гибели 7300 чел., жителей Краснодара, в душегубках — особых машинах, куда немцы пускают окись углерода.

7300! 7300!

Гестаповцам помогали 11 наших, русских, причем среди них — одна ж е н щ и н а!.

25.VII. 43 г.

дер. Цыплавка, Украина

Мы прибыли на передовой аэродром — у Белгорода, в 40 км от фронта. Отсюда каждый день наши истребители летают на задания. Я теперь дежурю на старте. Сижу на фонике [1], жду, пока появятся самолеты.

В этот раз в дороге многое видели. Кто не видел эшелонов с ранеными, тот не поймет, что это такое. Мы помогали их носить на носилках в вагоны, а они, эти люди, окровавленные, страшные, еще улыбались, шутили!..

Вчера получила письмо от Наташи Рашиной. Она пишет: «Я считаю, что заниматься изо дня в день этой тяжелой мужской и, наверное, нудной работой, какой занимаетесь вы, гораздо труднее, чем совершить разовый подвиг». Я не могу считать Наташины слова оправданием себе, но на душе стало легче.

---

[1] Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом — звуковым сигналом (не звонок) низкой частоты.

1.VIII.43 г.

По радио звучит: «Так выпьем за славное имя, что в битву народы ведет!» Как я счастлива, что живу в одно время с этим Человеком, чье имя действительно звучит гордо, кому принадлежат прекрасные слова: «Будет и на нашей улице праздник!»

8.VIII.43 г.

На расстоянии 700—800 метров видно движение ног. На расстоянии 300—400 метров — цветное пятно. На расстоянии 200 метров видно очертание головы и плеч человека. Семьдесят пар шагов равны ста метрам. (Из Устава.)

Выучить наизусть!

12.VIII.43 г.

с. Хатное, Украина

...Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы своими руками оградим!

Все это так сильно, так дорого — эти слова, эта песня!.. А как дорого — писать не буду. О таком сокровенном говорить как-то не хочется, нельзя, хотя я могла бы написать целую поэму и об этой песне и обо всех нас. Целую поэму!

28.VIII.43 г.

ст. Рогань, Украина

Пять дней назад здесь были немцы. Когда мы пришли, деревня еще дымилась. Кругом развалины, среди которых местами торчат железные кровати и печные трубы. Пепел. Население рассказывает жуткие вещи, все плачут. Нас встречают замечательно, пытаются чем-то угостить, но у них, кроме семечек, ничего нет. Кругом стоят черные перезрелые подсолнухи.

ст. Основа (Сухая Балка), Харьковская обл.

Есть такие чувства, которые можно назвать законченными — настолько они полные. Такое чувство я испытала сегодня на концерте, наблюдая за слушателями. Концерт был в клубе железнодорожников. Клуб был уже весь полон, а люди все шли и шли.

Вначале на эстраде выступал красноармейский ансамбль, а потом появилась девушка в военной форме, с чудесной улыбкой. Она пела много песен. Вообще-то зрители мы шумные, но тут наступила полная тишина, и всем сразу стало грустно.

Я жду, я люблю, я тоскую...

Я осторожно обернулась и посмотрела на море голов, лиц. Все — будто один человек. Все в эти минуты — вместе, у всех — одни чувства и красивые лица, и они словно осенены тихой радостью. Песня сняла с них суровость, размягчила их, сделала добрыми до невозможности. Этого выражения лиц в обычные дни не бывает: все, все прячут нежность на... п о с л е в о й н ы!

27.IX.43 г.

Сегодня исправляла линию. Обрыв был очень далеко. Когда я его нашла, то оказалось, что кабель утащил за собой У-2 и мне не хватает метров 400. Идти на узел за новым кабелем было далеко, и я решила «набрать». Сбрасывала провод со столбов, разъединяла двойной, немецкий и т. д. Провозилась долго, но все равно шести метров не хватило. Хоть умри — нет и все! Пришлось возвращаться.

И тут мне сказали, что в 16.00 я должна уезжать на новую точку (был час дня), и я пошла собираться к отъезду, обедать, заканчивать стирку. Конечно, командир разрешил, тем более что по этой линии не звонили, но все же послал туда Федулова — закончить.

А я поступила низко. Нужно было сделать все до конца, что бы там ни было.

3.X.43 г.

Почему я так не хочу болеть, даже боюсь этого? Потому что можно умереть.

И не так уж страшна сама смерть, но умереть в 18 лет!.. Ведь в жизни еще ничего не сделано, н и ч е г о. Страшно именно это.

5.X.43 г.

Стою перед зеркалом в голубой майке, и мысли у меня... Я думаю о том, что мне (!) нравится моя фигура, тоненькая талия, высокая грудь!

Это ужасно, я прекрасно понимаю...

Да, много еще предстоит работать над собой...

11.X.43 г.

Сегодня получила две открытки от мамы. Уже из Москвы! Мама с Янкой в Москве!!

Пока живут в Тихвинском, у Корстов.

Я думаю, что теперь, когда мама в Москве, она добьется возвращения нашей квартиры. Ей, конечно, помогут, к тому же мама с Янкой — семья красноармейца, а у Лукашевых на фронте нет никого. Между прочим, Наташа недавно написала, что собирается пойти к нам на квартиру и все устроить.

17.X.43 г.

Дежурю на КП, в землянке. Стол — выступающий из стены высокий четырехугольник земли. Мигает коптилка. Писать неудобно. Оперативный дежурный кемарит. Хотя сейчас середина октября, здесь очень жарко.

Все время думаю о маме. Я не могу понять простой вещи: как это мама не может доказать, что это — н а ш а квартира?! Там же стоят наши вещи, книги; там же соседи, которые все знают! Да ведь мы прописаны там! Нет, не понимаю.

2.XI.43 г. утро. местечко Нижне-Ланное, Украина

Получила много писем, а от мамы снова открытка.

Мама с Янкой живут теперь у Черномордиков — от Корстов почему-то уехали. Мама до сих пор не работает. Я буквально ничего не понимаю, т. к. мама пишет сейчас одни открытки — для нее главное сообщить мне свой новый адрес. Неужели Лукашевы навсегда укоренились в нашей квартире? Я советую маме забрать хотя бы наши вещи и продать их, ведь у нее нет денег.

Я потрясена, что никто до сих пор не устроил маму на работу в одну из московских школ. Если бы мама работала, то не только бы имела деньги, но быстрее устроилась и с жильем, пока не вернут нашу квартиру.

2.XI.43 г., вечер.

Пришло письмо от Розы Орловой — из Добрянки. Она написала, что на фронт ушел последний мальчик из нашего класса — Лева Манаков. Самый молодой.

3.XI.43 г. дер. Соленивка, Украина

Работа моя идет хорошо, но приходится много делать не по специальности. Раньше я это воспринимала болезненно, а теперь понимаю: на такое «переживание» не имею права. Делать надо все, что велят. Это нужно. И я делаю.

Горский совершенно неожиданно отказался дать мне рекомендацию в партию, хотя раньше неоднократно ее предлагал. Сказал, что вместо него даст Орлов — один наш пожилой связист. Относится Горский ко мне внешне по-прежнему хорошо, но все это не совсем так, я чувствую. Очень жалею теперь, что показывала ему папины письма.

14.I.44 г. Кировоград

Мы пересекли Днепр и сегодня прибыли в Кировоград.

Шли с полной выкладкой 120 км. Мы с Клавой пришли быстрее всех.

Шли по сожженным дотла деревням, где на обломках домов еще видны были немецкие слова.

Сейчас дежурю на КП. Только что после боя вернулись наши летчики. Вот они входят: потные, в унтах... Снимают шлемофоны и докладывают своему командиру о выполнении задания.

Потом — их рассказы:

«Горят фрицы, горят!», «Дали мы им копоти! Ведь от их танков темно было, и как они дружно загорелись!», «Что творится у них там, на земле! Этого ни в одной газете, ни в одной книге никогда не описать!»

А один летчик наклонился к другому, и я слышу, как он тихо говорит: «Вот она, Родина, как отвоевывается».

...Я слушаю ропоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар...

26.I.44 г.

В воздушном бою погиб Ваня Кудеяров.

Широкая грудь, ордена, большие руки и сам такой большой и добрый... Но писать об этом очень больно, я не могу...

2.II.44 г.

Моросит мелкий-мелкий дождь. Под ногами чавкает грязь и то и дело вырастают лужи.

Ночь. Свежо. Сыро.

Рельсы бегут далеко и блестят вдали — вначале прямо, потом полукругом, сворачивая в сторону. Мы идем с Валей Бузыгиной по шпалам, наши плечи касаются друг друга краями погонов. Вспоминаем Ванюшу Кудеярова. Валя плачет, говорить о нем спокойно не может, я тоже плачу.

Дождь льет за воротник.

Мы с Валей понимаем друг друга без всяких слов. Мне кажется, что Валя — моя душа.

Гудок. Мы сходим с путей — идет эшелон.

Как много для меня в этом слове!..

На платформах стоят танки. Мелькают точечки папирос. Мы с Валей уже на насыпи.

— Девчата! — несется с платформы.

С другой:

— Бегите к нам!

Стучат колеса. Эшелон идет медленно.

— Привет! — кричат с платформы.

— Привет! — кричим мы с Валей.— Куда вы? Откуда?

— Я из Москвы,— кричит кто-то совсем близко,— с Арбата!

И вот у меня от волнения не хватает сил крикнуть, что и я тоже с Арбата... Валя смотрит на меня и говорит:

— Ну что ты, девочка моя маленькая!

15.II.44 г.

Скоро кончится война, я приеду в Москву и не смогу найти маму: она кочует с места на место. Как тяжело... И самое странное: почему-то никто не может ей помочь. В чем же тут дело? Я ничего не понимаю.

Сейчас я почти все научилась делать, и как хорошо помогла бы я маме, если бы очутилась дома! С невыносимым стыдом вспоминаю, как к нам до войны приходила женщина — мыть полы!

К Новому году получила благодарность от Героя Советского Союза, командира летного полка подполковника Устинова — мне дали одной из роты. Корпу-

су, который мы обслуживаем, присвоено звание гвардейского. Знаю: доля нашего труда здесь есть.

В свободное время мечтаем с девчатами о будущей жизни, о том, как поедем домой, кому с кем будет по пути, как будем потом приезжать друг к другу в гости и вспоминать об этом страшном времени, которое совпало с нашей юностью. Но ведь это — последняя война!

4.III.44 г.

Дежурю на номернике, на 2-м этаже. Сумерки. Не успела зажечь свет, как начали бомбить. Немецкие самолеты летают прямо над корпусом, бомбят наш аэродром. Беспрерывно бьют зенитки, летят осколки, кругом горит. Так хочется спрятаться, сбежать вниз, но, конечно, я этого не сделаю.

Все время звонят. В комнате темно. Работаю на ощупь.

Тоська убежала с КП.

Весь корпус содрогается. На голову сыплется штукатурка, вылетело окно. Подхожу к другому, вижу: горит «Дуглас».

Во время бомбежки не оставляла мысль: а как же там, на передовой? Неужели там это — всего-навсего будни?

5.III.44 г.

Как невыносимо тяжело мне. Так еще никогда не оскорбляли. И как горько, что это произошло в армии. И сделал это наш командир, т. е. человек, которому ни в коем случае не следовало бы унижать своих подчиненных... Сегодня, дождавшись момента, когда мы остались одни, он сказал, вернее, промямлил, чтобы теперь я не подходила к нему при всех. («Я вас очень уважаю как отличного и грамотного бойца, но вы должны понять... Я — советский командир, воентехник первого ранга... у меня сын... Из-за вашего отца тень может упасть на меня и даже на сына... Вы знаете, что я ценю вас... Вы будете по-прежнему честно служить нашей Родине... Никто вам не отказывает...» и т. д.) Потом он сказал, что если мне все же будет очень надо, можно будет встретиться — поговорить, посоветоваться, но только наедине, «чтобы никто нас не видел».

О, если бы товарищ Сталин мог знать обо всем этом!!!

6.III.44 г.

Мамочка! Как хочется прижаться к тебе!

7.III.44 г.

На память снова приходит Блок. О друзьях: «Я только странно повторяю их золотые имена». Золотые имена. Как точно. Какое счастье, что у меня и сейчас есть золотые друзья!

А вообще я поняла, что Блок подходит к нашей теперешней жизни гораздо больше, чем к мирной, и, как мне кажется, больше, чем другие поэты, даже больше Симонова. Это кому-нибудь может показаться странным, но я не раз в этом убеждалась. Вот еще один пример:

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны...

Я уже не говорю о своем любимом стихотворении, которое сейчас, с приходом весны, и все время повторяю и повторяю:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Ведь далеко не каждый поэт может написать о весне так, чтобы ты ее сейчас, во время войны, тоже с радостью принял!

Интересно, что ровно за неделю до войны я закончила делать особый блокнотик именно со стихами Блока — из его Итальянского цикла, со сложным графическим орнаментом и рисунками. Этот блокнотик и сейчас со мной.

14.III.44 г.

ПРИКАЗ № 16 (Сталина)
(конспект для политзанятий)

Красная Армия прошла на Запад до 1700 км, очистив 3/4 Советской земли.

Освобожден весь Днепр. Крупные победы на Правобережье. В районе Корсунь-Шевченковский немцам был устроен новый Сталинград, где были окружены и уничтожены 10 немецких дивизий и одна бригада.

Наши войска взломали глубоко эшелонированную оборону Ленинграда, полностью освободили его от блокады и обстрелов.

Происходит массовое изгнание немцев из Белоруссии.

«Теперь уже всем должно быть ясно, что гитлеровская Германия неудержимо движется к катастрофе». Что же будет, когда в бой вступят главные силы союзников?!

Немцы мечутся в поисках спасения, хотят снова объявить «тотальную мобилизацию», затянуть войну, заключить сепаратный мир. Все это обречено на провал. «Близится час окончательной расплаты».

«Не было еще в истории войн случая, чтобы враг сам прыгнул в пропасть. Чтобы выиграть войну, нужно подвести противника к пропасти и столкнуть его туда».

В связи с перечисленным приказано неустанно совершенствовать боевое мастерство, бить врага как гвардейцы, укреплять дисциплину и порядок, повышать организованность. Умелым сочетанием огня и маневра взламывать вражескую оборону, не давать врагу передышки, смелым маневром отхватывать фланги вражеских войск, прорываться в их тылы, окружать войска противника.

В Москве, Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Гомеле и Ростове в ознаменование наших великих побед 23 февраля в 18 часов произвести салют 20-ю артиллерийскими залпами.

16.III.44 г.,

Мы свои границы отстояли
Кровью самых преданных ребят.

20.III.44 г.

Получила письмо от Оли Гальперштейн. Оказывается, мама с Янкой с начала марта живут в ТУАЛЕТЕ при 43-й женской школе, где мама преподает. И это — в нашем переулке, в 7-м доме — наискосок от нашего!

Так вот почему мама скрывала от меня место своего жительства: не хотела расстраивать... А может, ждала суда, надеясь, что напишет уже с нашей квартиры.

Суда еще не было, но скоро будет, и Оля советует мне написать лично в Верховный Суд и приложить справку, что я действительно служу в армии.

Пишу после того, как снова была у капитана Кедрова и снова получила справку. Написала письмо в Верховный Суд, в котором изложила всю ситуацию, написала, что в мае 43-го года, проезжая Москву, заходила домой, будучи в солдатской форме, видела Лукашеву и лично ей сказала, что это наша квартира и что в ней стоят наши вещи. В письме указала, что мне было явно заметно замешательство Лукашевой.

В дороге — дер. Косари, Украина

Мой день рождения справляли в эшелоне — пекли блинчики, но получилось неважно: была плохая мука.

Итак, мне 19 лет.

Рекомендации в партию у меня такие: одна от комсомола батальона, другая — от замкомбата по политчасти и третья — от члена партбюро батальона Варфоломеева — сержанта нашей роты.

Только бы скорее кончилась дорога — буду вступать!

О тов. СТАЛИНЕ:

Сталин обладает кутузовским предвидением и суворовской стремительностью. Сталин всегда говорил, что нельзя почивать на лаврах, нельзя успокаиваться. Он всегда требовал борьбы. В 1928 г. он говорил: «Самые большие армии гибли, потому что они зазнавались».

8.IV.44 г.

В дороге

Опять остановились.

Патрулим с Надюшкой Лазеевой у эшелона. Подошли к паровозу соседнего состава. В окошке показался машинист. Посмотрел на нас. Пропал. Потом вдруг спрыгнул к нам.

— Петр.

Он смеется, подходит близко и говорит:

— Ах, чертенятки! Вот так встреча! Да какие обе хорошенькие!

И мы стали хохотать. Долго все втроем смеялись. Потом Петр сказал серьезно и задумчиво:

— Как хочется встретить и полюбить хорошую девушку!

Мы замолчали, и он тоже замолчал, потом говорит:

— Ласковую.

Опять все замолчали. А Петя снова говорит:

— Война проклятая... А как любить охота!

Тут из окошка его окликнули, чтобы вел поезд. Он успел погладить Надю по щеке и полез по высоким ступенькам в паровоз.

Мы стоим растерянные, а Петин паровоз как закричит! Петя высунулся из своего окошечка в последний раз и крикнул:

— Вы мне обе нравитесь! Обе! Я вас не забуду!

Его паровоз Эу 709-504.

15.IV.44 г.

В дороге — ст. Зятьково, Винницк. обл.

Лежу на нарах и читаю. Сони в теплушке не было, вдруг она появилась у двери и позвала меня погулять. Я спрыгнула к ней, и мы пошли вдоль эшелона. Оказывается, Соня не просто так меня позвала. Она обнаружила на одной из открытых платформ раненого с парализованными ногами. Он ехал в госпиталь — один! Никаких сопровождающих с ним не было.

— Он замерз и голодный,— говорит Соня. Она страшно взволнована. Говорит: — Давай хоть что-нибудь ему принесем.

Мы помчались к себе. Решили сварить картошку, но печка не топилась, и я попросила у старшины Верюжского готовую картошку (он как раз шел ужинать). Он удивился, но ни о чем не стал спрашивать, велел подождать. Принес с кухни вареную картошку и отдал мне ее в бумаге.

У нас с Соней было еще одно яйцо. Пока я держала его в кипятке, Соня побежала к раненому сказать, что сейчас принесем еду. Прибегает от него и кричит:

— Скорее! Он попросил кого-то перенести его в другой эшелон, в вагон, потому что на платформе очень холодно. И этот эшелон вот-вот уйдет!

Где же было взять хлеб? Хлеба у нас не было. Я взяла и отломила краюху от буханки лейтенанта Калиша. И мы побежали.

Раненый еще лежал на платформе. Соня отдала ему котелок, в котором была вся наша еда. Пока он ел, мы ходили рядом и разговаривали.

— Это моя добрая душа там ходит,— вдруг слышим с платформы, и его рука протягивается к нам с пустым котелком.— Вот, сестра, возьмите, спасибо.

Соня взяла котелок. О чем было говорить с ним, мы как-то не знали. Стоим и молчим. Он тоже молчит. Вдруг мы видим, как платформа, на которой он лежит, начинает двигаться. Значит, никто никуда и не думал его переносить!

Мы стоим в ужасе, а поезд уже пошел.

Знать бы, что так будет,— хоть бы принесли ему что-нибудь укрыться.

26.IV.44 г.

гор. Фокшаны, Бессарабия

Бессарабия!

Когда-то водила указкой по карте: «Это граница. Река Днестр. Бессарабия». И это было где-то так далеко, так далеко!.. Там. И вот я здесь!! И все-все вижу своими глазами!

Мы мчимся в грузовике. Город Ямполь. Граница. Днестр. Белые дома, мосты. Цветут абрикосы, по склонам стелются виноградники. Люди красивые, смуглые, белозубые. Много цыган. Цветные платья, яркие лоскутья, серьги, блеск глаз, чудесные улыбки. Гаданье!

Белые долины, белые деревья. Все белое. Дорога вьется, изгибается. Крутые подъемы, резкие внезапные спуски — летим вниз, словно проваливаемся. Потом снова в гору. Высоко на склоне холма пашет крестьянин в черной каракулевой шапке. Домики ну как игрушечные, до того хорошенькие, с резными террасками. Церковки.

Подъезжаем.

Что ждет меня на новом месте?

29.IV.44 г.

Завтра вступаю в партию!

Сегодня получила две благодарности: по роте и батальону. Это — к 1 Мая. Странно, что командир вдруг так раздобрился!..

2.V.44 г.

ст. Брензены, Бессарабия

Клавка пьяна от писем! Да-да: пьяна от писем! Она прекрасна!

Получила 12 писем от М. Ю.! Он ее любит, любит! Еще два письма от Сычева. Безумные письма. Любит тоже! Пришли письма от отца, матери и сестры. Все ее любят! Клавка счастлива! Как я люблю ее за то, что она такая счастливая! В моей жизни Клавка — первый человек, который не считает себя несчастным и не боится сказать: «Я счастлива!»

7.V.44 г.

Письмо от мамы.

Был суд, и Лукашевы заявили, что я — не дочь маме, а... племянница!! То есть мама и я — не члены одной семьи, и, следовательно, мама и Янка не семья фронтовика!!! Мотивировка: у нас с мамой разные фамилии! Но ведь мы с Янкой, как и положено, на папиной, а мама всегда считала, что женщина должна оставаться на своей, не менять ее на фамилию мужа. Ну и что из того? А документы, метрики? А закон??

Мама, конечно, совсем растерялась... Раньше я не смогла бы ее понять, и, наверное, даже осудила, а теперь понимаю, т. к. имела возможность убедиться, что против наглой и бесстыдной лжи бываешь так беспомощен...

12.V.44 г.

дер. Казанешты, Бессарабия

8 мая меня приняли на партсобрании нашей роты. Так прошло, словно ничего и не было! Командир, который больше всех трясся, расхваливал так, будто я лучше всех! Уж молчал бы... Такой лицемер! Но все же главное в нем — трусость.

Вчера, 11 мая, приняли на партбюро БАО.

Собрание было на большой лужайке за штабом. Все сидели на траве. Я стояла. Задавали много вопросов, я на все ответила, и все восхищались моей подготовкой, и тоже — словно ничего не было, никакой травли... И Танька Клименко хвалила! Но... смущение их чувствовалось: поглядывали друг на друга и как-то улыбались не так...

Ну и ладно, я не хочу больше вспоминать об этом.

На днях — парткомиссия, и я — кандидат ВКП(б)!!!

13.V.44 г.

Увижу ли я своего отца?

Когда? Где?

Какая это будет встреча?

15.V.44 г.

Я должна стать отличным телеграфистом! СТ-35[1] я уже изучила, сейчас нужна только тренировка. На номернике сегодня работы мало, и я буду заниматься на СТ.

20.V.44 г.

Сегодня 20 мая, а ответа парткомиссии до сих пор нет.

С Горским стараюсь не встречаться, т. к. прекрасно понимаю, что он имел в виду, говоря: «Сын за отца не отвечает»!..

Какой он страшный человек. И я давала ему, именно ему, папины письма!! Как я могла так ошибиться?!

23.V.44 г.

Вот все и кончилось...

Люди даже там, в политотделе района, не могли разобраться и понять! Разве есть теперь слова, мысли?.. И что написать маме? Она в каждом письме спрашивает — ведь я же нисколько не сомневалась, когда писала ей, что меня примут в партию!

Политотдел сказал: «Отложить».

«Отложить и за это время узнать, запросить об отце»! Мне обо всем рассказал Варфоломеев. Оказывается, Горский так специально устроил, чтобы у нас тут меня приняли, и сам за это голосовал, а потом поехал в политотдел и рассказал о моей «переписке с врагом народа»!

Но я все равно буду бороться, все равно!

Вчера на семинаре в политотделе капитан Челадзе в своем докладе поставил вопрос: «Почему Зоя Космодемьянская поступила именно так?» И стал говорить, что, судя по ее записям в дневниках, которыми сейчас заняты биографы, давно было видно, что она к этому шла, что она была готова к подвигу.

И хотя речь сейчас совсем не о подвиге, но тогда я поняла, что надо умереть, чтобы тебе поверили...

«Вы очень молоды, я впервые разбираю дело девушки 19 лет. Серьезно ли вы подумали о вступлении в партию?» — спрашивает меня капитан Осипов.

Я слов не нахожу! А он еще: «Да вы не падайте духом! Работайте, работайте!..»

Все отлично понимает Васька Никоненко, он готов все для меня сделать, но что может Васька?

Как мне тяжело. Как тяжело видеть командира, Горского, Таньку — этих трех человек... Я, может быть, перейду в полк оружейницей.

27.V.44 г.

Хочу записать выдержку из только что прочитанного в газете:

«Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом и малом, и поднимется в нем великая сила — человеческая красота» (А. Толстой «Русский характер»).

Мне кажется, что это целиком и полностью относится к Клаве. Ведь человеческая красота как великая сила — самая характерная Клавкина черта!

---

[1] Советский телетайп — буквопечатающий телеграфный аппарат.

4.VI.44 г.

Я в отчаянии: Толя — он летчик-истребитель — влюблен, а я нет. Теперь поняла окончательно. Как ему сказать, что я его не люблю? Всю ночь не спала. Я понимаю, что не имею права подавать ему надежду.

5.VI.44 г.

Была на танцах, танцевала весь вечер с Толей, потом пошли вдоль речки, слушали, как кричат лягушки. Безумно хочется счастья!

Толя хотел меня поцеловать, но я отклонилась, а больше он не решился.

Возможно, я не понимаю чего-то главного. Вполне может быть, что как раз после поцелуя и полюбишь со всей силой на всю жизнь. Хотелось бы знать.

Нет, действительно,— что такое поцелуй?

7.VI.44 г.

Сегодня после танцев Толя поцеловал меня в губы. Поцелуй мне не понравился абсолютно.

8.VI.44 г.

Вот что произошло.

Вечером мы с Толей гуляли у реки, и он снова меня поцеловал. Больше я не выдержала и побежала. Толя крикнул: «Подожди! Прости меня!»,— но мне было все равно, я даже не обернулась. Встречаться с ним после всего, что произошло, не буду. И на танцы теперь нельзя, но это неважно.

Я бежала от реки прямо на аэродром, на КП — мне все равно в ночь дежурить. Толя помчался за мной. Он что-то кричал, но я не оглядывалась, я ни о чем не хотела говорить. Только у КП я оглянулась. Толя уже не бежал, он стоял, обхватив ствол акации, и плакал. Ну и пусть.

Сменила Доньку Курдюкову на два часа раньше. Все!!

14.VI.44 г.

Еду в район к подполковнику Чехунову.

Машина мчится так стремительно, так быстро, что дыхание захватывает. Молдавия, сказочный край, ты поможешь мне своей красотой! Я уверена, что все будет только хорошо. Я верю в справедливость.

Стою в кузове, держусь за крышу кабины и лечу навстречу ветру. Вокруг — одуряющий аромат. Господи, сколько силы во мне!

Вот и политотдел.

Меня встречает капитан Марченко. Он приветлив, как всегда. «А, Фруг! Здравствуй!» — и подает руку. Подошел майор Сергеев: «Фруг — это самая-самая? Самая хорошая, да?» — и смеется.

Захожу. Звучит радио. Я стала просматривать газеты, но вскоре приехал подполковник Чехунов.

И вот мы разговариваем с ним вдвоем,— все вышли.

Он смеется: «Глупые! Неужели они до сих пор не понимают, что вы за отца не отвечаете?! Ведь так могут думать только люди, которые совершенно не разбираются в нашей политике или не хотят разбираться. Я разберусь. И в партии вы будете!»

Какие есть люди!

18.VI.44 г.

«С края обрыва убитые, а часто только раненые, падали на дно оврага, где был сложен гигантский костер из соломы, камыша и дров. Маленьких детей палачи сбрасывали живыми в пламя костра. Сжигание трупов производилось круглые сутки» («Правда», 16.06.44). Как можем мы даже на минуту забывать все это? Ведь тут сказана тысячная доля правды, а на самом деле каково?

19.VI.44 г.

Толя прислал вторую записку, а я на первую еще не ответила... Зайти к нам он боится. Я же на танцы не хожу, т. ч. мы не видимся уже одиннадцать дней. На эту записку пока тоже не ответила. Мне очень не по себе. По-моему, девчонки больше на стороне Толи, они ничего не говорят, но я чувствую.

20.VI.44 г.

Приехала с семинара агитаторов в политотделе армии веселая и счастливая — мой доклад прошел очень хорошо. Дома Дуся и Надя Ковалевская, потом пришла Соня. Они все как-то странно смотрели на меня и молчали. Все почему-то стояли. Потом Соня села и тихо сказала, что сегодня днем в воздушном бою погиб Толя Бабкин.

21.VI.44 г.

Только теперь я поняла: Толю никогда в жизни никто не целовал. И сам он поцеловал впервые. И вот перед самой его смертью я его оттолкнула.

Как мне теперь жить? Разве можно перенести т а к о е?

22.VI.44 г.

КП в маленькой землянке. Пришла специально пораньше — загружаю себя работой... Сегодня решила получше убрать: постелила на пол ветки ели и березы, на стол в синем кувшине поставила букет ромашек. Вбила в углу гвоздь, чтобы было куда вешать шинель. Вместо отсутствующей двери натянула плащ-палатку. На столе — СТ-35, на котором я работаю. От аккумулятора провела электрический свет. Стало очень уютно.

Открываю дверь — и сразу меня охватывает пряный запах полыни, свежесть.

В сумерках вырисовываются силуэты самолетов и мачта нашей рации. Слышно, как поют техники, отдыхая после горячего дня: «Темная ночь разделяет, любимая, нас»... Вот прошел часовой с разводящим.

Внезапно зашумел мотор. Садится самолет. Все кинулись к нему.

Ура! Вернулся с вынужденной посадки наш замечательный летчик-истребитель, капитан. Шутит.

Я подумала: вдруг вернется Толя?

25.VI.44 г.

Мама написала, что на днях вышлет (для нашего политотдела) подробную биографию папы, но недоумевает по поводу необходимости осветить ее особенно подробно до 17-го года. Дело в том, что папе тогда было 14 лет.

9.VII.44 г. В дороге

Снова дорога. Перебазировка в машинах. Проезжаем по Западной Украине, совсем близко Польша.

Только что проехали широкое поле желтой пшеницы, а перед ним — ну прямо море красного мака! Такое я видела только в детстве на одной открытке.

Мелькают красными пятнами вишни.

14.VII.44 г. Северная Буковина (место не обозначено)

После дороги, когда видишь свой аэродром, самолеты, летчиков,— такая радость, все такие родные, близкие!

Как только приехали на место, пошли с Валей Бузыгиной на сутки в летную столовую. Надо было обслужить 300 человек. Вдвоем с Валей таскали воду, пилили и кололи дрова, разжигали печи, чистили картошку, мыли полы, посуду и котлы (самое трудное). Жарища! Работа эта, конечно, тяжелая, но я привыкла.

Когда колола дрова, один летчик сказал другому: «Во, здорово колет! Ну, эта в лесу родилась!» Ничего себе... Чего стоило мне дожить до этих слов!

17.VII.44 г.

Сегодня в воздушном бою погиб Витя Чернышов. Молодой, веселый, такой красивый!.. Я не могу в это поверить! Огромные серые глаза...

17.VII.44 г.

27.VII.44 г.

На «Дугласе» прилетели американские офицеры. Стоят у КП. Их переводчик говорит с капитаном Компанейцем о сегодняшнем вылете. Кругом наши летчики. Одеты похуже... Зато как летают! И уже почти всю войну выиграли, пока эти разговоры идут!..

2.VIII.44 г. г. Буск, Северная Буковина

А вообще мне очень хочется иметь друга. Так хочется! Просто слов нет.

9.VIII.44 г. г. Ветлин, Польша

Сегодня получила письмо от мамы. Ничего особенно она не пишет,— письмо коротенькое. Вот уже 5 месяцев, как они с Янкой живут все в том же туалете при 43-й женской школе... Как представить себе их жизнь т а м, как? Мама ни слова об этом не пишет, а я, как только начинаю представлять,— в голове ничего не умещается, никак не могу представить, ну никак!..

Оказывается, самое страшное из всех чувств — беспомощность.

13.VIII.44 г.

Сколько работы было на этом аэродроме!

В роте почти одни девушки, а обслуживаем два штурмовых полка, даем линии.

После трудного первого дня пошла дежурить на КП. Идет дождь. Я вся насквозь промокла.

На КП капитан одного летного полка ругает нашего командира: «Почему до сих пор нет линии на старте?» Командир что-то бормочет, не знает, что делать: не хватает людей, а он почему-то боится сказать об этом. Мне стало жаль командира, и я предложила дать линию, т. к. на КП пока особой работы нет. Командир счастлив. Я выбегаю на линию.

Но что делать одной? Попросила Игнатьева размотать катушку рукой, а сама потащила кабель на старт. Бегу, а из сапог выжимается вода. С утра ничего не ела. Потом побежала снова на КП за телефонами — за 1,5 км (не сообразила взять сразу). Дорогой встретила Марию Сторчиенко, она несла мне обед. Бегу дальше, на ходу ем. Голодная жутко. Взяла два телефона, повесила на плечи, и снова на старт — поставить один телефон. Бегу что есть духу. Прибежала. Поставила. Теперь нет заземления. Подумала и за «землю» воткнула два ножа. Звоню — не слышат. Отвертываю амбушюр телефона — неисправность. Исправила. Старт заговорил. Пришла на КП мокрая, грязная. Сняла сапоги и портянки, стала сушить. Отдежурила босиком.

На следующий день давали связь на старт вместе с Галей Наплавковой. Командир приказал немедленно дать линию, включив ее в одну из старых. А самолеты уже садятся, того и гляди собьют.

Катушку одному держать трудно. Попросила какого-то мужчину, который здесь косил. Они с Галей стали держать, а я тяну. Тяну, а кабель гнилой, рвется. С трудом дали линию, и я побежала по ней назад, по пути сращивая обрывы. Их очень много, а ноги у меня уже не ходят. А тут навстречу выскакивает Мария и кричит, что командир дивизии уже на старте и вот-вот должны сесть еще и истребители. Я работаю еще быстрее, руки дрожат. Наконец закончила, включила шлейф. Старт ответил. После побежала собирать спутанный второй конец от двухпроводки...

Конечно, кто не бегал в тот раз с нами, тому пустяком все это покажется. А это не пустяк.

Через день дежурили с Дусей Митрошиной — связывали эскадрильи. Пошли в конец аэродрома — вручную собрали ненужный теперь старт. Мотаем кабель на руку, а когда руке уже не удержать — начинаем новый моток. Откровенно говоря, я тогда мало верила, что мы все сделаем, т. к. линия была очень трудная: кабеля не хватало, наступала ночь, а тянуть надо было через рожь, да и с мотков легко все запутать. Но сдаваться не хотелось, да и нельзя.

Вошли мы в рожь. Пала роса. Мы с Дусей мокрые и еле бредем с тяжелыми мотками. Луна скрылась, стало совсем темно. Вот нашли конец. Медленно распутываем. Идем, идем... Наконец, 2-я эскадрилья с одной стороны есть! Пришли на КП, оттуда Дуся пошла по линии, а я включила аппарат, жду, пока Дуся подключит. Звоню и слышу: Дуся кричит мне, и 3-я эскадрилья тоже! Сделали все к двум часам ночи.

Утром пришла на КП дежурить. Вдруг вижу майора Уртаева из летного полка.

— Здравствуйте, девушка!

Мне так неловко, что он первый здоровается, но я просто рта не успела открыть.

— Здравствуйте, товарищ майор!

— Вот так вышло у меня... Я ваше имя забыл.

— Инна.

— Инна, а вы награждены?

Я смутилась, ничего не ответила и выбежала с КП — стала перебирать провода под окном. Он подошел к окну:

— Инна, я ведь серьезно спрашиваю. Когда вы обслуживали нас еще в Комиссаровке, вы все две недели бегали и бегали одна, день и ночь,— связь давали. Я потому и запомнил вас. Вот и здесь я вижу то же самое.

Я не знаю, что говорить, как себя держать. Потом говорю:

— Не только я бегаю — Дуся, другие.

— Насчет Дуси и остальных не спорю, но я вас заметил. Так вы награждены?

— Да. Мне медаль «За оборону Ленинграда» дали.

— Где же она?

— Мне просто не хватило. Потом еще пришлют. Или дадут после войны.

Он посмотрел на меня пристально и серьезно:

— Вот, возьмите пока мою,— и стал отстегивать с груди медаль.

Я заплакала и убежала.

16.VIII.44 г.

Вчера поехала в политотдел.

Из-за дождя опоздала (застряла машина). К Марченко пришла ночью, но он работал — собирал у комсоргов данные за месяц, мне сказал, что придется ночевать.

Я пошла в соседнюю комнату. За окном — цветник, и в комнату проникает чудесный запах. Ярко горят большие красивые люстры, в углу — огромное зеркало, по стенам — картины. Звучит радио, льется какая-то грустная мелодия.

И вдруг я чувствую страшную усталость и горечь. Ноги меня не держат, я сажусь за стол и опускаю на него голову. Музыка льется не переставая... И тут я начинаю плакать. Плачу сильно, слез целое море, но я одна в комнате, никто не слышит и не видит меня.

Вспомнилось о папе, и больше я не могу и не хочу сдерживать эти воспоминания.

...Мы с Янкой возвращаемся из школы, кидаем в прихожей портфели и шапки («сапка-усанка», говорила маленькая Янка, и так это у нас с ней и осталось), сбрасываем пальто и летим в кабинет — к папе. Он протягивает нам руки, кричит: «Мартышки!» — и мы влетаем прямо к нему в кресло. Мы умещаемся втроем и так тесно друг к другу, что я слышу, как стучит папино сердце. Папа обнял нас и запел песенку о кораблике из «Военной тайны» Гайдара.

Плыл кораблик голубой,
А на нем и мы с тобой,
В синем море тишина,
В небе звездочка видна,
А за тучами, вдали,
Виден край чужой земли.

Мотив этой песенки папа придумал сам, хотя слуха у него нет, но мне потому и нравятся папины песни — они всегда свои.

Потом вспомнила папу с улыбкой и слезами восторга — он пришел с Красной площади, с парада физкультурников.

— Инночка! Какая красота! Что могут люди! Как прекрасна молодость!

Тут меня позвал капитан Марченко, а я не могу поднять головы, я вся в слезах, и я не иду. Вскоре он пришел сам. Он, наверное, все понял. Положил руку на мою голову: «Ну что ты, что ты?» Он долго стоял рядом, молчал и курил. Потом ушел.

И вот наутро я с подполковником Чехуновым.

Я спрашиваю: «Когда же конец?» — а он: «Ничего, ничего, скоро!» Я говорю: «Вы получили мое письмо с биографией отца?» Он говорит и как-то чудно машет рукой: «Да получил, получил!..»

И как-то так выходит, что нам больше не о чем говорить, потому что он, я чувствую, все понимает, но почему-то не может мне сказать. А вот я ничего не понимаю. Н и ч е г о!

Но вдруг я поняла, что не должна больше ни о чем просить этих людей, потому что они очень хорошие. И что теперь — все, конец.

Я встала и, не прощаясь, вышла.

Шла через цветник к шоссе. Мельком видела у окна Чехунова и Марченко. Они смотрели мне вслед, а я шла и снова думала о папе. Вспоминала его огромное, самое первое письмо ко мне, 13-летней девочке, из котласской пересылки, которое я знала наизусть.

Я шла и думала его словами: «Помни, Инночка, в жизни нет ничего страшнее одиночества».

А потом вспомнила его слова, которые он написал мне в Добрянку, когда я добивалась отправки на фронт: «Иди, мое дитя! Иди. Беда большая и общая. Иди за себя и за меня».

Я шла к грузовику и плакала.

21.VIII.44 г.

В дороге

Проехали Львов. Видели памятник Мицкевичу.

Кругом чисто, асфальт. Очень красивые костелы. Женщины и девушки прекрасно одеты — тоненькие, хрупкие, с длинными волосами. Домохозяйки в ослепительных кружевных фартучках. Когда начался дождь, все жители, находящиеся на улице, быстро накинули разноцветные прозрачные плащи, каких мы никогда не видели. А мы ехали в грузовике, стояли в кузове под одной плащ-палаткой и глядели на удаляющийся город.

23.VIII.44 г.

В дороге, Румыния

Прут позади!
В Румынии!!
Здорово!

24.VIII.44 г.

Мы мчимся вперед и вперед на Запад! А горы! Это же Карпаты! Как-то на географии я не смогла назвать высотную поясность Карпат и получила не «отл», а «хор». Когда сказала маме, что из-за такого пустяка — «хор», мама сказала: «Эти горы стыдно не знать». И вот теперь я встретилась с ними!

На остановках к нам подходят местные жители, приветливо улыбаются, приносят фрукты. Они удивляются, что у нас девушки в военной форме.

Сегодня к машине подошла очаровательная девушка лет 17—18 с пожилым мужчиной. Он молчал, а девушка свободно говорила по-русски,— она и есть русская. Ее звать Ольга. Она была страшно взволнована, начала рассказывать о себе и своей семье и вдруг расплакалась. А машина, как нарочно, пошла. Ольга разрыдалась, закрыла лицо руками, на них упали ее длинные светлые волосы, а мужчина со скорбным лицом обнял ее и махал нам, пока мы не скрылись.

Мы все тоже расстроились и очень жалели, что не поговорили с Ольгой как следует, не узнали о ее судьбе. Может, мы смогли бы чем-нибудь ей помочь.

25.VIII.44 г.

По дороге к Яссам — трупы людей и лошадей. Убирать не успевают: вперед и вперед!.. Трупы гниют. Машина петляет между ними. Страшный смрад. Проехали рядом с убитой русской девушкой в шинели. Она лежит, словно бежит. Слов нет. «Смотри и помни»,— говорю я себе.

Голые, обожженные румынские степи...

26.VIII.44 г.

Яссы, Румыния

Аэродром. Старт. Я с телефонами.

Вдали горы.

28.VIII.44 г.

Ночь. Иду на линию — неисправность. Перехожу железную дорогу.

Сегодня особенно много звезд. Куда ни повернись — над землей звезды. Внезапно откуда-то вынырнул месяц и вычертил на горизонте высокие черные деревья, которые тут же уперлись в звезды.

Иду. Ни души. Нашла линию. Иду по ней — и в канаве чуть не наступаю на мертвое тело. Прямо возле нашего провода лежит черный убитый человек. В руке зажат котелок. Это румын. Я постояла над ним и с трудом вернулась к железной дороге. Села на рельсу. Сижу и не в силах встать.

Смерть на каждом шагу, а луна и звезды светят себе, горят, словно ничего и не произошло...

30.VIII.44 г.

Мама живет и работает уже в другой школе, через переулок от нашего дома. Это 36-я мужская школа, на территории бывшего монастыря. И здесь мама не смогла добиться справедливости: большую комнату директорской квартиры заняла совершенно одинокая учительница, а мама с Янкой живут в этой же квартире в крохотной комнатенке...

Мама, мама,
Какой я была до сих пор?
Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь...

(«Зоя» М. Алигер)

1.IX.44 г.

На днях один авиамеханик предложил мне дружить: «Я давно люблю вас». Ника Шитова мне говорит: «Ну и сойдись с ним. Что ты теряешь?»

Что я теряю?! Да я же не люблю его! Господи, Нинке это не понять: она-то «дружит» со всеми — при первой возможности...

Никого не хочу осуждать, но на душе скверно...

3.IX.44 г.

Румыния (место не обозначено)

Был очень серьезный разговор с Клавой.

Я давно не все могу понять в ней, а сейчас и вовсе: уж такая молчаливость, такая холодность. И не только со всеми — со мной.

В чем дело? И я решила поговорить с ней начистоту. Я сказала ей об этом, но сказала, что оценки пока не даю, т. к. не все понимаю, но хочу и должна понять.

Лунная ночь. Мы стоим в саду. Я хорошо вижу Клавкино лицо. Ведь это же моя дорогая, любимая Клавка!.. И мне приходится так говорить с ней!..

Клавка стоит хмурая, роет ногой землю и молчит. Ей тяжело.

— Инна! Мне кажется, что не все в нашей жизни так значительно, чтобы об этом говорить, и то, что пока случается с нами,— пустяки, что у меня еще не было в жизни по-настоящему тяжелого, и в какой бы трудности я ни была, мне кажется, что это еще совсем не трудность и я могу сделать гораздо больше. А мое равнодушие ко всем... Да, у меня нет твоей открытости, твоей доверчивости к людям... Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что девчонки уже раз предали: я не могу забыть Будрино, когда была эта разнарядка, когда нам предложили пойти на передовую и все сказали, что пойдут, а рапорт Володину подали только мы с тобой. Я не могу им простить, я презираю болтовню, я приравниваю ее к предательству. Но если ты чувствуешь мой холод — это случайность, это переходит от других, я не успеваю измениться. Прости.

Клавка впервые обнимает меня.

4.IX.44 г.

Опять этот славный ветер, который я так люблю! Он делает меня стремительной, быстрой. Как похож на счастье этот прилив сил!

6.IX.44 г.

К нам пришел человек партизанского обличья. Все кинулись к нему. Оказывается, это наш летчик! Его сбили над немецкой территорией 5 мес. назад, и он оказался в плену. И вот бежал из плена, партизанил, а сегодня вернулся — нашел нас!

Вот какие бывают судьбы! Только в моей судьбе нет ничего удивительного. Очень жаль, что мне так и не удалось попасть на передовую.

10.IX.44 г.

г. Альба-Июлия, Трансильвания

Мария Сторчиенко заполняет наградные листы. На Клаву, Галю Наплавкову, Симу, Таньку Клименко, Таю и др. Меня нет.

— За Польшу,— говорит Мария.

Я потрясена: кроме Гали, из этого списка в Ветлине просто никого не было! Танька Клименко вообще лежала в это время в госпитале с чем-то нехорошим. Ну и ну! А у меня там аэродром все силы отнял, я работала каждый день и чаще всего каждую ночь. Сколько линий я дала там абсолютно одна, даже майора Уртаева удивила. А когда шла по аэродрому, ребята у самолетов кричали: «Это наш связной!» Даже командир говорил: «Я спокоен, только когда дежурит Фруг!» И вот...

Но что я говорю? Я не должна переживать из-за этого. Я, например, знаю, что Федулов переживать бы не стал,— у него главное: «Есть дело? Есть. Ну что ж, давайте делать». Вот и все.

Но я все равно переживаю.

16.IX.44 г.

Получила 16 писем: 12 от мамы, 2 от Наташи и 2 от Сережи. Письма старые, где-то блуждали. И вот с таким опозданием узнаю, что болен отец. Что с ним, точно не поняла, но плохо. Лежит где-то один, далеко-далеко... И снова звучат в душе его слова: «А в жизни, Инночка, нет ничего страшнее одиночества».

А ведь вокруг него всегда было столько людей, к нему все тянулись — и взрослые, и дети! А как его любила бабушка! «Он чист, как золото! Это я вам говорю!» — кричала она в ту ночь, 11 октября 38-го года. Бабушка в ноч-

ной рубашке вышла в прихожую и кричала им прямо в лицо. У входной двери плакал дворник.

А как сейчас тяжело маме! Она ведь даже на картошку не зарабатывает...

Передо мной мамино письмо с выдержкой из письма папы.

«Мне очень хотелось сейчас написать Инночке, но я буквально робею, я как-то все еще не нахожу тех слов, которыми мог бы высказать, что накопилось, что хочу и должен сказать ей. А порой мне хочется песней с ней перекликнуться! И ведь это не она, а я, я должен был быть на фронте!..

Передай, Катенька, ей мой привет и еще вот эти слова:

Кто жизнь не поставит,
Как ставку в бою,
Навеки утратит
Тот жизнь свою».

Вот такие слова посылает мне мой отец, который любит меня безумно: жизнь ставить, как ставку в бою! Могу ли я ему не верить?!

Клавка прочла это и попросила дать ей переписать в свой дневник. Я, конечно, дала.

Да, в армию мне папа так ни разу и не написал. Почему — это я только теперь поняла.

28.IX.44 г.

Утром была сильная бомбежка.

Бомбили наш аэродром. Налетело 14 самолетов. Я дежурила в ночь на коммутаторе, и меня еще не успели сменить.

Звенят разбитые оконные стекла. Бьют зенитки, жужжат немецкие самолеты, идут над нами в пике. Слышу жуткий пронзительный свист, затем разрыв — рядом упала бомба. И я выбежала из коммутатора и легла возле кустов — здесь совсем близко и слышен каждый звонок, но никто не звонил. Но все же я поступила малодушно, трусливо. Мне стыдно об этом писать.

...Не так-то просто...

Но теперь я не представляю, как же совсем-совсем ничего не бояться?..

29.IX.44 г.

г. Лугож, Румыния

Я влюблена! Влюб-ле-на.

Город Лугож! Самый счастливый город в моей судьбе! ...КП, виноградники... Огромные переспелые гроздья. Прозрачные. ...Все! Молчу! Нет, еще: листья винограда похожи на кленовые. Их очень много в Москве, очень много. Но ни слова, ни слова! Главное сейчас — молчать!

30.IX.44 г.

«Героизм не дар природы, а результат целесообразного военного воспитания, сознательного принуждения самого себя идти навстречу опасности, для выполнения долга патриота».

3.X.44 г.

г. Арад, Румыния

В танке сгорел мой одноклассник, сын наших самых близких друзей, Женя Черноморлик. Написала мама. Думаю об этом все время.

8.X.44 г.

г. Мезёберень, Венгрия

Сегодня утром узнали, что вчера при бомбежке погиб капитан Лисичкин.

10.X.44 г.

Мама уже в третий раз пишет на командира части (а до этого два раза писала Клавке) — ищет меня, хоронит все... Никак не может понять, что мы так

быстро движемся на Запад, что регулярной переписки сейчас просто не может быть. Ведь порою мы письма возим с собой неделями, т. к. негде сбросить — почта уже уехала, и бывает, что по 3—5 месяцев вообще ничего не получаем, зато потом письма приходят мешками, многие получают даже по 20—30 писем сразу!

Мама прислала учебник географии и орфографический словарь.

Заболел комсорг батальона. Я его замещаю. Дел очень много.

Да, я научилась кроить и шить прекрасные бюстгальтеры! Бюст в них получается очень красивый, не то, что в армейских. Чашечки делаю разноцветные, из разных кусочков, которые удается найти, а то и из новых портянок. Вот уж потрясу маму! Крою всем, все тоже учатся. Прямо увлеклись!

11.X.44 г.

Наконец получила сапоги. Сшил сапожник нашей роты, а то ходила или в ботинках или в туфлях — было неудобно и холодно. Правда, сапоги перешиты из старых мужских, не знаю, на сколько их хватит, но я очень рада. Туфли сменяла у одной вольнонаемной женщины на шелковое платье, которое хочу привезти Янке.

У меня же лично есть все: 2 гимнастерки, 2 юбки, каракулевая кубаночка и вот теперь — сапоги. Конечно, шинель. Она, правда, старая. Возможно, весной дадут новую.

12.X.44 г.

...Теперь, когда все улеглось, хочу написать, как мы добирались в Мезёберень из Арада.

Семь дней ехали машинами. Как-то получилось, что два наших грузовика (в одном из них была и я) потеряли свою колонну и попали в окружение. Над нами очень низко летали немецкие самолеты, кругом горело. Близко слышались выстрелы. Немцы были рядом, совсем рядом. Но вначале мы не знали, что окружены, думали — просто рядом бомбят.

Остановились в деревне, где была наша танковая группа (5 танков). Никаких военных больше не было, только мы и эти танкисты. Они-то обо всем знали и стояли здесь в обороне.

Наши шоферы (они тоже не знали об окружении) познакомились с командиром танковой группы — молодым лейтенантом. Он позвал всех нас к себе ужинать. Мы пошли. Поужинали, пошутили и стали расходиться, а меня лейтенант попросил остаться. Я ушла. Он пошел за мной. Мы шли по шоссе к нашей машине,— она стояла на обочине. Тут лейтенант (его звали Валя) спросил меня, понимаю ли я, что мы в окружении. Я сказала, что не уверена в этом. Он усмехнулся. Но больше об этом говорить не стал.

Мы проходили с ним до 4-х утра. Мое «нет» было твердым. А он мне свое: мол, я ему «дороже всех на свете» и «почему такая встреча случилась именно сейчас, на этой дороге, в эту ночь?». Потом он взял меня за руку: «Разреши тебя поцеловать?» И тогда я впервые произнесла вслух, что люблю. А он: «Он не узнает». А я говорю: «А он и так не знает». Он: «Как это?» Я: «Не знает. Мы виделись всего три раза». Он: «Так он не любит тебя?» Я: «Не знаю. Может, тоже любит». Он: «Но как это так? Я что-то не понимаю. Вы встречались?» Я: «Вместе дежурили на КП. Разговаривали». Он: «И все?» Я: «И все». Он: «Так в чем же дело?». Я: «Я люблю его». Он: «Ну, чудачка... Что будет с тобой от моего поцелуя? Ты что, развратишься от него?» Я молчу. Чувствую, что все ужасно глупо, но... не могу иначе.

А стрельба громче и громче.

Тут останавливается легковушка, выскакивает подполковник и торопливо говорит Вале: «Немцы вот-вот будут здесь, эта дорога — единственная, садитесь! Я спасу вашу жизнь как жизнь офицера!» Валя благодарит, но отказывается. Машина уезжает.

Мы подошли (в который раз!) к нашему грузовику, где спали девчата.

Тут Валя говорит уже со злостью: «Посмотришь, как немцы будут с тобой разговаривать! Через несколько часов. Ты подумала об этом? Вспомнишь меня, но будет поздно. Немцы, как я, не спросят!» На минуту становится страшно, но я уже вскарабкиваюсь в кузов и машу ему рукой: «Что будет, то будет».

Он молчит, ходит еще по шоссе рядом с нашей машиной, потом подошел и тихо меня позвал. Я высунула руку и помахала, а вообще-то я засыпала с невероятной силой под эту стрельбу. Валя сказал: «Я завидую тебе. Я люблю тебя». И ушел.

А утром оказалось, что наши немцев разбили, и мы через два часа соединились со своими.

25.XI.44 г. с. Ракоцы, Венгрия

Смотрю на себя в зеркало.

Если бы Он видел меня сейчас! Но сейчас это невозможно. Он далеко — на курсах, в Москве. Зато у меня есть Его письмо, которое я на днях получила. Это такое счастье!

7.XII.44 г.

Пришло письмо от Клавы. Конечно, это не первое ее письмо сюда, на курсы радистов, но оно такое, что я просто слов не нахожу. Клава пишет:

«Привет из 52-го, Инка! В нашей жизни особых новостей нет, кроме того, что у нас появился один офицер — Кемлин, и он организовал в батальоне прекрасную самодеятельность. Я читаю стихи и даже пою! Сейчас разучиваю песню «Если любишь — придешь». Представляешь меня в такой роли? Для меня самой это совершенно неожиданно.

Инна! Я давно хотела тебе кое-что сказать, но мы, уральцы, не любим говорить о своих чувствах, из-за чего кажемся холодными, что неверно. Поэтому сказать тебе это я не смогла, но написать решила.

Инна, у тебя такой отец, который даже из лагеря обогащает тебя! Но главное, о чем я хотела сказать: мне бывает как-то обидно, что ты порою нервничаешь, и мне даже кажется, сомневаешься... А я вот нисколько не сомневаюсь! Я твердо знаю, что твой отец — настоящий коммунист! И я верю, что вы после войны будете вместе. Просто происходят какие-то странные случайности, о которых товарищ Сталин, конечно, не знает.

Привет тебе от Вали Гайнуллиной и Сони Гайнуллиной.

Клавка».

15.XII.44 г. г. Натьката, Венгрия

Ну вот, двухмесячные курсы радистов позади. Из 25 курсантов разных БАО зачеты сдали лишь 9, в том числе и я. Теперь я радист III класса.

Вчера все курсанты разъехались по своим точкам, а я осталась в районе, т. к. попросила разрешения не возвращаться в свой батальон. Я думала, что это будет сложно и что мне не разрешат, но все оказалось просто. Начальник района предложил остаться при нем... писарем! Конечно, я отказалась, а он не решился на категоричность.

Жду теперь назначения на новое место.

Коротко написала маме, что в партию меня не приняли. Описывать всю эту горькую историю подробно нет сил да и нельзя.

Из 52-го БАО ухожу вынужденно — из-за Горского, командира и Таньки — иначе ни за что бы не ушла, т. к. мне безумно дорога Клава да и многие, и я не представляю, что буду делать без них, как жить. Ведь такой, как Клава, мне уже не найти, да и, честно говоря, искать не хочется: мне нужна именно Клава, именно она. Но приходится разлучаться — три этих страшных человека отравили мне жизнь в дорогом БАО...

Вчера выпал первый снег. Было грустно расставаться с курсантами, за

эти два месяца мы все сроднились. Здесь я часто рисовала. Останутся рисунки на память.

А впереди — какая-то совсем неизвестная жизнь...

29.XII.44 г. дер. То-Алмаш, Венгрия

Я — в 5-м ВА!

Сижу на рации. Только что самостоятельно передала радиограмму, Володька и Митя похвалили. Как я была рада! Надеваю наушники, переключаюсь на прием. Но как принять — я просто не представляю... Какие-то голоса, звуки, свист, писк. Работает множество радиостанций, морзянкой звучат буквы и цифры, все время что-то шумит. Совершенно неожиданно сквозь этот хаос услыхала свои позывные и начала принимать, но сбилась, не смогла: очень быстро передавали. Митя улыбнулся, погладил меня по голове и сказал: «Ерунда! Научишься,— еще как!» И сам сел за прием.

Нет, мне не научиться! Ни за что, ни за что! Так быстро, столько звуков!..

30.XII.44 г.

Сегодня с двумя линейщиками давала линию. Целый день бегала в фуфайке и брюках. От мороза горели щеки, и вообще было здорово!

Митя тоже был с нами, хотя он радист I класса.

Вечером он рассказывал всем: «Это не девчонка — огонь! Ловкая, быстрая! Замечательный линейщик!»

Дело в том, что Митя просто хотел меня чем-то поддержать, а удивился он потому, что у них девчонки и вправду на линию никогда не ходили. Всю войну просидели у телефонов!

31.XII.44 г.

Через 3 часа — 1945 год!!! И я встречаю ЭТОТ ГОД в Венгрии!

Сижу на рации. Сегодня я не дежурю, а просто так сижу здесь,— идти мне некуда. Дежурит Митя. Работы очень много, т. ч. мы даже не разговариваем.

Новый год я все же решила как-то отметить. Но как? (Митя не отрывается от приема.) И я пошла на улицу. Стою возле рации. Стучит движок. Мороз и месяц. Звезды.

Хорошо на улице! Я выбежала в одной гимнастерке, но мне не холодно, а очень, очень хорошо.

С Новым годом, мамочка, Янка, Клава! И Ты! Я хочу, чтобы Ты знал, что в этот час я думаю о Тебе, что мечтаю о нашей встрече. Я хочу, чтобы Ты был счастлив каждый день!

5.I.45 г.

Домой разрешили посылать посылки, но у меня, кроме платьица для Янки, ничего нет. И я решила не посылать его, а привезти с собой. А еще я на улице нашла маленькую одежную щеточку, хорошенькую! Ее подарю маме.

12.I.45 г.

«Встречи есть самое лучезарное и восхитительное, что ждет нас впереди, как награда за труды, за холод, за горе разлуки, за кровь и пот» (И. Эренбург. «Глаза Золушки» — «Комсомольская правда»).

13.I.45 г.

Висит на спинке кровати тоненькое светло-розовое платьице с синим горошком. Носить мне его сейчас нельзя, но я решила надеть только на минуточку.

Смотрю на себя в зеркало и не верю...

Ну и пусть! Мне ничего не жаль. Какая может быть жалость? Я счастлива, что моя юность прошла на войне, в армии, во время битвы за Родину, что я тут принесла хоть капельку пользы, значит, мне не стыдно будет быть счастливой дома, после войны.

18.I.45 г.

Пришло письмо от мамы, и я не знаю, что теперь делать.

Мама пишет: «Получила твое письмо — счастливое, радостное, в котором ты пишешь, что впервые полюбила, но в следующем письме больше ни слова об этом... Что это — просто солнечный зайчик? Но нет, на тебя не похоже, слишком хорошо я тебя знаю. Скорее, это глубокое чувство, большое и красивое, которое должно было захватить тебя целиком. Мне, не скрою, очень хотелось бы побольше знать о твоем друге. Ты хоть бы имя его написала!»

Да, я маме лишь намекнула — не смогла удержаться, а сейчас вот жалею: молчать так молчать.

6.II.45 г. г. Гедели, Венгрия, дворец Хорти

Имение Хорти! Только подумать, где я! 100 комнат! Сейчас здесь дом отдыха наших летчиков. Играют мадьярские оркестры, и по всему дому звучат вальсы. (Мы здесь с армейской рацией в комендатуре.)

На днях мне предстоит отправка в какой-либо БАО (конечно, только не в 52-й!). Я так и не поняла, почему меня сразу не направили туда. Ведь в 5-й ВА был нужен радист I класса, именно его здесь и ждали — и вдруг я, III класс, и, главное, прямо с курсов, без всякого опыта. Как я могла заменить радиста I класса? Это они еще столько держали меня у себя! И сейчас не хотят отпускать. Начальник рации ходил к командиру роты связи — просить, чтобы меня оставили, но командир улетел в Арад.

12.II.45 г. г. Сегледег, Венгрия

С крыши: кап-кап! — падают капли в лужу у дверей.

Вспоминается такой же сырой Кировоград в марте прошлого года, когда мы шли с Валей Бузыгиной по шпалам и говорили о любви, о Ванюше Кудеярове...

Незабываем Кировоград! Валя! Ты незабываема на всю жизнь! 52-й БАО. Клавка, старшина!.. Все, все. Где вы? Нет, немыслимо, что я вас потеряла. И из-за кого? Из-за Горского! Этот человек больше всего не любит правды, но особенно он вреден тем, что его почему-то боятся. Например, наш командир. Ведь он в последнее время боялся даже подойти ко мне, будто я какая-то прокаженная!..

15.II.45 г.

Пришла почта. Отовсюду!

Наташа в санатории. В «Кирницах» Рязанской обл. Много читает и вышивает, пишет, что чувствует себя прекрасно, но я-то знаю: если Наташа взялась за вышивание, то хорошего мало...

Пришли письма от Тони Первушиной из Добрянского РК комсомола и Фины. Фина служит теперь в Хабаровском крае. Тоня с беспокойством спрашивает, что со мной случилось. Оказывается, у них запрашивали подробную характеристику на меня. Конечно, это работа Горского. Характеристику дали прекрасную, но хорошо, что я узнала обо всем этом только сейчас, а не в самое тяжелое для меня время.

3.III.45 г. г. Кунмадараш, Венгрия

262-й БАО. Я здесь, в новом батальоне. Но что-то нерадостно. Пока мне здесь мало что нравится. Очень скучаю о 52-м. Не подозревала, что мне будет так тяжело. Может, я не должна была уходить? Ну и пусть Горский и все они, ну и что? Но нет, я не могла оставаться...

4.III.45 г.

...И имя: враг; и слово: друг...
Их было много, что я знаю?
Воспоминанья, тени сна...
Я только странно повторяю
Их золотые имена

Снова и снова Блок. Его стихи всегда возникают у меня как-то сами собой, я никогда не вспоминаю их специально. Конечно, и в школе я тоже любила Блока, но раньше больше всего — «Незнакомку» и «Стихи о Прекрасной Даме». И даже не представляла, сколько я знаю других его стихов! Оказывается, очень много.

Когда я теперь вспоминаю Блока, то всегда перед глазами — мамин сборник, который ей подарил в 22-м году папа. Там его рукой сделана такая надпись: «Блок лучше, чем о нем пишут и говорят». Прежде я не придавала значения этим словам, потому и маму о них не спросила, а вот теперь думаю, что раньше Блока просто не могли понять (папа, конечно, понял, потому и написал так, к тому же он прекрасно знал, что Блок — мамин любимый поэт), а вот сейчас как раз такое время, что Блока понять легко и, главное, он очень нужен.

5.III.45 г.

Здесь рядом с моей койкой — койка Нюры Рябушкиной. У нее тяжелая беременность, ее вот-вот должны отправлять в Россию. Ее рвет, она без конца стонет и плачет. Ее «друг» в нашей же роте — Петька Ковальчук. Он к ней даже не подходит. Подлец! Когда Нюре легче, она стоит у окна и ждет, когда мимо пройдет Петька: ребята живут прямо напротив нас.

Одна девушка, Ира Матвей,— тоже москвичка, и тоже доброволец, только она ушла в армию после первого курса энергетического. Понравились мне еще две девушки — Маша Носова и Оля Щетинина. Оля из Казахстана, сельская учительница, а Маша работала официанткой. Думаю, что у нас с ними сложится дружба.

Относятся ко мне все хорошо, приветливо. Здесь прекрасный командир роты — капитан Фигловский. На гражданке — директор школы. Мягкий, интеллигентный человек. Полная противоположность нашему. Командир радиовзвода — лейтенант Вознюк. Он тоже, наверное, неплохой, но мы его почти не видим,— все делает его помощник Лева Лейдерман. Он же занимается с нами и на ключе — по приему и передаче.

Старшина роты хороший — Вильшун, но с нашим все равно не сравнишь. Говорят, раньше был замечательный старшина — Емец, но его недавно куда-то перевели из БАО.

Да, теперь я радистка. У меня есть, наконец, военная специальность, о которой я так мечтала! Казалось бы, надо радоваться, а я не радуюсь. Я скучаю по старой работе, особенно по линейному делу.

8.III.45 г.

8 Марта прошло очень хорошо, празднично. Все собрались на вечер. Многие девушки пошли в гражданской одежде.

Была торжественная часть, а потом самодеятельность. Из нашей роты выступали больше всех. Вначале пели хором, а потом — Петька Таркин, наш телеграфист. У него бесподобный тенор. Была и пляска. Здорово плясали Таркин и Маша Лыткина, особенно Маша.

Да, Петька Таркин прочел еще свое стихотворение «Родина»:

По окончании войны
Придут домой твои сыны,
И в красоту родной природы
Вольются боевые эпизоды!

Потом для девушек был торжественный ужин в летной столовой и танцы под мадьярский оркестр.

В самом конце вечера к оркестру вышел наш шофер Сережа и спел «Стыдливый подснежник». Эту песню — и слова, и музыку — сочинил один наш летчик, командир эскадрильи, который несколько дней назад погиб,— а до того исполнял ее сам.

Стыдливый подснежник
Над прелью весенних проталин,
Набухшие почки готовы пробрызнуть листвой.
Идет батальон
Меж дымящихся черных развалин.

Блестит синевой заднепровский
простор ветровой.
Развалины Ржева и черные улицы Вязьмы
Под солнцем апреля стократно страшней и черней,
Пусть долго топтали в походах весеннюю грязь мы,
Сердца стосковались
По радости солнечных дней!..
. . . .

Ровно за день до его гибели я нарисовала командира эскадрильи, когда он был на КП, но он не заметил этого... Теперь — только песня...

После этого вечера мне все стали значительно ближе.

9.III.45 г.

Я стала сходить с ума от одиночества. Так хочется нежности, ласки, но наперекор своему желанию — не допускаю этого. Ведь все это могло быть давно, но мне нужна т о л ь к о Т в о я л ю б о в ь! Но как все же тяжело...

Буду откровенна: если кто-нибудь из ребят просто положит мне на плечо руку, тихонько нагнется ко мне и я почувствую его лицо близко у своего,— я ощущаю себя такой немыслимо слабой, что кажется: вот возьму и сама сейчас поцелую... Конечно, этого не будет, но мысли такие есть, и мне от них не по себе.

18.III.45 г.

Вчера Шура Семина с большим чувством рассказала мне о Вите (капитане Демидове) — о его невероятной честности и верности жене. Как он ждет не дождется конца войны и встречи с женой. Прижимая руки к груди, Шура восхищалась его благородством: «Мы с ним — хорошие товарищи, и все».

И вот в два часа ночи появляется у окна этот самый Витя и зовет: «Шур, выйди!» Конечно, разбудил меня. Но дожидаться, пока Шура выйдет, не стал — влез в окно и лег прямо к ней. Началась возня, поцелуи. К тому же Витя был еще и пьян.

Слышу голос Шуры — слабенький, фальшивый: «Витька, ну Витька... Уйди, уйди, пожалуйста!.. Инку разбудишь!» (Сегодня в комнате только мы с Шурой, остальные девчата в нарядах.) После этого поцелуи стали еще громче. Наконец Шура встала, накинула на себя шинель (она была голая) и пошла «укладывать» Витю в сарай. Два часа ее не было, пришла, когда светало... Я не могла уснуть.

22.III.45 г. ж/с Алагавилла, Венгрия

Сижу на рации, дежурю. Только что прослушала салюты Москвы.

Сейчас часто приходится работать с самолетами прямо с аэродрома. В наушниках — фронт, передовая. Голоса летчиков: «Давай бросай!», «Бросай», «Горит колонна машин слева!», «Заходи в пике!». Иногда — чувство, будто я с ними.

За три месяца получила 700 пенгов. Купила мыло, зубную щетку, Янке ленты для кос, папе — трубку.

27.III.45 г.

Сегодня мне уже 20 лет! Только подумать!..

Иду на аэродром, на рацию — в ночную смену.

Кругом такая красота... Как во сне.

Воздух густой, трепетный. Он делает с душой что-то такое, от чего она вырастает беспредельно, охватывает все и живет во всем.

Длинная аллея стройных, высоких-высоких тополей. Они стоят чуткой стеной. За ними — плакучая ива раскинула ветки до самой земли. Так красиво плачет!.. Дальше — кусты сирени, рябины, вербы. С краю зеленеют нежные молодые сосенки.

Как хочется жить!

28.III.45 г.

Моя любовь вспыхнула от двух-трех разговоров на КП. Вспыхнула и горит без всякой внешней поддержки, порою я удивляюсь этому сама.

Правда, был момент, когда Он мог и оттолкнуть меня. Но, к счастью, этого не случилось. Это было в Араде, где мы встретились уже во второй раз. Мы всю ночь пробыли вдвоем — дежурили на КП. И всю ночь спорили. Дело в том, что Он вдруг стал плохо отзываться о девушках в армии. Говорил запальчиво, зло, или, наоборот, внезапно становился надменным и холодным. Я, конечно, возмущалась, налетала на Него, но сразу видела, что Он улыбается (какая у Него улыбка, какие искристые глаза!), понимала, что говорит Он не очень серьезно, наверное, дразнит меня. Я успокаивалась, а Он снова становился злым, снова говорил свое... И тут был момент, когда я чуть не расплакалась. Тогда Он оборвал самого себя и внезапно склонился ко мне. Наши щеки слегка соприкоснулись, волосы на миг сплелись. Он взял мою руку и нежно погладил. Больше — ни одного резкого слова.

Все остальное время мы вспоминали и вспоминали Москву — ведь Он тоже москвич.

С тех пор, точнее с Лугожа, с места нашей первой встречи, я думаю о Нем в с е г д а. Если бы не эти мысли, мне трудно было бы сейчас жить, хотя и с ними нелегко, но я так благодарна Ему: ведь это Он сделал меня счастливой! И пусть даже я не увижу Его больше, я все равно всегда буду счастлива — и больше никогда никого не полюблю.

...Часто вспоминаю Лугож, первую встречу с Ним и мгновенно вспыхнувшую любовь. Самое удивительное, что еще по пути на КП я уже шла в полной уверенности, что сейчас открою дверь, войду и сразу увижу того, кого очень, очень полюблю! Я не просто думала так — я у ж е ощущала любовь, я вся была наполнена ею. Я торопилась, будто шла на чей-то зов...

Он же потом сказал мне: «Знаешь, до того, как ты вошла...» Но внезапно переменил разговор.

А КП был чуть ли не в самой гуще виноградников. Порою мы выходили туда, разговаривали, виноградные усики облепляли сапоги, а из переспелых кистей стекал сок...

5.IV.45 г. г. Новые Замки, Чехословакия

Мы в новой стране. Опять новый язык, новая речь. Люди здесь относятся к нам, как к родным.

Получила письмо от Янки. Ах ты «сапка-усанка» моя, малышка родная! Читала письмо и хохотала до слез. Сейчас лежу на койке, снова читаю и снова смеюсь.

Ночью читала письмо по рации Вовке Сукачеву — вовсю хохотали!

А у Шуры Семиной новый капитан.

7.IV.45 г. Фаркаст, Венгрия/Чехословакия

Дежурю на рации вдвоем с Левой Лейдерманом. Только что приняла радиограмму — Лева доволен. Работа очень интересная, но трудная. Я потрясена, с какой быстротой Лева стучит на ключе. Пожалуй, он работает даже лучше Сашко Скляра и ребят из 5-го ВА. Кстати, если нас вызывает район и там дежурит Сашко, он требует т о л ь к о Леву, больше ни с кем работать не желает. Неужели и я могла бы научиться такому? Наверное, нет... Конечно, мне очень мешает телеграфия, я все время сбиваюсь на нее... А Лева — радист I класса.

Лева сидит и решает уравнения с двумя неизвестными. (Нашел у хозяев сборник задач по алгебре.) Надо же, не забыл! Я абсолютно ничего не помню. Не представляю, как буду сдавать на аттестат зрелости.

Лева и немецкий отлично знает. Когда у нас ловят фрицев, он ходит переводить.

Он дал мне прочесть одно страшное письмо — матери своего сгоревшего в танке друга, Зямы Фалкова. Она подробно написала о расстреле Левиных ро-

дителей. Это было 14 сентября 41-го года в еврейском селе Нагартаве Николаевской обл. Расстреляли 841 чел.

Лева долго ничего об этом не знал, думал, что родители эвакуировались и просто не знают теперь его адреса. Он их все время разыскивал. Ему никто ничего не отвечал, но Лева надеялся... А через три года пришло письмо...

Женщина, которая его написала (юрист), успела тогда эвакуироваться, а Левины родители только отъехали от деревни, как пришли немцы. Они вернули уходящих и вскоре всех расстреляли. Расстреливали наши, предатели,— немцы сидели в стороне и курили. Один еврейский мальчик, семи лет, сумел убежать в Висунь, ближайшую украинскую деревню. Он вбежал в какой-то дом, попросил попить, его напоили, а потом хозяева увели его к месту расстрела.

Хорошо, что сейчас зачем-то пришел «пикап» из Австрии (она совсем рядом), и Лева вышел, а то я просто не знаю, как с ним разговаривать. Сижу одна. Так не по себе...

12.IV.45 г. д. Рарбок, Чехословакия

Я стала ужасно тосковать по Клавке, хотя мы часто переписываемся.

Вспомнила, как в первом нашем эшелоне, из Перми, Клавка сама, без всякого зеркала, остригла свои чудесные золотые косы. Вышло криво... Косы Клавка сунула в вещмешок...

18.IV.45 г. дер. Шаковицэ, р-н. центр Густопече, Чехословакия

По серому забору нашего дворика вьются маленькие красные розы. От них в палисаднике все красно. Они стелются по земле, перебираются через доски забора...

Сейчас все стихло в доме. Нина Яковлева и Шура спят, остальные девчата — в нарядах. А я стою у открытой двери.

От множества маленьких красных роз идет такой сильный аромат, что в нем тонут все другие запахи, источаемые буйным цветением. Я стою забывшись, потом словно спохватываюсь: неужели это я стою здесь о д н а?

Снова одна... Зачем я живу на свете, для чего, если в т а к о й вечер я одна? Ах, да что бы там прекрасного ни было у меня впереди, э т о т вечер никто мне не вернет!

Где Он? Он должен был быть на курсах, в Москве (в декабре и январе), улетел туда и должен был написать мне, прислать свой адрес, но после единственного письма от 20 ноября — ни строчки... А я каждый день жду. П р о с т о т а к молчать Он не может. В чем же дело? Что могло случиться? Жив ли Он, здоров ли?

19.IV.45 г.

Вечером меня вызвал Вовка Соколов. Я вышла и вижу: у Вовки слезы на глазах. Я очень испугалась. Оказывается, он решил поделиться со мной «сугубо личным».

Сегодня он получил письмо от своей девушки, с которой переписывается все эти годы. Он ее очень любит, никаких «дружб» за всю войну не заводил (говорил Лева). И вот раскрывает конверт — там письмо и фотография. (Володя все это показывает мне, а голос и руки у него дрожат.) В письме слова любви и преданности. Начинается оно словом: «Любимый!» А на обороте фотографии написано: «Любимому Н и к о л а ю». Перепутала девушка письма, послала не тому... Володя заплакал. Сел на траву у крыльца нашего дома и прямо рыдает. Как его было успокоить? Чем? Я сказала: «Да ты посмотри, сколько хороших девушек! Маша, Ира, Оля...» Он оборвал меня: «А мне-то что до них!» Перестал плакать, встал и ушел. Да, утешила...

20.IV.45 г.

Пришло письмо от мамы. Она пишет: «От души желаю, чтобы эта твоя первая любовь оказалась большой, прекрасной и счастливой для вас обоих».

Для вас обоих... для обоих...

Но если это т о л ь к о для меня — пусть! По-моему, так: если любишь, то независимо от взаимности. И в любом случае желаешь любимому человеку только добра. Иначе это не любовь. И нельзя, не надо падать духом! Ведь встретились же мы вообще, встретились! Надо держаться. Ведь я люблю. Чего же еще?

26.IV.45 г.

Произошло жуткое событие. Прямо за рулем умерла Эля Левина. Она только что вернулась из рейса, подъехала к гаражу и... не вышла из кабины.

Лично я не знала ее, просто видела несколько раз. Красивая стройная девушка. Ей было 23 года.

Ее увезли на вскрытие.

К нам в роту пришла ее подруга и рассказала, что Эля — сердечница и что на фронт ей было нельзя, но она послала за себя в военкомат свою сестру — они очень похожи — и так попала в армию.

Если бы Эля умерла во время бомбежки, то так страшно бы не было.

29.IV.45 г.

Вчера хоронили Элю. Шоферы несли ее на руках до самого кладбища, до могилы — ставить гроб в грузовик отказались.

До сих пор в ушах звучат гудки всех машин автороты.

Было много местных жителей. Многие женщины (все были в черном) втыкали в могилу, в землю, горящие свечки.

2.V.45 г.

Пришли письма от мамы и Янки. Оказывается, был сбор нашей школы! Янка написала большое, но сумбурное письмо. Обещала написать еще.

Итак, Ирка Левченко — танкист, Кирка — летчик! Тихон Николаевич [1] — подполковник!

Погиб Алеша Середняков. Мы с ним сидели в 4-м классе за одной партой и вечно болтали, и Капа [2] жаловалась на нас его и моей маме.

Какой он был добродушный, славный мальчик! Летом он всегда ходил в расшитой тюбетеечке... Честно говоря, я рада, что Янка не написала, кто еще погиб из наших.

5.V.45 г.

Сегодня я узнала: Он — в своем полку!! Полк их стоит недалеко от нас, и — давно! В Москве он вообще не учился — опоздал на курсы. Обо всем этом мне рассказал Витька Мажуль, экспедитор. Он был в их полку по служебным делам и случайно встретил Его. (Они ведь знакомы еще с Лугожа, когда в день нашей первой встречи Витька тоже был на КП.)

Он спросил Витьку: «Ну, а как там Инна? Дружит с кем-нибудь или одна?» Я слов не нахожу... Он не верит мне, не верит — потому и не писал! Витька сказал, что я ни с кем не дружу, а Он переспросил: «Это точно?» Витька говорит мне: «Он это что, какой-то чудной, да?» Я было помчалась к командиру роты: отпрашиваться в командировку, чтобы поехать к Нему, но на полпути вернулась — ведь Витька сказал, что их полк на днях прилетит сюда, в Шаквицы. А вообще-то правильно говорить Ш а к о в и ц э.

---

[1] Тихон Николаевич К р а с о в с к и й — преподаватель физкультуры.
[2] Капитолина Георгиевна Ш е ш и н а — преподаватель начальной школы.

6.V.45 г.

И если я молчу —
Я о ТЕБЕ молчу,
И воздух населен
Весь лицами ТВОИМИ.
Они кругом меня,
Куда ни кинусь я —
Все ТЫ в мои глаза
Глядишь неумолимо.

9.V.45 г.

ПОБЕДА!!!

Все в этом слове. Но вначале было как-то странно на душе: уж слишком спокойно. Не верилось, когда это слово произнесла в трубку телефонистка, хотя мы каждый день его ждали, а вот — не верилось...

Я приникла к трубке телефона, прямо срослась с ней. Господи, что творится на линии! Поют какие-то девушки, кто-то кричит «Ура!», слышен чей-то заливистый смех. И все равно — не верилось.

Но когда по радио зазвучал голос Левитана, прямо рвущийся весь, едва сдерживаемый, когда в тихой словацкой ночи этот единственный голос произнес: «Мы победили!» — не верить уже было нельзя. Кругом загремело, зазвенело, засветилось! Поднялся весь наш тихий до того аэродром. В темное небо мчались трассирующие пули из самолетных пулеметов, били зенитки, строчили автоматы,— мы салютовали далеко от России.

Над капонирами кружились две красные ракеты. Это проснулись техники. А мы навстречу этим красным пустили с КП желтую и зеленую. Вскоре все небо стало огненным: столько поднялось ракет!

Кто-то быстро-быстро заиграл на гармошке. Вдали запели. Со всех концов аэродрома неслось: «Ура-а-а! Ура-а-а!» Временами наступала такая тишина, которую никто не решался нарушить. Потом снова поднимался шум, все подбегали друг к другу, пытались что-то говорить, но ничего не выходило, и все только обнимались и смеялись. И снова начинали стрелять. Коля Карпенко едва успевал заряжать на рации наши винтовки.

Оперативный по штабу почему-то туго затянулся ремнем, сунул руки в карманы навытяжку — да как запел во все горло! Прямо криком закричал. Старичок телеграфист и я бегали без всякого дела то на КП, то на рацию, встречаясь, кружились и прыгали, снова бежали на КП и на рацию и снова кружились и прыгали.

И наконец, еще одно, уже только мое личное, сокровенное: Он тоже сегодня дежурил! От полка. Вот как совпало. Так вышло, что именно в эту ночь мы снова оказались вместе. Ну не счастливая ли я?

Он стоял у КП, без ремня, и пускал в небо ракеты — одну за другой.

Мы ничего друг другу не говорили, по-прежнему зачем-то скрывая свои чувства. Но когда я один раз пробегала мимо Него, Он схватил мою руку и сжал ее с такой радостью, с таким порывом и силой, что я вскрикнула.

Тут все подбежали ко мне и стали качать.

Наши салюты не прекращались всю ночь.

Настало утро. По краям аэродрома обрисовались горы, все наполнилось утренней свежестью. И наступил удивительный, особый покой. То было чудесное утро Победы.

Владимир Высоцкий

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Райские яблоки

Я умру, говорят,
мы когда-то всегда умираем.
Съезжу на дармовых,
если в спину сподобят ножом,—
Убиенных щадят,
отпевают и балуют раем.
Не скажу про живых,
а покойников мы бережем.

В грязь ударю лицом,
завалюсь покрасивее набок,
И ударит душа
на ворованных клячах в галоп.
Вот и дело с концом,—
в райских кущах покушаю яблок,
Подойду не спеша —
вдруг апостол вернет, остолоп.

Чур меня самого!
Наважденье, знакомое что-то,—
Неродящий пустырь
и сплошное ничто — беспредел.
И среди ничего
возвышались литые ворота,
И этап-богатырь —
тысяч пять — на коленках сидел.

Как ржанет коренник,—
я смирил его ласковым словом,
Да репей из мочал
еле выдрал и гриву заплел.
Петр-апостол, старик,
что-то долго возился с засовом,
И кряхтел, и ворчал,
и не смог отворить — и ушел.

Тот огромный этап
не издал ни единого стона,
Лишь на корточки вдруг
с онемевших колен пересел.
Вон следы песьих лап.
Да не рай это вовсе, а зона!
Все вернулось на круг,
и Распятый над кругом висел.

Мы с конями глядим —
вот уж истинно зона всем зонам!

Хлебный дух из ворот —
так надежней, чем руки вязать.
Я пока невредим,
но и я нахлебался озоном,
Лепоты полон рот,
и ругательства трудно сказать.

Засучив рукава,
пролетели две тени в зеленом.
С криком «В рельсу стучи!»
пропорхнули на крыльях бичи.
Там малина, братва, —
нас встречают малиновым звоном!
Нет, звенели ключи —
это к нам подбирали ключи.

Я подох на задах,
на руках на старушечьих, дряблых,
Не к Мадонне прижат
Божий сын, а к стене, как холоп.
В дивных райских садах
просто прорва мороженых яблок,
Но сады сторожат
и стреляют без промаха в лоб.

Херувимы кружат,
ангел окает с вышки — занятно!
Да не взыщет Христос, —
рву плоды ледяные с дерев.
Как я выстрелу рад —
ускакал я на землю обратно,
Вот и яблок принес,
их за пазухой телом согрев.

Я вторично умру —
если надо, мы вновь умираем.
Удалось, бог ты мой,
я не сам — вы мне пулю в живот.
Так сложилось в миру —
всех застреленных балуют раем,
А оттуда землей —
береженого бог бережет.

В грязь ударю лицом,
завалюсь после выстрела набок.
Кони хочут овсу,
но пора закусить удила.
Вдоль обрыва, с кнутом,
по-над пропастью, пазуху яблок
Я тебе принесу —
ты меня и из рая ждала.

1977—1978.

Дороги... дороги...

Ах, дороги узкие —
Вкось, наперерез!
Версты белорусские
С ухабами и без.

Как орехи грецкие,
Щелкаю я их.
Говорят, немецкие —
Гладко, напрямик.

Там, говорят, дороги — ряда по три,
И нет табличек «Ахтунг!» или «Хальт!».
Ну что же, мы прокатимся, посмотрим,
Понюхаем не порох, а асфальт.

Горочки пологие,
Я их — щелк да щелк!
Но в душе, как в логове,
Затаился волк.
Ату, колеса гончие!
Целюсь под обрез, —
С волком этим кончу я
На отметке «Брест».

Я там напьюсь водички из колодца
И покажу отметки в паспортах.
Потом мне пограничник улыбнется,
Узнав, должно быть, или просто так.

После всякой зауми
Вроде: «Кто таков?» —
Поднялись шлагбаумы
Выше облаков.
Взял товарищ в кителе
Снимок для жены —
И... только нас и видели
С нашей стороны!

Я попаду в Париж, в Варшаву, в Ниццу.
Они — рукой подать! — наискосок.
Так я впервые пересек границу —
И чьи-то там сомнения пресек.

Ах, дороги скользкие —
Вот и ваш черед!
Деревеньки польские —
Стрелочки вперед.
Телеги под навесами,
Булыжник — чешуя.
По-польски — ни бельмеса мы,
Ни жена, ни я.

Потосковав о ломте, о стакане,
Остановились где-то наугад,
И я сказал по-русски: — Прошу, пани! —
И получилось точно и впопад.

Ах, еда дорожная
Из немногих блюд!
Ем неосторожно я
Все, что подают.
Напоследок — сладкое:
Стало быть, — кончай!
И на их хербатку я
Дую, как на чай.

А панночка пощелкала на счетах,
И я, прикинув разницу валют,
Ей отсчитал не помню сколько злотых
И проворчал: «По-божески дерут!»

Где же песни-здравицы?
Ну-ка, подавай!
Польские красавицы —
Для туристов рай.
Рядом на поляночке
С граблями в руках
Веселились панночки —
Души нараспах.

— Да, побывала Польша в самом пекле! —
Сказал старик и лошадей распряг. —
Красавицы полячки не поблекли,
А сгинули в немецких лагерях.

Лемеха въедаются
В землю, как каблук,
Пеплы попадаются
До сих пор под плуг.
Память вдруг разрытая, —
Не живой укор:
Жизни недожитые —
Для колосьев корм.

В мозгу моем, который вдруг сдавило
Как обручем, — но так его! дави! —
Варшавское восстание кровило,
Захлебываясь в собственной крови...

...Дрались худо бедно ли,
А наши корпуса
В пригороде медлили
Целых два часа.
В марш-бросок, в атаку ли
Рвались как один,
И танкисты плакали
На броню машин...

Военный эпизод — давно преданье,
В историю ушел, порос быльем.
Но не забыто это опозданье,
Коль скоро мы заспорили о нем.

Почему же медлили
Наши корпуса?
Почему обедали
Эти два часа?
Говорят, что танками,
Мокрыми от слез,
Англичанам с янками
Мы утерли нос.

А может быть, разведка оплошала —
Не доложила. Что теперь гадать!
Но вот сейчас читаю я: «Варшава» —
И еду, и хочу не опоздать.

★

Мой черный человек в костюме сером!..
Он был министром, домуправом, офицером.
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых внезапно, без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: — Спасибо, что живой.

Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдет, терпи, всё ерунда...
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: — Больше — никогда!

Вокруг меня кликуши голосили:
— В Париж мотает, словно мы в Тюмень,
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, видать, начальству лень.

Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую...
Я все отдам, берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,
Чуть свысока, похлопав по плечу,
Мои друзья — известные поэты:
— Не стоит рифмовать «кричу — торчу».

И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на «ты», —
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут — отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И, худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято, —
Я это понял все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята.
Мне выбора, по счастью, не дано.

★

Давайте я спою вам в подражанье рок-н-ролу
Глухим и хриплым тембром из-за плохой иглы,
Пластиночкой на ребрах в оформленьи невеселом,
Какими торговали пацаны из-под полы,

Ну, например, о лете, которого не будет,
Ну, например, о доме, что быстро догорел,
Ну, например, о брате, которого осудят,
О мальчике, которому — расстрел.

Сидят больные легкие в грудной и тесной клетке,
Рентгеновские снимки — смерть на черно-белом фоне —
В кавернах, силикозные — награды пятилетки!
И продлевают жизнь себе, вертясь на патефоне.

Мы бдительны — мы тайн не разболтаем,
Они в надежных жилистых руках.
К тому же этих тайн мы знать не знаем,
Мы умникам секреты доверяем,
А мы, даст бог, походим в дураках.

Успехи взвесить — нету разновесов,
Успехи есть, а разновесов нет.
Они весомы и крутых замесов,
А мы стоим на страже интересов,
Границ, успехов, мира и планет.

Вчера отметив запуск агрегата,
Сегодня мы героев похмелим,
Еще возьмем по полкило на брата.
Свой интерес мы побоку, ребята!
На кой нам свой, и что нам делать с ним?

Мы телевизоров понакупали.
В шесть — по второй — глядели про хоккей,
А в семь — по всем — Нью-Йорк передавали.
Я не видал, ребенка мы купали,
Но там у них, наверное, о'кей!

Хотя волнуюсь, в голове вопросы:
Как негры там? Убрали ль урожай?
Как там в Ливане? Что там у Сомосы?
Ясир здоров ли? Каковы прогнозы?
Как с Картером? На месте ли Китай?!

Какие ордена еще бывают? —
Послал письмо в программу «Время» я.
— Еще полно?! Так что ж их не вручают?!
Мои детишки просто обожают!
Когда вручают — плачет вся семья.

★

Ах! Откуда у меня грубые замашки?
Походи с мое, поди, даже не пешком.
Меня мама родила в сахарной рубашке,
Подпоясала меня красным кушаком.

Дак откуда у меня хмурое надбровье?
От каких таких причин белые вихры?
Мне папаша подарил бычее здоровье
И в головушку вложил не хухры-мухры.

Начинал мытье мое с Сандуновских бань я,
Вместе с потом выгонял злое недобро.
Годен в смысле чистоты и образованья,
Тут и голос должен быть — чисто серебро.

Пел бы ясно я тогда про луга и дали,
Пел бы про красивое, приятное для всех.
Все б со мной здоровкались, всё бы мне прощали,
Но не дал бог голоса, — нету, как на грех!

Но запеть-то хочется, лишь бы не мешали,
Хоть бы раз про главное, хоть бы раз — и то!
И кричал со всхрипом я — люди не дышали,
И никто не морщился, право же, никто.

Дак зачем же вы тогда всё: «вранье» да «хаянье»?
Я всегда имел в виду мужиков, не дам.
Вы же слушали меня, затаив дыханье,
И теперь ханыжите, — только я не дам.

Был раб божий, нес свой крест, были у раба вши.
Отрубили голову — испугались вшей.
Да поплакав — разошлись, солоно хлебавши,
И детишек не забыв вытолкать взашей.

★

Дайте собакам мяса —
Пусть они подерутся!
Дайте похмельным кваса —
Авось они перебьются.

Чтоб не жиреть воронам —
Ставьте побольше пугал.
Чтобы любить — влюбленным
Дайте укромный угол.

В землю бросайте зерна —
Может, появятся всходы.
Ладно, я буду покорным —
Дайте же мне свободу!

Псам мясные ошметки
Дали, — а псы не подрались.
Дали пьяницам водки, —
А они отказались.

Люди ворон пугают, —
А воронье не боится.
Пары соединяют, —
А им бы разъединиться.

Лили на землю воду —
Нету колосьев — чудо!
Мне вчера дали свободу...
Что я с ней делать буду?

Это смертельно почти, кроме шуток, —
Песни мои под запретом держать.
Можно прожить без еды сорок суток,
Семь — без воды, без меня — только пять.

Публикация Всеволода Абдулова.

Борис Ямпольский

МОСКОВСКАЯ УЛИЦА

РОМАН·

Борис Ямпольский (1912—1972) пришел в литературу из журналистики и как прозаик дебютировал в 1941 году повестью «Ярмарка». В годы Великой Отечественной войны был специальным корреспондентом газет «Красная звезда», «Известия», писал репортажи, очерки из блокадного Ленинграда, из партизанского отряда в Белоруссии. Событиям войны, судьбе военного поколения посвящена повесть «Дорога испытаний» (1955). В последующие годы выходят повести «Мальчик с Голубиной улицы» (1959), Молодой человек» (1963), рассказы «Волшебный фонарь» (1967). В это время Борис Ямпольский — один из постоянных авторов журнала «Знамя», где были напечатаны цикл рассказов «Увиденное» (1965), повести «Три весны» (1962) и «Карусель» (1966).

Созданный в те же 60-е годы роман «Московская улица» остался неопубликованным. Предлагая его читательскому вниманию, редакция руководствуется желанием сделать общим достоянием это, быть может, наиболее значительное произведение автора.

Редакция благодарит друзей покойного писателя И. Д. Константиновского и А. П. Межирова за предоставленную в наше распоряжение рукопись.

Что же случилось тогда? Что произошло в том кабинете, высоком и чистом, как зал крематория, когда была произнесена моя фамилия?

— Арестовать!

И молодой, еще совсем зеленый, только кончивший спецшколу лейтенант, недавно женившийся на москвичке и еще даже не имеющий своей жилплощади, а живший вместе с родителями жены и своячиницей и ее детьми в тесной коммунальной комнатушке за шкафом, и, несмотря на это, аккуратный, с белейшим подворотничком, и даже пахнущий одеколоном, отложив в сторону книгу, своим молодым и самоуверенным почерком, за красоту и четкость которого попал на эту должность, любуясь, выписал ордер, очень красивый. И это чистое произведение каллиграфического искусства, подписанное начальником отдела, чья подпись похожа была на разогнавшийся курьерский поезд и утверждена высшим начальством, чья подпись была уже только с завитушками, и завизированное таким высоким начальством, что даже фамилии своей не выводил, а ставил только закорючку, знак иерархии, иероглиф, означавший «согласен», занесли в книгу и спустили куда надо.

И накануне во двор пришел у с т а н о в щ и к.

— Как там старая курва, Фортунатовна, все водит? — для разгона начинает установщик.

— Бывает,— сдержанно отвечает дворник Овидий, получивший накануне у Зои Фортунатовны пол-литра свежего денатурата.

— А этот зеленый змий Музычук? — продолжает установщик.

— В мертвую,— радостно отвечает Овидий, обиженный тем, что Музычук сам все до капли выпивает, даже взглянуть не дает, и сам и бутылки сдает.

— А этот тип? — между прочим, безразлично и как-то задумчиво отвлеченно спрашивает установщик.— Патлатый...

— Какой этот? — отводя глаза, недоумевает Овидий.

— Ну, этот, который гордый, ученый,— уже ближе подходит установщик, тоже отводя глаза.— Фамилию его все забываю, на К.

— А, понятно,— определяет Овидий,— третий день не видно.

— Не ночует?

— Может, в командировке? — делает Овидий предположение.

— Н е т н а м е с т е,— доложил установщик.

И подполковник, майор, а может, и капитан, не глядя, не задумываясь, ордер временно перечеркнул, и это был росчерк, равный росчерку Создателя, линия от небытия к жизни, между которыми пучина, непостижимость.

Потом нахлынула новая кампания, новые враги, и те, что вчера были врагами, не злободневные, совсем не играют в новой конъюнктуре, совсем не ценятся, и в проценты не входят, и никуда не вписываются, и нет за них ни наград, ни поощрений, ни компенсаций.

Или, может быть, было так:

— Все занято, подсобка, пересылка, и машин нет.

И тогда тот, в стальной гимнастерке, в той высшей, стальной, коверкотовой, пахнущей одеколоном «Шипр», каким душится высший комсостав внутренних дел, мимоходом, холено-небрежно бросил:

— Сократить!

И это слово, твердое, короткое, одно из двухсот двадцати тысяч современных русских слов, не лучше и не хуже других, которое, конечно же, имеет свое происхождение, свой корень, спрягается, имеет приставку, суффикс, именно в этом повелительном наклонении сказанное в том кабинете, высоком и чистом, как слово Бога, подарило мне во второй раз жизнь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Арбат

Теперь, когда прорубили широкий, уходящий в небо проспект Калинина, Арбат остался забытой где-то в стороне тихой узкой улочкой, которую пешеходы, словно это в Жлобине или Кобеляках, перебегают, где хотят, а когда-то это была очень строгая улица, по которой, говорят, Сталин ездил на ближнюю дачу.

Старый Арбат, с Кривоколенными, Николопесковским, Серебряным переулками, с Молчановкой и Собачьей площадкой, с Сивцевым Вражком и с церковью Бориса и Глеба, со всеми своими особняками, барскими каменными хоромами, почерневшими бараками первых пятилеток, бетонными коробками, с установившимися запахами, со свои-

ми старушками в салопах и шляпках, с детьми-пионерами в красных галстуках,— старый Арбат жил не видной глазу, скрытой, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно заинвентаризировано, за всеми следят, всех курируют.

Начиная от знаменитой «Праги», которая давным-давно была уже не «Прагой», а набита конторами и конторочками, с глухим заколоченным парадным подъездом и пустынной плоской крышей, где еще долго после войны валялись гильзы зенитной батареи, и родилось, и выросло поколение, которое и не знало, что тут был прославленный ресторан «Прага»,— так вот, начиная от «Праги» до Гастронома на Смоленской, улица как бы имела второе лицо. Веселый магазин шляп в «Праге», на углу, и писчебумажный на углу Серебряного переулка, пахнущий школой, готовальней, чистой линованной бумагой, «Детский мир» с пузатыми разноцветными матрешками, и зоомагазин с оранжевыми рыбками в аквариумах и запахом помета и пуха птичьих мучений, и антикварный с золотыми вазами с изображениями египетских фараонов и римских легионеров, и восстановленный после бомбежки театр Вахтангова с афишей «Два веронца», и кино «Юный зритель» с рекламой кинокартины «Клятва». А поверх этого как бы наложенный на улицу теневой силуэт, как блуждающая маска, вдоль всей улицы,— строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зимой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. В метель и в дождь, и в туман, и когда цветет сирень, и цветет жасмин, и в листопад, на рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрального разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, и в первомайскую ночь, вчера, и сегодня, и завтра — всегда — молчаливая цепочка на Арбате.

Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое, весь день и всю ночь вот так стояли и вспоминали что-то забытое. Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат со всеми его витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высоковольтным напряжением.

Табор

Это была одна из тех барских квартир, каких много в старых арбатских особняках, квартира, которая занимала целый этаж, с большими венецианскими окнами, двумя входами — парадным с широкой беломраморной лестницей, на которой некогда лежал ковер, а теперь ступени давно потемнели, были сбиты, заплеваны, обшарпаны,— и черным кухонным, с узкой железной лестницей, на которой пахнет не только помоями, ворами, но бегают живые крысы.

Все было как везде: грохочущая и замызганная холуйская черная лестница, и облупленные до дранки стены, и пыльная, несчастная, голая экономичная лампочка с багрово-потухающей нитью накала, и двери, изрезанные любовными и нахальными надписями, и цементный кухонный пол, и в саже кухонный потолок, так что расписанные на нем амуры и вельможи казались грешниками в аду; ванная, в которой хранились капуста и картофель, а потом стояла постель молодого начинающего и обещающего быть гениальным художника, и карболочный вокзальный туалет, к которому в зимние темные утра, когда все просыпаются поздно и все спешат на работу, выстраивалась очередь, и скандалы, и интриги, и с некоторых пор комиссия содействия домоуправлению стала с вечера раздавать порядковые номерки.

Давным-давно, пожалуй, с тех пор как хозяин особняка, чайный фабрикант, сбежал от революции в Париж, ни маляры, ни плотники, ни кровельщики не касались стен дома, и давно отпала гипсовая лепка, и фигуры ампир стояли в розовой тифозной сыпи, а кое-где даже провалились потолки, открыв деревянные балки. Если приходили гости и танцевали, дом содрогался и хозяева умоляли: «Тише, а то сейчас снизу прибегут инсультники». А в дождь население выносило на чердак ведра, тазы и кастрюли, в комнатах и коридорах был потоп, а на водосточной трубе выросли шампиньоны.

Только под 1 Мая приходили маляры с длинными кистями и, вися в подвешенных к крыше люльках, распевая песни, красили фасад в старый, барский фисташковый цвет, правда, не в чистый, благородный фисташковый XVIII века, а в несколько грубый, несколько нахально-яркий, аляповатый, но все-таки не суриком, не охрой, не камуфляжного цвета воздушной тревоги. Дождь скоро смывал эти румяна, и дом стоял, как пожилая красуля, вдруг вздумавшая румянить щеки, и слезы текли грязными старческими подтеками. Но приходил новый Первомай, или вдруг приезжал знаменитый и небывалый иноземный гость, и снова под окнами распевал маляр. Потом приезжала машина, и монтер менял разбитые в зимнюю стужу молочные шары, выворачивал погасшие, перегоревшие лампочки, и ночью снова ярко светил фонарь, и, казалось, наступает новая жизнь.

Но ничего не изменяется. И все так же шумит, скандалит, женится и разводится, рожает и умирает разноязычный табор коммунальной квартиры.

На высоких массивных старорежимных дубовых дверях, где некогда была одна жарко начищенная медная табличка, теперь многочисленные звонки и кнопки, с детально выписанными указаниями и вычислениями длинных и коротких звонков.

Откроете дверь, изнутри висят на веревочках картонные визитные карточки — «Черномордиков дома», «Цулукидзе дома», «Свизляк — на службе», «Лейбзон дома», «Кнунянц в командировке».

А потом широкий, темный, пропахший нафталином, свечными огарками, мышиным пометом коридор, весь заставленный старыми рассыпающимися шкафами с ненужными книгами, окованными железными полосами сундуками, о которые вы всегда обиваете себе коленки, какими-то тюками и корзинами, набитыми всякой ветошью и дребеденью, а может быть, даже камнями, лишь бы там что-то стояло, лишь бы мешало людям жить. Тут же цинковые корыта, похожие на детские гробы, громадные оранжевые и голубые бутыли, в которых черт те что хранится, сверкнет старый горбатый самовар, дамский велосипед, из колеса которого обязательно торчат острые спицы, засохший фикус, и стоит даже бог весть откуда взявшееся давно изъеденное молью чучело медведя, который по-отцовски коснется вас, и вы вздрогнете от неожиданности, словно именно вас он и дожидался в этом коммунальном лесу.

В общем, сюда выставлено все, что не нужно никому, но только тронь или чуточку передвинь с места... А бывает, еще посредине ви-

сит на протянутой веревке белье, которое бьет вас мокрыми штрипками по лицу.

В коридор выходили высокие и широкие двери с дубовым узором, и на вешалках висели старые, еще гражданской войны шинели, бекеши, еще старорежимные салопы, шушуны, и, казалось, у стены, прижавшись, стоят и ждут своего часа краскомы, чекисты и старухи бабы-яги.

За дверями орало радио, или играл патефон, или плакали, или пели, или били посуду, или царствовала такая тишина, что становилось страшно, и пахло то жареной воблой, то столярным клеем, то лекарствами, то сивухой, то гримом или ужасной, необратимой пустотой.

Совместная жизнь настраивала всех на одну волну. Иногда в квартире стояла мертвая тишина, но стоило только кому-то закричать, как во всех комнатах начинался шум, все вспоминали обиды, оскорбления, боль...

Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской или киевской, или одесской квартиры, разве только тут было еще теснее, населеннее и резче был запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших контор, магазинов, тюрем, они были менее благоустроены и приспособлены к человеческой жизни, рождению детей, болезням, свадьбам, смертям — как и во всякой коммунальной квартире тут жил самый разнообразный, смешанный, пестрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.

Не они выбирали тут местожительство, никто специально их и не поселял, а поселились они хаосом, неразберихой бурного времени революции и гражданской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, мобилизациями, и, поселившись, крепко привязавшись к чужому месту, голодовали, бедовали и плодились, как кролики.

Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда по закону реквизиции и уплотнению, а жили и расплодились его потомки, выписали родственников из деревни и маленьких местечек. Но были и такие, которые не имели никакого отношения к тому, кто некогда вошел сюда по классовому закону и занял подобающую жилплощадь господствующего класса, а такие, что фальшиво женились и прописались, а потом даже не разводились, а просто спровадили милую невесту или дождались смерти старух, изо всех сил помогая этой смерти. Но были и такие, которым и фиктивный брак не понадобился. Они прописались неизвестно как и почему и на каком основании, но в домовой книге появились их фамилии и были поставлены все печати, наклеены все нужные гербовые марки. Все у них было в порядке, в ажуре. Но были и такие, которые и прописаны не были, просто жили, просто втерлись и жили годами.

Нет, не играли они никогда теплой компанией в лото или в триктрак, не составляли совместной пульки, не собирались на посиделки полузгать семечки и никогда, никогда не ходили друг к другу в гости на варенье, соленье, на маринованные грибы или семейную наливку. Если даже была свадьба, или именины, или просто вечеринка, приходили с другого конца города, но из соседней комнаты, из-за фанерной перегородки не заглядывали, а если слишком шумели, то из-за этой

перегородки стучали щеткой в стенку, так что сыпалась штукатурка и отклеивались обои, а бывало, и выходили в коридор и делали последнее предупреждение или просто без предупреждения приводили участкового.

Да, жили тут разные люди и разно они стоили. И как во всяком сообществе людей были и свои сумасшедшие, и свои верховоды.

Вот роль верховода играл тут Свизляк, тучный, зубастый мужчина, с кирпичным лицом, сивым жестким ежиком Керенского и развязными ногами кавалериста, хотя он ни разу не сидел в седле на лошади, а всю жизнь провел, обнимая мощными мускулистыми ляжками канцелярский стул в министерстве.

Свизляк

Создатель не поскупился на него. Судя по величине и количеству костей, по этим мослам, по огромному черепу, природа, видимо, задумала сначала что-то более громоздкое, носорога или верблюда, но в последний момент что-то случилось или, может, обнаружилась нехватка лимитированных хрящей, и вот она слепила и выпустила на свет Свизляка, оставив только носорожий заряд амбиции, зависти, коварства в его животной неистощимости, и пошел он гулять со своим дыханием и запросами, а тут еще попал в клетку коммунальной квартиры, и низки были все притолоки, и когда он входил, то сгибал голову и все вокруг ему казалось крохотным и ничтожным и хотелось разнести в щепы.

В каком он служил министерстве и что он там делал, чем занимался те десять часов, которые отсутствовал дома, никто не знал, а он почему-то тщательно скрывал и ни разу не проговорился, считая это государственной тайной, и когда его об этом спросят, он только скосит глаз и взглянет подозрительно, словно ему задали вопрос о дислокации, в лучшем случае усмехнется и скажет:

— Где партия и правительство поставили, там и работаю.

Хотя точно было известно, что в партии он не состоит и никогда не состоял, однако заявления писал чаще, чем кто-либо из членов партии, и сослуживцам его, очевидно, жилось несладко, судя по тому, что он рассказывал жене за ужином, как «поставил на место товарища Каплана», и что он еще «доберется до товарища Щепкина», и «проверит классовое происхождение Брокгауза»; а не родственник ли он Брокгаузу и Ефрону, которые выпустили небезызвестную энциклопедию?

В годы нэпа, говорят, он в каком-то небольшом губернском городе открыл свою собственную мастерскую по починке несгораемых шкафов, имел золотишко, и жемчуга-бриллианты, и иностранную валюту. Но в первые же годы реконструкции и социалистического наступления быстро перестроился, исчез из губернии в Москву, нашел угол и очень быстро и ловко вытурил из всех других углов законную их владелицу, стал носить бриджи и толстовку и брезентовый портфель инспектора и даже чуть ли не вступил в партию, но в это время началась чистка, прием приостановился, и он одумался рисковать. А когда чистка кончилась, он уже не подавал заявления, а решил остаться навсегда беспартийным большевиком, и, не неся бремя ответственности и членских взносов, помогал партии разоблачать врагов народа, двурушников, подкулачников, идеологических диверсантов, оперативно откликаясь на все текущие призывы и кампании, на все

субботники и воскресники, и хотя сам не любил работать, но следил, чтобы никто не отлынивал, не жил в отрыве от общественной, текущей жизни, скрываясь в единоличной скорлупе, в башне из слоновой кости, хотя свою ячейку, свои соты строил крепко, надежно, индивидуально, не надеясь на помощь и победу коллектива.

Едва только он в своей мокрой собачьей куртке и высоких охотничьих, пахнущих дегтем сапогах, с огромным старым разбухшим портфелем являлся домой, тотчас же, не успевал он снять куртку и кинуть портфель и крикнуть дочери: «Ляля, не распыляй время!»,— начинал пилить, строгать, стучать.

Свизляк обожал чуланчики, каморки, сарайчики. Где только есть свободный, а то и несвободный угол, тотчас же устроит загородку и забьет всякой ветошью. Подвал и чердак он давно освоил и разгородил, напихал старыми стульями с разодранными соломенными сиденьями, старыми матрацами с выскочившими пружинами, старыми желтыми корзинами с книгами и газетами, понавесил всюду здоровые амбарные замки, и кто ходил в подвал или на чердак вешать белье, вечно разбивал лоб об эти ржавые, злые замки.

На время войны Свизляк уезжал в эвакуацию, ибо как раз в этот момент жизни у него обнаружились каверны в легких. Это было видно на рентгеновских снимках, он носил эти снимки с собой и всем показывал, как свою фотографию, и в квартире, и у себя в учреждении, и даже в других учреждениях, куда он обращался по своим делам и заботам. Может быть, так оно и было, но я в это не верил. Когда он орудовал топором и лопатой, когда он взбегал по лестнице одним махом, когда утрами отфыркивался у раковины, когда сидел за столом и, раздирая руками гуся, ужинал, в нем не чувствовался смертельно больной.

Но во всяком случае 16 октября он срочно отбыл в эвакуацию и не забыл предварительно закрыть все свои курятники на амбарные замки. Конечно, в холодные годы войны их разбили и растаскали на топливо, и когда Свизляк прибыл из эвакуации в защитной сталинке — в габардиновой гимнастерке и синих диагоналевых галифе — краснолицый, загорелый на иссык-кульском солнце, с тюками урюка, он тем же голосом, тем же манером, каким в начале войны говорил: «Это вам не мирное время», стал теперь говорить: «Это вам не военное время». И делал все, что хотел и что ему было выгодно.

Ему пришлось начать все сначала, и все вечера он строгал и стучал снова, сбивая свои чуланчики. Однажды ночью он отрубил даже кусок от кухни и, когда утром все проснулись и явились на кухню с кастрюлями и сковородками, то увидели закрытую на большой висячий замок новую каморку. Потом та же участь постигла и общий коридор, и тут он ухитрился отрезать кусок и устроить ловушку-загородку и повесить замок. И когда уже решительно нечего было больше отгораживать, он буквально полез на стену и отрубил кусок коридорчика уже не по вертикали, а по горизонтали, и устроил висячий антресольчик и запихал туда какие-то кошелки, какие-то старые полушубки и изгрызенные мышами книги, всякие «Спутники агитатора» и брошюры по НОТу двадцатых годов.

В маленьком этом темном коридорчике, у самой моей двери, на гвозде висела его пышная длинноволосая собачья куртка, принявшая его могучий облик. От нее пахло сыростью и псиной, и когда он выходил из комнаты, то так же пахло и от него, от его подтяжек, подмышек, от его улыбки и взгляда.

С ним жила жена, крохотная, замученная женщина с несчастным засушенным личиком, которой он все время твердил: «Не ходи на цыпочках, ходи на всю ступню, это раздражает».

День и ночь ему хотелось все разнести в клочья, все его раздражало, и так как эту энергию нельзя было всю вложить в заколачивание гвоздей, то она пошла по другому направлению и стала выливаться с кончика пера. И это дело, деликатное и, на первый непривычный взгляд, даже легкое, чепуховое, веселое, оказалось работой тяжелей грузчика — тут уже надо было иметь сердце даже не носорога, а экскаватора. В конце концов это надорвало его, но уже позже, гораздо позже, а до этого нужно было случиться катаклизму, по сравнению с которым извержение Везувия, землетрясение на Японских островах, средневековая чума, и инквизиция, и другие страхи, и штуки Ирода были просто куриным пометом.

Никто не знал, какой он силой обладает и до чего может дойти, но все почему-то были уверены, что он все может сделать, и не испытывали судьбу, и не доводили до кипения, и сдавались угрозе. И он с каждой кухонной, коридорной победой становился все нахальнее и требовательнее, и, когда на лестнице раздавались его тяжелые и звонкие шаги, его шумное дыхание, будто дышала сама собачья куртка, на кухне становилось тихо.

Соседкой его была тихонькая, робкая старая дева Любочка, которая жила в своей комнатке-гнездышке, среди пышных плюшевых кресел, как мышь в норе, и которой не касались штормы и электромагнитные волны современной жизни и собраний, и которая до обморока боялась его взгляда и дыхания и от звука его голоса теряла сознание.

В комнатке ее жил еще и еж, а у окна стоял большой, похожий на подводный грот аквариум с золотыми рыбками.

Это нам кажутся все рыбки одинаковыми. А для нее каждая была личностью со своим характером, со своим норовом, были рыбки кроткие, ленивые, были шалуны и капризули, были всеядные и рыбки-гастрономы. И каждую она нарекла, как человека, именем.

Длинная, стремительная вертихвостка была Василий. Толстая, сонливая рыбка была Тарас. Маленькая, юркая, хищная, на лету хватающая корм, была Валентин...

Для них тоже все люди были на одно лицо, только хозяйка их была другая, в темноте они узнавали ее силуэт, ее фосфоресцирующее лицо и на ее певучий голос откликались. И стоило только ей позвать: «Василий, Василий!», как Василий тотчас же бросал все суетные дела свои в длинных, извивающихся водорослях, подплывал к стеклянной стенке и уставлялся выпученными холодными глазками: «В чем дело? Я тут!»

Каждый день ранним, ранним утром, когда квартира еще спала, и вечером после работы она кормила свою золотую гвардию, и из-за двери слышалось: «Василий... Василий... Ап!.. Тарас... Тарас... Тарас... не зевай! Валентин.... Валентин, брось свои хулиганские трюки!..»

И Свизляк все это учел.

Однажды зимним вечером, во время очередного кормления Любочка зачем-то внезапно открыла дверь в кухню, и от дверей, грохоча сапогами, отскочил пузан в габардиновой гимнастерке с широким военным ремнем.

— Вы, конечно, извините,— сказал управдом,— но поступили сигналы. У меня режимная улица, а у вас без прописки живут каких-то два Василия, один Тарас и один Валентин.

На что уж Голубев-Монаткин — политически самоуверенный подпольный товарищ, еще в двадцатые годы незапятнанным прошедший через все дискуссии и чистки и лишь по какому-то дикому, конъюнктурному недоразумению вышедший в тираж, знавший все политиче-

ские входы и выходы, имевший природное классовое чутье, ибо происходил из крестьян-бедняков Сасовского уезда, Рязанской губернии, но даже и он своим исконно природным чутьем понимал, что Свизляк — кулак и примазавшийся, колеблющийся элемент, который бы служил и лизал так же и при Керенском, и Врангеле, и батьке Махно, при английской королеве Елизавете или японском микадо Хирохито, если бы они могли дорваться до власти в России. И он старался не связываться со Свизляком, не то что боялся или трусил, а просто сторонился и с высоты своего подпольного прошлого как бы не замечал его нахального существования, не вступал с ним ни в какие дискуссии, а тем более кухонные обмены мнениями, оставляя даже часто без ответа его несвоевременные высказывания. Стоя вполоборота и слушая вполуха, выпятив вперед губы с миной: «Все это болтовня, глупости, политическое недомыслие»,— Голубев-Монаткин корректно плевал в его сторону, и растирал ногой, и уходил в свое глубокое, классово-партийное понимание событий и очередных задач.

Голубев-Монаткин

Крепенький, жилистый, чудовищно носатый старичок, все лицо — и щеки, и лоб, и даже, казалось, уши ушли в толстый хрящеватый нос. Можно было подумать, что давно, в самом раннем детстве, кто-то решительно взял его мягкое младенческое лицо в жменю и с досадой сжал. Но, присмотревшись поближе, можно было увидеть, что это — только поверхностное представление, что все именно так было задумано природой и все черты лица по плану стремились, симметрично стягивались к носу, как к своему средоточию, своему высшему самовыражению, чтобы составить это надменное, самоуверенное, самолюбивое, ничего, кроме своего носа, не признающее лицо, лицо-нос, лицо-апломб.

Да и весь он, крутенький, ожесточенный, низкого росточка, в бурках на повышенных каблучках, был похож на ходячий нос, на который напялили защитный картуз и пустили по улице, чтобы чихал и сердился, и всех учил, и, когда надо и не надо, злобно сжимал в кулачки свои короткие, крепкие ручки, сообщая всем, кто этого еще не знал, что он всегда принадлежал и сейчас принадлежит и будет принадлежать к тем, которые командуют, а не к тем, которыми командуют. И сознание этого было в том, как он смотрит на вас сверху вниз, как со значительной миной слушает, небрежно и брезгливо, как отвечает — кратко, отрывисто, не вдаваясь в объяснения и подробности — или просто молчит: «Вы мне не по уровню»,— и уходит, не кивнув, не простившись, твердо отпечатывая шаги.

Всегда у него был такой вид, будто он знал что-то такое, чего никто, во всяком случае в этой квартире, среди этого жадного, лукавого, мелочного, погрязшего в разврате мещанства, кухонного сброда, не знает и не может знать, будто он хранил какую-то важную государственную тайну, которой невозможно не только поделиться, но при знании этой тайны даже опасно стоять с кем-то рядом.

И хотя он уже давно не был у дел, не входил в кабинет, отделенный от мира, от сомнений и пересудов темным тамбуром и двойной, обшитой дерматином, клеенкой или кожей дверью, по ковру к служебному столу, к которому приставлен другой, длинный стол

для заседаний, давно уже не формулировал, не давал указаний, не советовал, не приводил в чувство, в идейную зрелость, не подымал на кампании, на идеологическую борьбу,— это выражение превосходства, всезнания, как припаянное, никак не хотело сходить с его лица. И похоже было, как будто он с этим выражением родился некогда в пятистенной деревенской избе, на широкой печи, и теперь оно, одубелое, окаменелое от времени и к тому же еще оттененное обидой, невниманием, незаслуженной отставкой от дел, еще более обнажилось. Голубев-Монаткин и сейчас щепетильно следил за текущей политикой, за всеми передвижениями вверх и вниз, и получал по подписке не только «Правду», но и «Советское искусство», и «Культуру и жизнь», ибо очень интересовался литературой и искусством, и не так новыми шедеврами, как новыми решениями: кто и как провинился, и ошибся, и получил по башке, с кого снимают стружку, а кто, наоборот, в фаворе, и что сказал писатель А. Фадеев или художник А. Герасимов.

Ту же «Культуру и жизнь» приносил с собой и Свизляк, который как раз в те дни тоже очень интересовался литературой и искусством, и как бы они ни были отчуждены и даже враждебны друг другу, но, увидев в руках у Свизляка эту щуплую, на тонкой бумаге газету, Голубев-Монаткин одобрительно хмыкал и иногда, особенно во время разгара космополитизма, до того снисходил, что даже подмигнет Свизляку: «Ознакомились?»,— на что Свизляк, сердитый и ненавидящий Голубева-Монаткина за то, что этот гранит не поддавался его зубам, тоже откровенно подмигивал одним глазом: «Дают!»

Но вообще ни с кем в квартире Голубев-Монаткин не разговаривает и даже не здоровается. Рано утром, выпив несколько стаканов кофе с цикорием, который очень любит, он надевает свою старую зеленоватую бекешу с барашковым бортом и белую папаху и, ни на кого не глядя, уходит из дому неизвестно куда. Некоторые сообщали, что видели его в сквере дремавшим, с газеткой на коленях, другие говорили, что, наоборот, он непрерывно ходит-бродит, считая это цементом здоровья, третьи — будто видели его в библиотеке, где он что-то выписывал из старых желтых газет, а некоторые уверяли, что он уходит в Сандуновские бани и проводит там полдня на полке, а в перерывах играет в шашки и пьет морс.

Во всяком случае нет его до обеда, а ровно в два придет и опять, ни на кого не глядя, словно и не на что глядеть, умоет над кухонной раковиной руки и сядет за стол, постукивая ножом, сообщая этим, что ждет обеда. А когда подавали суп, захватив тарелку лапою, урчал. Отобедав двумя блюдами с закуской и компотом, с той же газеткой ляжет на кушетку, укроет лицо от мух и захрапит так, что не слышно телефонного звонка.

— Мне надоело слушать твой свинячий храп, хоть бы ты сдох,— говорит ему супруга, толстая, рыхлая, сырая женщина, боевая подруга жизни.

— Как у тебя глотка не лопнет,— отвечает Голубев-Монаткин.

Слова он выговаривает медленно, ясно, веско, словно читает приговор.

И, опять сев за стол, он стуком ложечки об стакан сообщает, что ждет чая, потому что днем он пьет только чай. Высосет три стакана очень сладкого чая, да еще с вареньем и опять, захватив ту же газетку, уйдет и вернется поздно, когда все спят. На столе его ждет холодный ужин, он его аккуратно съест и перед сном опять же почитает ту же газетку и ляжет спать, и ночью почему-то не храпит, а спит тихо, а может, и совсем не спит.

В 1920 году в Баку, в подвале ЧК, Голубев-Монаткин расстрелял восемнадцатилетнюю девушку. Она стояла у стены, и когда он поднял наган, она разодрала на груди платье и крикнула: «На, стреляй, гад!» И вот уже тридцать лет является она по ночам и глядит ему прямо в глаза: «На, стреляй, гад!»...

Но, несмотря на это, Голубев-Монаткин никак и ни за что не мог и не хотел отвыкнуть от своей громкой прошлой жизни, и когда утром выходил из комнаты в коридор или на общую кухню, сердитый, напыщенный, то, казалось, удивлялся, что никто не уступал ему дорогу, не жался к стене, не улыбался, не льстил, не спрашивал, как самочувствие, ничего от него не хотел, и не ждал, и не просил. Хотя он-то не был в настроении слушать, вникать, давать спуску, ибо он не верил в другие средства убеждения и повиновения, как только держать в кулаке, в ежовых рукавицах, в шорах, в шенкелях, без рассуждений, без всяких дискуссий, обсуждений, симпозиумов. Без мягкотелости, слюнтяйства, мелкобуржуазной распущенности, фарисейства. И все это проникло, так пропитало все его существо, все его черты, голос, походку, въелось не только в его характер, но глубже, в кость, в кровь, в гены, в хромосомы, что казалось, будь у него дети, они сразу родились бы не только вот такими носатыми, хрящевидными, но и высокомерными, всезнающими выкормышами, только разве росточком в наперсток, и, даже не обучаясь ни в какой школе, не зная еще азбуки и таблицы умножения, уже судили бы обо всем с апломбом и учили всех идейности.

Айсоры

В первой от входа, самой большой комнате, с широкой, некогда стеклянной дверью, даже не в комнате, а в зале с толстыми румяными амурами на стенках, с огромными венецианскими окнами, которые вдруг сразу озарялись зеленым сиянием троллейбусной вспышки, проживала большая, шумная и вздорная семья-муравейник: деды, бабки, зятья, деверья, племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры, и все чернявые, курчавые, крикливые, очень похожие друг на друга.

И к ним еще приезжали из разных дальних и близких городов и просто приходили в гости из разных районов, и все такие же чернявые, курчавые, азартные, приставучие и настырные, и иногда казалось, что они тут оставались жить, мельтешили, меняясь паспортами, и не только участковый или дворник, но и соседи, и, пожалуй, они-то сами не могли разобрать, кто есть кто.

И все это жужжало, как шмелиное гнездо: то разбуженное вдруг взревет, то попритихнет, но чаще всего жужжит постоянно, ровно, и в этом жужжании — и хрип радиоточки, и треньканье цыганской гитары, и ленивое переругивание шальных, с лукавыми хитрыми глазенками ребятишек, и постоянная работа мясорубки, которую они почему-то держали в комнате, и стук-постук — чего-то там они строгают, пилят и вечно ладят,— и еще какое-то непонятное, странное гудение, словно там действовал челнок самодельной ткацкой машины или, может, самогонный аппарат, и еще будто кого-то стригли машинкой, и он вскрикивал.

Спали в два и даже три этажа на нарах, и всегда кто-то храпел и стонал во сне, а остальные в это время ссорились, пели, чавкали, а черная тарелка репродуктора «Рекорд», не желая ничего этого знать, бубнила про свое.

Уже с самого раннего утра зимой, еще в полной темноте, когда люди только просыпаются, там уже рычал, дребезжал хриплый, разухабистый патефон, и уже беспрерывно крутился он весь день и пел жарким, зовущим голосом, звал на Гвадалквивир. Обезумевшая тупая игла, как гвоздь, кружилась и царапала заигранную и переигранную пластинку.

Говорили, они айсоры, а кто такие айсоры, что это за нация, племя, откуда они взялись и расселились по всем городам и городишкам России, от бульвара Фельдмана в Одессе до Золотого Рога во Владивостоке, и замахали пушистыми сапожными щетками, никто этого толком не знал, да вряд ли они сами это помнили.

Откуда они взялись, где их настоящая родина, ведут ли они свой род из Ассиро-Вавилонии или откуда-то поближе? Говорили они на странном, немыслимом наречии, удивительно перемешивая какие-то тарабарские слова с русскими словами и жаргонными словечками. Но счет деньгам всегда вели по-русски.

То они распространились по всем ближайшим уличным перекресткам, восседая в самодельных будках среди разноцветных шнурков, ваксяных коробок и гирлянд белых стелек, и чистили обувь, быстро мелькая щетками; то, когда началась война и было не до глянца туфель, они рассыпались по всем рынкам и торговали с рук старой ветошью, военным пайковым хлебом, водкой, сахарином, сульфидином, медалями «За отвагу»; то, когда снова пришли мирные дни, их можно было встретить у всех ближайших станций метро — зимой с первыми мимозами, весной с тюльпанами и ландышами: «Нарциз! Нарциз!»; а поздней осенью — с перчатками, варежками, шарфами: «Импорт! Экспорт!», «Экспорт! Импорт!».

Они появлялись, шумные, прилипчивые, крамольные, непутевые, немедленно всюду, где был перекресток, толкучка, очаг дефицита и пахло свежим рублем, будь это мимозы, бюстгальтеры, карамельные петушки или игрушки «уйди-уйди», и неважно, привозилось ли это самолетом, или тут же кустарно изготовлялось, за углом, в потайном подвале.

И эта огромная комната была иногда как субтропическая оранжерея, а иногда — как оптовый склад, а бывало, и мастерская, когда на полу сидели все, от патриарха до младенца, и надували разноцветные воздушные шары, которые тут же продавались у ворот проходящему люду.

Это было то же самое, что иметь под боком золотую орду: орут на рассвете, и весь день, и ночью, иногда не утихая подряд целую неделю, если у них праздник, или чья-то удача, или такое настроение. А если свадьба, так это даже чувствовалось в проезжающих троллейбусах.

Однажды серолицая чахоточная дочь вышла замуж тоже за чахоточного, с которым познакомилась в районном тубдиспансере.

Свадьба была шумной, дикой, и так как электричество было выключено за пережог лимита, то она происходила при свечах и коптилках.

Было много гостей-туберкулезников и выпито много водки в этот день на свадьбе, и еще на следующий день, и много дней подряд с утра до вечера играл патефон — они никак не могли закончить свадьбу.

И всю эту шальную ораву, в жестких и мелких, как барашек, кудряшках, качало из стороны в сторону, казалось, и комната раскачивалась, и внутри все плясало, пило водку и закусывало винегретом,

клепало, и хвасталось, и тарабарничало, вспоминая обиды прошлые и нынешние и выдумывая будущие, цыганило, дралось, царапалось и мирилось, пело и пило согласно, пока снова не начинало царапаться до крови, до расплаты, не прощая ни одного слова, ни единого взгляда, ни одного намека.

Пьяное веселье замерло на несколько часов и вспыхнуло с новой силой. В это время самый маленький впервые надел огромные чоботы и пошел самостоятельно во двор, и через час его привел милиционер, он попался на краже бутылки водки в столовой.

Гости уходили и приходили, и приводили новых гостей, еще трезвых и уже пьяных, опьяневших на другой свадьбе или по дороге, в забегаловке, а может быть, их и приводили или они сами приходили из забегаловки на шум веселья. В коридоре и на лестнице валялись пьяные, и люди, уходившие на рассвете на работу, переступали через них, как через бревна.

Невеста через неделю неожиданно слегла, ее увезли в больницу, и она умерла, к ужасу табора, который успел прописать жениха на своей жилплощади.

Когда возвратились с похорон, начались поминки, и они были такие же шумные, громкие, отчаянные и казались продолжением свадьбы.

А как отшумели, отгорели поминки, пошла драка между семьей и женихом, которого тут же стали выселять с площади. Патефон играл, жарким голосом призывая на Гвадалквивир, а вся семья навалилась на жениха, и душила, и выталкивала на улицу, на мороз, а он не уходил и, избитый, в царапинах и кровоподтеках, все возвращался, открывал двери и говорил:

— А я прописан, и никто не имеет права...

Он говорил, что понес убытки, и уйдет, если только ему вернут расходы на свечи и гроб, но это была только отговорка, он никуда не ушел, а подал в суд, и народный судья с двумя заседателями отсудили ему несколько квадратных метров, и теперь он жил в одной комнате с табором, отгородившись от него буфетом, и они все время ссорились и втайне сдвигали буфет с воображаемой границы.

— Я подвигáюсь,— говорил он,— хочу распространить свою территорию, а они при каждом отсутствии задвигают и задвигают, совсем нечем дышать.

Теперь днем и ночью кашель его слышен был через все стены и перегородки. Когда он приходил в кухню к своей кастрюльке, он отхаркивал в индивидуальную спичечную коробочку, и хозяйки отворачивались, поджимали губы, и им казалось, что палочки Коха бегают по стенам.

Он давно уже не работал по инвалидности и весь день на чердаке вытачивал каких-то матрешек и ванек-встанек и продавал их на Киевском рынке, и табор уже трижды приводил милицию, жалуясь на незаконный промысел и требуя выселить бывшего зятя с режимной улицы как спекулятивный элемент. Но у него все было в порядке по части инвалидности, и по части туберкулеза, и по всем другим линиям советского гражданина, и его оставили в покое к возмущению табора, который считал, что его нужно уничтожить навсегда и окончательно.

— Колеблющийся человек,— говорили они,— плохой, очень плохой.

Современная жизнь, с ее собраниями, политикой, напряжением идеологической борьбы, морально-политическим единством, их как будто совершенно не касалась, не задевала своим жестким крылом.

Они не только ничего не хотели об этом знать, но им и в голову не приходило всем этим интересоваться, все это происходило в каком-то другом измерении, для других людей, из другого теста.

Они, казалось, жили в каком-то далеком прошлом, в мире с колесницами, языческими свадьбами, кровной местью, или же в современной оперетке.

Террористка

Рядом с ордой жила тихая сердитая старушка с мертвыми глазами и усеченным, как конус, подбородком, не соприкасаясь с шумной, то взрывающейся скандалами, то фейерверком веселья таборной жизнью, глухая ко всем слухам, сплетням, кухонным интригам, не читая газет и журналов. Даже радио в ее комнате молчало.

Во всех комнатах, по всему длинному коридору радио целый день орало, хрипело, протяжно пело хором Пятницкого и плясало, топотало ансамблем песни и пляски или говорило государственным голосом Левитана. А если молчало радио, хрипел патефон, или кричали истерическими голосами и тузили друг друга, обзывали овцой и идиотом, или во всяком случае надували велосипедную шину или камеру футбольного мяча; а эта комната мертво молчала, и даже подслушивавшие ничего не могли услышать, а в замочную скважину ничего не было видно: с той стороны торчал ключ.

Уже и к участковому поступали анонимки, что в этой комнате слишком подозрительно тихо, старорежимно, несоответственно бурному текущему моменту, что аполитично и отвлеченно, как старосветская помещица, живет Розалия Марковна, и в этой подозрительной тишине, может статься, кроется что-то агентурное.

Но приходил участковый в тонких сапогах, при каштановой кобуре, и, вежливо постучавшись к Розалии Марковне, осторожно входил в ее комнату, оглядываясь и все запоминая, задавал несколько отвлеченных историко-биографических вопросов и, получив от нее исчерпывающие ответы, выходил спокойно и даже как-то косо, сердито поглядывал на столпившихся у дверей анонимщиков, глядевших в его руки, не вынесет ли он оттуда бомбу или банку с ядом.

Жила Розалия Марковна, как ночной мотылек. Только в полночь, когда никого уже нет на кухне, когда остыли примуса и керосинки, и все дремлет, неслышно прошелестит на кухню и что-то там сварит, вскипятит в своей кастрюлечке какое-то варево и быстро унесет в свою комнатку — и слава богу.

Правда, говорили, что не всегда была такой тихой и незаметной Розалия Марковна, что когда-то в давние времена была она суфражисткой, ходила в эсдеках или даже анархо-синдикалистах, была жестокой и нетерпимой, и бушевали в этом крохотном теле террористические бури, и прятала она у себя под кроватью бомбы, и даже раз метала бомбу под карету кровавого губернатора. Но уж в это решительно трудно было поверить — как она этими кроткими, сухими в веснушках ручками могла и прикоснуться к бомбе.

Розалия Марковна, наверно, всегда была худенькой женщиной, но теперь она высохла совсем в девочку-подростка, со сморщенным, как груша из компота, личиком, и молнии, некогда сверкавшие на этом лице, совсем затянуло сетью морщинок, терпеливым покоем.

Я иногда приходил в ее мертвую комнатку и перебирал тяжелые картонные листы ее «боевого», как она говорила, альбома. На старых,

тусклых снимках я видел нежное, пастельное местечковое личико гимназистки, потом она стриженая, горькая, гордая курсисточка, потом властная, суровая, разрушительная, в кожанке и высоких шнурованных «румынках», с маузером в деревянной кобуре.

Как она ораторствовала, удивляя градоначальников, становых, городовых, сколько речей произнесла, сколько протестов, поправок к резолюциям, сколько слов в порядке ведения собрания по мотивам голосования!

А теперь затихла, будто зашили ей рот, замолкла навсегда, как моль. Убедилась ли в тщете слов, испугалась ли, или навеки оглохло, онемело в ней что-то главное, что говорит, возмущается, бунтует и сражается за правду, за честь, за всех.

В ее комнатке было несколько фикусов, с большими, толстыми, лопатообразными листьями, которые она мыла мылом. И в этой захламленной комнатке они казались живыми пришельцами из другого, давно забытого, а некогда существовавшего мира, который был до всего этого — до террора, до комиссарства, до коммунальной Москвы, там, далеко, в тихом зеленом мире палисадников, желтых подсолнухов, утреннего крика петухов.

Утром она поливала фикусы из лейки, и в этой лейке тоже было что-то такое доброе, знакомое, успокаивающее, из того, прошлого мира, где были еще грабли и пила, пахнущая свежими опилками, старые, почерневшие сани и огромный, лежащий посреди двора зернистый мельничный камень, и было солнце, радость, ожидание чего-то прекрасного, счастливого. И кажется, что когда она так ходит вокруг вазонов и поливает их из лейки, она вспоминает все это — свое детство, свою юность, свои мечты и надежды и не слышит крика и гама кухни, одуряющего хрипа радио, уходит все дальше и дальше в воспоминания, смутно таящиеся в генах, в той разумной клетке, из которой произошло это взрывчатое, настырное, в кожанке и высоких «румынках», с маузером и теперь высохшее в такое сухонькое, жалкое, бледное, как росток сельдерея.

Она возвращалась к той жизни, которая была еще до того, как занялась бунтами, платформами, фракциями, фикциями вместе со своим мужем Рафаилом Альбертовичем, который угодил туда, куда все угодили — все подруги, все товарищи по партии, по оппозиции, по алгебре революции. А она неизвестно как и почему осталась на поверхности, то ли забытая, потерянная на дороге где-то между двумя акциями, то ли не сработал какой винтик, какой-то ленивый, нерасторопный разгильдяй заткнул ее карточку не в ту ячейку. Или вовремя Розалия Марковна исчезла, переехала, растворилась, а может, и бежала с этапа и перевоплотилась, утихла в божью коровку, а потом уже было не до нее, потом забирали, умертвляли тех, кто ее искал, и уже никто ее даже не помнил. И осталась Розалия Марковна одна на всем свете, устраненная из политической атмосферы.

Лишь заглянув в эти глубоко врезавшиеся под лоб круглые глазки и встретившись с пронзительными зрачками, можно было уловить искру того давнего, горевшего неумолимым, нестерпимым, бесноватым огнем, а ныне как бы покрытого печальным пеплом равнодушия и усталости.

Лишь в ее суетливой угловатой фигурке, в быстроте и резкости движений, в нервной хриплости голоса еще сохранилось что-то от той старой Розалии Марковны, боевика, террористки; да еще была короткая стрижка и приверженность к мужского покроя курткам.

Рассказывали, что после ареста мужа некоторое время она была фармацевтом, и даже очень хорошим, и могла составить целебные средства из чепухи, но в одну из чисток, тех многочисленных и шумных чисток, ее вычистили как чуждый, неблагонадежный элемент. И она так испугалась, что после, когда прошла кампания чистки, вдруг обнаружила, что позабыла все рецепты, фармакопея ушла, как вода сквозь сито, и остались только обломки, только осколки, какие-то формулы, какие-то отрывочные латинские термины, которые уже никак не составлялись в нечто разумное, целебное.

Постепенно Розалия Марковна научилась вышивать, и шелком вышивала по подушечкам всякие узорчики, и за этим занятием успокоилась, забылась. И теперь весь ее безумный пыл переустройства общества, и перевоспитания, и улучшения человечества путем террора и диктатуры ушел в кроткое, неслышное вышивание цветными нитками мулине по шелку кошечек и кроликов.

Ах, Розалия Марковна, Розалия Марковна! Что с вами? Кто поверит, кто поймет, как это получилось, как это вообще возможно?! Где ваш бунт, ваш дьявольский протест, ваша жертвенность, иудейская настырность и кипучесть, бросавшие гневное праведное слово русскому самодержцу?

Вы бледнеете от одного косого взгляда Свизляка, вы уже прекрасно заранее знаете, что значит этот взгляд бдительности и кто является вслед за ним.

Да, иногда вы еще и сейчас приходите во дворик Музея Революции, в этот зеленый скверик у прекрасного соразмерностью своей фронтона Английского клуба, и собираетесь тихой, незаметной грустной кучкой, все такие же маленькие, усохшие, крошечные старушки в стареньких, еще с цветочками, шляпках, и тихо, чуть ли не немо переговариваетесь, сообщаясь почти телепатией. А жизнь — вот она грохочет, яркая, грубая, сегодняшняя, беспощадная, несется мимо, смеясь, в мохеровых шарфах и замшевых ботинках, проезжает в черных «Волгах», и не хочет, и не желает знать ваши химеры, ваши недоумения. Но еще придет, придет время, день и час, когда жадно прислушаются к вашим воспоминаниям, к вашему раскаянию, к вашей исповеди и задумаются над своей молодой жизнью.

Бонда Давидович

Представитель художественной богемы, длинноволосый старый лабух Бонда Давидович Цулукидзе, чудный человек, игравший со своей музыкальной артелью на похоронах, был кроликом в жизни, тигром на работе. Уже все уходили на службу, уже дети отправились в школу, уже на кухне прошел первый шквал утренних стычек и откипели утренние чайники, отшипели сковородки, и в квартире наступил тот час спокойного солнца, когда все в очередях, и только тогда Бонда Давидович выходил на кухню, с удовольствием умывался, отфыркивался, тряся седой гривой над краном, пофыркивая, визжал в брызгах ледяной воды. На конфорке шкварилась его сковородка, всегда одно и то же, изо дня в день, из года в год, всю жизнь — картошка на маргарине. И, позавтракав, Бонда Давидович стучался ко мне, молитвенно складывая ручки и, кивнув на телефон, говорил:

— Позвольте, одну гамму.

И начинались длительные, энергичные, напористые переговоры с музыкальной командой.

— Ты можешь делать кого-чего,— кричал он в телефон,— подражать кого-то при наличии ударных инструментов?

Он выслушивал ответ.

— Костя-тромбонист? Нет, он много пьет, и у него не хватает дыхания!

Он снова слушал ответ.

— А кто дает темп? Мы или жмурики?

Разговор о жмуриках шел каждый день, и я тоже понимал, что если впереди жмурик — это дороже, если же ведут лабухи, то похороны идут со скоростью 50 километров в час и такса дешевле.

Отговорив, Бонда Давидович иногда сообщал мне:

— Сегодня иду в оперу. Ведь у меня совершенный слух. Какое удовольствие услышать, как сфальшивит флейта! Ведь вы этого не понимаете.

Бонда Давидович не участвовал ни в революциях, ни в бунтах и вообще жил вне времени и пространства. Ему было все равно — была Великая Октябрьская революция или нет, прошли ли нэп, коллективизация, индустриализация и репрессии 1937 года. Даже Отечественная война задела его только крылом: 16 октября сорок первого года он был все-таки взят на земляные рубежи под Нарой. Но 16 октября ушло, и он снова вернулся к кларнету, и жизнь его теперь отличалась от прежней только тем, что за игру на похоронах он получал не деньгами, а сахаром или крупой, или в крайнем случае хлебными или мясными талонами, на которые по знакомству получал красную икру. А похорон было очень много, больше, чем когда-либо за всю его долгую жизнь.

Бонда Давидович никогда не читал газет, разве только если в «Советском искусстве» раз в год напишут о халтуре и встретятся знакомые фамилии. Но и тогда он читал не газету, а вырезку из нее, обтрепанную, и грязную, и гнусную от многочисленных рук и карманов, в которых она побывала. Бонда Давидович ничего не знал и знать не хотел о всяких постановлениях ЦК и Совнаркома, о борьбе идеологий, а в кружке по изучению текущей политики, куда его все-таки загоняли, он из года в год, вот уже двадцать лет, успевал дойти только до выборов в Первую Государственную думу, а что было дальше, не знал. И когда однажды была кампания по вовлечению в партию работников искусств и Бонде Давидовичу тоже предложили написать заявление, он его покорно написал: «Прошу принять меня в Российскую социал-демократическую партию большевиков».

Бонда Давидович был весь погружен в реквием, и вся жизнь, жизнь Москвы казалась ему единым и безостановочным конвейером смертей, великим крестным путем на Ваганьковское, или на Введенское, или в последнее время — на Востряковское кладбище, одинаковым для всех, для министров и инвалидов, исходом, во время которого плакали трубы и раздирали сердца тех, кто даже не знал покойника, и на минуту, на мгновенье, всякому, как бы он ни был груб, счастлив и легкомыслен, напоминали конец всего. А потом были поминки или, если не было поминок — родственнички не тратились на поминки,— то они сами, лабухи, заходили в одну из прикладбищенских забегаловок и выпивали косушку с пивом, закусывая воблой, если она была, или просто с сушками. И вновь светило солнце, и кружил ветер, возвращаясь на круги своя, и все начиналось сначала.

Никто к нему никогда в гости не приходил, и писем он ни от кого не получал. За все время только раз, тотчас же после конца войны, почтальон постучался и принес Бонде Давидовичу удивительный, узкий и длинный твердоглянцевый пакет с чужеземной, с изображением льва, маркой. И Бонда Давидович дрожащими руками принял письмо, пощупал, посмотрел его на свет, даже как будто и понюхал и потом

дня три не выходил из комнаты, ни с кем не говорил по телефону, затих у себя, как будто умер.

Но вскоре его куда-то вызвали, приходил специальный человек, в новой шляпе, с новым желтым портфельчиком.

Свизляк говорил, что Бонда Давидович получил наследство от Ротшильда.

И другие...

В коридоре, за фанерной перегородкой, в темной, без окна каморке, как в пенале, жило и плакало, смеялось и учило уроки по арифметике и географии семейство тети Саши, уборщицы Гастронома, а в праздники, когда в пенале появлялся приходящий муж тети Саши, играли на гармошке, пили вино и самогон, закусывали холодцом из телячьих ножек, отпускаемых мясным отделом Гастронома со скидкой своим сотрудникам.

Мальчики, несмотря на эту свою неустроенную жизнь в пенале, не чувствовали себя ущемленными, и в коридоре, и на лестнице не подлизывались к остальным жильцам, чувствовали себя не только полноправными, а были самыми шумными и дерзкими, никому не давали спуска, и, пока я там жил, ушли в ремесленное, ходили в черных шинелях и больших черных ремесленных картузах, стали вдруг тихие, серьезные и степенные и приходили уже не шалые от драки, а усталые, с темными, в масле, руками. И никто не успел заметить, как они стали токарями и мастерами своего дела, и старший женился и привел в пенал молодую жену, и скоро она тут же, на нарах, неожиданно ночью родила сына, и он закричал, запищал на весь коридор. А младший ушел в армию, и когда приезжал в отпуск офицером, то и тогда ночевал на нарах в пенале.

А уже в самом конце длинного, темного коридора, там, где, казалось, завершается история новейших времен, в закутке под лестницей на чердак, в замкнутом пространстве, проживала одинокая, кривая, надтреснутая старуха с желтовато-седыми волосами — смотрительница туалета со Столешникова переулка. Как шлейф, тянулся за ней аромат ее заведения, и после нее, казалось, пахнут стены, книги, и было жутко. Она приходила со своей работы поздней ночью, когда глох шум города, и даже от ее следов несло аммиаком. И она одна на кухне, долго, чуть не до рассвета, варила себе суп из рыбных костей, и этот тошнотворный чад проникал сквозь щели, замочные скважины, и люди просыпались, а кто не просыпался, тому снились кошмары.

У всех на кухне были отдельные столики, у одних побольше, у других поменьше, и они стояли впритык, так что когда хозяйки рубили мясо или шинковали капусту, то осколки летели на соседние столики. Только у одной этой старухи не было столика, а была только полочка на стене у самых дверей, и, стоя у этой полочки, она тихо делала свое дело. И сковородка, и кастрюлька, и тазик старухи не были спрятаны, как у других, в шкафчик под большим замком, потому что никакого шкафчика у нее не было, а висели тут же, над полочкой, всегда тщательно вымытые, выскобленные и даже сияющие. Но все остальные соседки отворачивались от них и старались подальше отставить свою посуду.

И когда она заболела и долго лежала одна в конуре, неизвестно чем питаясь, однажды пришла целая делегация с перевязанной цвет-

ной ленточкой картонкой торта — какой-то там предместкома этих туалетных учреждений и две женщины, одна такая же точно старуха, копия нашей, а другая совсем молоденькая, в завитых кудряшках, и долго стучались в крохотную дверцу. И странно было слышать обращение предместкома: «Товарищ Сорока! Это к вам от коллектива, товарищ Сорока».

А в ответ — захлебывающийся и куда-то далеко, на тот свет закатившийся кашель и затем хрипло не то проклятье, не то мольба о прощении, не то просьба какая-то к ведомству.

— Товарищ Кухтенкова,— обратился предместкома к пришедшей с ним старухе,— что-то я не понимаю, что она просит.

— Она не просит, она умирает,— спокойно отвечала старуха.

— Тогда надо принимать меры! — крикнул он.

— Какие меры? — так же спокойно, устало отвечала старуха.

А молоденькая заплакала, и кудряшки ее затряслись.

Но старуха Сорока вдруг появилась в дверях, взяла сувенир и снова закрылась у себя.

Еще на первом этаже, прямо подо мной, жила старая отставная актриса, бывшая опереточная дива.

Ночью, всегда только ночью, в самые глухие часы, слышно было, как она поет, репетирует легкомысленные арии надтреснутым дрожащим голосом, и хотелось плакать.

В ночной глухой, обморочной тишине это пение распространялось, как вода,— тонкое, жалкое, с повторными руладами, с натужным взвизгиванием, с лающими срывами.

К чему она готовилась? Зачем? Или в ночном этом мираже к ней приходила ее молодость, ее работа, ее любовь?

Однажды у меня испортился телефон, и я отправился к ней, чтобы позвонить в бюро повреждений.

Дверь открыл мне мальчик, и почему-то он был в каракулевой шапке пирожком и шубе с шалью.

Я сказал:

— Мальчик, можно позвонить?

И он писклявым, капризным голосом обиделся:

— Я не мальчик.

— Простите,— сказал я и разглядел старого лилипута.

— Ничего,— огрызнулся он.

Лилипут с желтым, сморщенным в сушеный финик лицом, несмотря на свой лимитный рост, не понимаю, как это ему удавалось, взглянул на меня как бы сверху вниз, невнимательно и высокомерно.

— Только поскорее, мне некогда.

На стене над аппаратом висел список телефонов:

«Склифосовский».

«Психиатрическая Кащенко».

«Медпиявка».

«Пожар».

«Главрепертком».

«Дулев».

Кто был этот Дулев? Зачем попал он в список срочнейших телефонов? Когда к нему обращались, и чем он мог помочь?

Пока я набирал бюро повреждений и объяснялся, лилипут стоял в сторонке, в углу, в своей шапке пирожком и шубе с шалью, и глядел на меня взглядом презирающим и не признающим моего существования.

Да, лилипут Петр Петрович вскоре умер от инфаркта.

У дверей квартиры стоял гробик, как на младенца.

И было тихо.

Когда умирают люди, пусть это даже лилипут, и в коммунальной квартире на миг все задумываются о тщете, суете жизни, и бывают очень хорошими и чистыми. В этот день на нашей кухне говорили вежливо и грустно.

Овидий

Остается только представить дворника Овидия, кривоногого мужчину с каторжно бритой головой и бельмом на глазу.

Круглое, маслянистое, хитрое лицо его еще издали издавало запах жульничества, и чем ближе он подходил, тем сильнее охватывало вас беспокойство. А когда он стоял рядом, то казалось, все ваши карманы открыты и беззащитны. Но если он входил в комнату, то уже замки и ключи не имели никакого значения, вяли и обессиливались, а он каким-то тринадцатым чувством видел, и понимал, и ощущал деньги, или облигации, или драгоценности, где бы они ни были — в шкатулках, в двойном дне, зашитые за подкладку или даже в тайничке, залитые бетоном.

От бельма величиной с горошину глаз был какой-то козлиный, нелепый, и непонятно было, видит он или нет. Но когда Овидий стоял у ворот, мирно и невинно пропуская мимо себя и глядя на вас, то бельмо это беспокоило больше всего, казалось, он видит и зловеще запоминает именно этим бельмом. И оно беспощадно в своей слепоте.

И звали-то его странным именем, неизвестно как залетевшим в русскую или татарскую деревню (некоторые говорили, что он казанский татарин). Или, может, в младенчестве, при крещении, когда опускали в купель, его нарекли совсем не так, а он сам переиначил по капризу, по случаю или по необходимости? Или это была его кличка в том мире, в той компании, в которой он жил, пока не появился у нас во дворе? Никто точно этого не знал, да, собственно, и не думали об этом.

Овидий так Овидий, так и звали его жильцы, так окликали его соседние дворники, и бестии, и прощелыги ближайшей закусочной-пивной, так он был записан в домовой книге, и так величал его сам участковый уполномоченный, товарищ Веригин, не задумываясь над генезисом этого странного для московского дворника имени, над генеалогией одного из своих помощников и самых рьяных осведомителей, у которого днем и ночью можно было узнать все, что касается населения этого дома, их родственников и знакомых.

Овидий не только убирал тротуары зимой от снега, летом от сора, поливая их из шланга, не только ходил с домовой книгой под мышкой, разносил жировки и всякие повестки на субботники и воскресники, не только знал, кто женится, а кто, наоборот, разводится и даже почему, но осведомлен был, кто какие курит папиросы и какое пьет вино, предпочитает ли «московскую», или портвейн, или спирт в пузырьке, которым снабжает знакомый фармацевт, и чем занимается в свободное от службы время, играет ли в карты на деньги, по мелкой или по крупной, или просто так, в подкидного, или балуется шашками, как приготовишка, и, главное, кто какие делал высказывания. На самом ли деле это было, или Овидий сам все придумывал для фасона, для карьеры, так как получал тридцать рублей дополнительно «за наблюдение и подозрение»? Нет, не в этих

тридцати рублях было дело. За тридцатку он лишний раз не натянул бы и валенки, чтобы выйти посмотреть во двор, что, и где, и как.

Все дело было в должности, за которую полагалась тридцатка, в должности, которая давала ему положение, власть, зависимость от него людей и такие проценты, такие довески к этой тридцатке, которые не снились ни одному ростовщику. И еще главное: безнаказанность.

У Овидия были свои собственные фирменные дела. Сначала, тотчас же после войны, в холодные зимы он приторговывал дровишками, таскал вязаночки сухих досочек, которые горели жарким огнем, а потом, когда стали рушить печки-буржуйки и обстраиваться, ремонтировать, он мог достать олифы и цинковых белил, или оконные стекла, или гвозди. Можно было у него раздобыть и связку воблы, и белые тыквенные семечки, которые привозили ему мешками из деревни. А потом появились и новые товары. Впервые безразмерные носки я увидел и купил именно у Овидия.

Говорят, Овидий даже ссужал деньги под обеспечение — обручальное кольцо, часы или самовар, и за такие проценты, что они быстро перегоняли ссуду, и человек давно расплатился с долгом, а проценты все висели на нем, и часы, или обручальное кольцо, или самовар до поры до времени хранились или насовсем исчезали в каморке Овидия.

В этой каморке, раньше кладовой, не было окна, но Овидий прорубил и застеклил маленькое окошко, как бы в бюро пропусков, и скорее всего не для света — он прекрасно обходился и электрической лампочкой, присоединенной к чужому счетчику,— а скорее для наблюдения. И если Овидий не ходил по двору с метлой и совком, что случалось вообще ужасно как редко, или не торчал с приятелем у ворот, играя в железку, то глядел в это окошко, даже питаясь, с ложкой в руке, даже читая газетку. Во всяком случае, редко кто проходил мимо этого окошка, чтобы не видеть торчащего в нем Овидия, а так как прямо у входа горел яркий дворовый фонарь, то и зимним вечером, и ночью все проходящие были как на экране кино.

Если же Овидия не было ни в окошке, ни во дворе, то его можно было найти в пивнухе, где он чистил воблу или ел раков, запивая пенистым пивом, которым угощали его или жильцы дома, которым что-то от него надо было, или жильцы совсем другого дома или даже другого района, которые намеревались прописаться в этом доме, или просто какой-то неизвестный гражданин или подросток, который тоже не зря тратил свои трешки на пиво и раков для Овидия.

Овидий все знал и все видел, и хорошо, что он все это знал устно и память его была забита бесчисленным множеством других дел и делишек. Я с ужасом думаю, что было бы, если бы у него была привычка к перу и бумаге. Но слава Создателю, он дает человеку не все сразу. У Овидия было такое отвращение к перу и писанине, что если даже надо было только обмакнуть ручку в чернильницу и расписаться, он бледнел, как перед бомбежкой, и трясущейся рукой царапал что-то невообразимое, и в одной своей собственной фамилии делал столько ошибок и своевольных перестановок букв, что даже участковый Веригин, тоже не профессор чистописания и не филолог, морщился и отворачивался, и махал рукой. А Овидий, натрудившись над изображением своей фамилии, прислонял к чернильнице ручку осторожно, словно чудом не разорвавшуюся в его руках гранату.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Бесконечный день

Это было время коммерческих ресторанов, Сталинских премий, лакировочных романов-близнецов, судов чести, которые в историю вошли как суды бесчестья, когда бездарность была синонимом благонадежности, бессилие крушило силу, и вперед вырывались самые низменные, самые бесчестные, самые коварные, на престол поднимались мхи, и зима царила в стране моей.

Те смутные, темные, ледяные дни страха, мертвые дни моей жизни, в расцвете моих молодых сил, в тридцатипятилетнем возрасте.

В том году было много достижений и в сельском хозяйстве, и в общественном питании, и в соцреализме, и в борьбе с вейсманизмом-морганизмом, и в борьбе с космополитизмом и хвостизмом, и в национальной политике.

И шли собрания, долгие, бурные ночные запутанные собрания, когда никто точно не знал, в чем дело, чего от него хотят и что он должен делать, думать и говорить, и как голосовать, господи, боже мой!

И никто еще не предполагал и во сне не видал, во что это выльется и чем это может и должно неминуемо кончиться.

Ничего не произошло. Не было мора, нашествия крыс или саранчи, никто не умер от страшной, неизвестной, загадочной болезни, не было ни пожара, ни землетрясения, ни наводнения ни в этом городе, ни в каком другом, ни во всем государстве.

И все-таки вдруг, среди ясного, светлого, безмятежного дня прошла эта сумасшедшая искра и пробила все души, все учреждения, все редакции, все министерства, артели, школы, детские сады, и все сразу наэлектризовалось, и стало душно и страшно, и требовало жертв, постоянного жертвоприношения, ненасытного жертвоприношения.

Психозы подозрительности сменялись временами относительного затишья и даже какого-то ублюдочного милосердия, прощения, и обычно в самый шторм, на девятой волне, начиналась новая кампания исправления ошибок и перегибов. Всходило солнце, люди вдруг полутрезвыми глазами оглядывали друг друга, стыдясь недавно сказанных слов, содрогаясь от того, что позволили сделать при их молчании, и чувствовали себя людьми, даже те, у которых страх выел душу, заполнил ее всю, подмял под себя и занял место, где от рождения были гордость, самолюбие, честь, вера, совесть. Но даже в эти Большие перемены, как в затишье перед грозой, уже чувствовалось приближение нового, еще более отчаянного, грубого, слепого и беспощадного приступа подозрительности, когда, как от камня, брошенного в воду, все шире и шире расходились круги, захватывая в водоворот, засасывая в смертельную воронку все больше и больше людей невиновных ни слухом, ни духом, никогда не обмолвившихся ни одним словом ни наяву, ни во сне.

Это было, как смена времен года, как годовые кольца на срезе дерева, как циклы шизофрении, и к этому начинали привыкать. Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые. И все время нагнетали атмосферу виновности, всеобщей и каждого в отдельности вино-

ватости, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым, и виноватым, и виноватым, и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры.

И постепенно это ощущение постоянной, неисчерпаемой, исступленной виноватости и страх перед чем-то высшим стал вторым я, натурой, характером. Проснувшись, ты уже чувствовал себя виноватым в чем-то, чего ты еще не знал и не ведал.

Кто-то не выполнил плана, где-то случился недород, пропажа зерна, крушение, обвал, гнойник, двурушничество... Читая об этом, ты чувствовал, будто это ты просмотрел, проглядел, прозевал, допустил и тоже лил воду на мельницу. И был под постоянным напряжением, в постоянной бдительности, в постоянной готовности искупить эту виноватость, заслужить доверие. Но доверия, ни полного, ни неполного, все равно никогда не было и не могло быть, и никогда ты не чувствовал себя в порядке, в безопасном благополучии, всегда в любую минуту, днем и ночью, с тобой могла приключиться самая большая, страшная и уже непоправимая, необратимая беда. И ты жил, вздрагивая при каждом косом взгляде, ожидая напасти при каждом повороте, зигзаге, слухе.

Никто не знает, зачем это, все втянуты в эту атмосферу, задыхаются в ее ужасной предгрозовой духоте и думают, что так надо, и всегда есть несколько быстро и ловко акклиматизировавшихся, быстрее всех вырвавшихся вперед и наверх, которым это именно и надо, и выгодно, и они уже научились извлекать из этого пользу, первыми откликаться, первыми кричать: «Позор!» — и они уже барабанщики, горнисты, пенкосниматели.

Завтра или послезавтра, при очередной кампании, при новом пожаре, вздергивать будут их, но они еще этого не знают и не хотят знать, и не предчувствуют, и не думают, и не хотят об этом думать, и сегодня изо всех сил стараются потуже, поаккуратнее, попринципиальнее затянуть петлю на других.

Каждый раз, внезапно, как цунами, появлялось какое-то соображение, например, трактовка образа Кутузова в «Войне и мире» или приоритет русской науки, или вопросы языкознания, или что-то еще другое. Почему именно сейчас, в марте или августе, и именно в этом году, и именно в этот день появлялись эти соображения? Чем это объяснялось — экономикой, международной ситуацией, пятнами на солнце, страшным сном или призраком только одного человека?

И не было недостатка в академиках-холуях, в подставных академиках, избранных в разное время согласно должности, профессорах и доцентах и кандидатах наук, которые раздували кадило, курили фимиам, как клопы сосали Гегеля и Плеханова, Аристотеля и Карла Каутского, и комментировали каждое слово Его, каждую запятую, и если она поставлена была неправильно, случайно, то даже в ошибке этой находили скрытый гениальный смысл. И все это тотчас становилось не только великим открытием, русским приоритетом, но и государственным законом, и статьей Уголовного кодекса.

И какое бы это отдаленное отношение ни имело к событиям жизни текущего дня, к интересам и заботам государства и его жителей, к их кровным интересам жизни, семейства, любви, квартирной тесноты, воспитания детей, это немедленно становилось самым главным и значительным, и решающим событием государства, затмевающим все дела и события, заглушая и отодвигая на десятый план вопросы хлеба, школы, семьи, заполняя страницы газет и журналов, научных трактатов и диссертаций, тех пылящихся в книгохранилищах диссертаций в красивых твердых папках с золотым тиснением,

которые кандидаты списывали друг у друга вместе со всеми цитатами, ошибками и искажениями.

Это прорабатывалось на всех собраниях, заседаниях, кафедрах, сессиях, и инакомыслящие, а иногда и верномыслящие, шли прямо из аудиторий, лабораторий на пересылку, в этап, в края дальние и ужасные, в Магадан, в Воркуту, а жены в ссылку, а дети в приюты. Разорялись и предавались анафеме целые научные школы, изымались навеки из библиотек и по списку сжигались книги и научные трактаты за целые столетия, рукописи исчезали в архивах, сжигались по актам, и никто и никогда их уже не мог найти. Научные споры начинались в академических аудиториях, с холуями и приживалами, продолжались со следователем, а заканчивались с вертухаями в лагерях.

Я все узнал на собственной шкуре, я сам сидел на тех собраниях, высиживал их от начала до конца, и все слушал, впитывал в себя, обмирая от страха, что сейчас назовут и мою фамилию, и когда рассуждал в кулуарах, с удивлением слышал свой вязкий голос, словно это говорил сидящий во мне карлик. Но никому не было дела до меня, пока я никому не мешал, ни у кого не стоял на дороге, не был бревном, даже соринкой в глазу, и обо мне те, что выступали, те паны, что дрались так, что чубы трещали, забыли. На меня пока выпала индульгенция, пока я еще лежал не в простреливаемом пространстве.

Но в тот зимний день все проценты моей годности иссякли, и я не в силах был набрать их вновь.

Глава первая

День начался странно, дико.

Разбудил меня телефонный звонок, и высокий, взвинченный, обессиленный женский голос спросил:

— Это дом малютки? Как самочувствие ребенка Клюмель?..

Тусклый, как бы фиолетовый свет процеживался сквозь замерзшее окно. Наледь снежная была в палец толщиной.

Крашенные некогда масляной краской, склизкие, сырые стены опушены инеем. Вода в стакане на столе замерзла, и купленная накануне веточка мимозы, слабенькая, пушистая, тоже замерзла и, словно подрумяненная, сникла.

Отчего так прелестны эти легкие светло-желтые веточки? Отчего вызывают такую нежность, такую жалость, радость?

Да, они из будущего года, они первые из той весны, которая еще только грядет, пробивается и несет нам новую веру, бесконечную и неиссякаемую, что вдруг снова будет молодость, будет то великолепное, несказанное, несбывшееся, пророчески обещанное нам еще в младенчестве.

Не успел я задремать, снова телефонный звонок и измученный плачущий голос:

— Я стояла в очереди целых два часа, пришла домой, разворачиваю, а мне дали одни кости.

Сил не было объяснять, что к чему, да и видно было, что она не поверит, и я устало сказал:

— Хорошо, приходите, обменяем.

— Вы прикажете, да, вы прикажете? — кричала женщина в телефон.— Я с ночи стояла.

— Прикажу,— сказал я.

И как бы донесся до меня, ясно проник в комнату этот предрас-

светный, осторожный, таящийся шелест создающейся в подворотне очереди, словно не за бараньими ножками, а за кокаином: чернильным карандашом номера на ладони, на каменной, морщинистой, и на розовой, младенчески нежной, где еще даже не проступили, не обозначились роковые линии судьбы. И жужжание тугой, как пружина очереди, еще в темноте подворотни уцепившихся друг за друга людей, как звенья цепи, самой отчаянной, нерасторжимой на свете цепи продовольственной очереди, и вот так, уцепившись друг за друга, вышедшей на шумный свет улицы и уже официально, во главе с церемониальным сержантом, шествующей словно в замедленной съемке; змеится, течет вдоль стены этот перепутавшийся клубок, суздальские обличья, серые, серые ватники, туаль-де-нор, огромные кирзовые бабьи сапоги, вперехлест авоськи, клеенчатые, дерматиновые сумки. Как будто в комнату ворвался галдеж, пот, суматоха и бушевание мук всех очередей, толпящихся в этой утренней мгле за рыбой, за квасом, за штанами.

Я поглядел в окно. В сером безжизненном сумраке зимнего рассвета быстро, почти бегом, шли по тротуарам темные фигуры, и у всех были хозяйственные сумки, некоторые несли на руках спящих детей или волочили их за собой, закутанных в пальтишки, в пуховые платки, обутых в валенки, и в эту рань некоторые хныкали, а другие молчали равнодушно, и это было еще страшнее.

Одинокие черные фигурки перебегали еще пустынную улицу, издали освещенные приближающимися фарами, и вот он вынырнул из темноты — огромный крытый фургон с белой от свежего снега крышей; где-то за городом, где скотобойни и склады, шел снег, пролетел, исчез. И перебегали новые фигурки, и снова приближались фары, теперь уже их было сразу несколько, а потом вдруг словно прорвалась плотина, они пришли огненным стадом, нетерпеливым, грохочущим, заполнившим всю улицу, и свет фар беспокойно пробегал по потолку темной комнаты, как волны бесконечной реки.

Словно сквозь сон бубнило радио что-то о ветвистой пшенице, о ветвистой пшенице, которая так никогда и не вырастет, потом захрипело, захлебнулось, и вдруг сразу со всех сторон, во всех комнатах заиграло и заговорило бодряцким голосом: «Раз-два! Раз-два!» Будто там, откуда оно вещало, было вечное солнце, райские кущи.

Но что-то было наигранное, напрасное, быстро умирающее в этом голосе затейника, приказывающего во всех комнатах младенцам, и старушкам, и сумасшедшим: «Раз-два! Раз-два!» Что-то бесконечно неуверенное, что вы его послушаетесь и мигом станете идиотски веселым.

Снова резко и сильно зазвонил телефон, и легкомысленный голос сказал:

— Откройте форточку, приготовьтесь к физзарядке, расставьте ноги, глубже вдохните.

— Кто говорит? — спросил я сонно, глупо, хрипло.

— Ваш доброжелатель, который хочет, чтобы вы исправили фигуру, чтобы у вас были плечи крутые, с шишечками по бокам...

И вдруг прервали, и ясный, грубый, из другой оперы голос сообщил:

— Докладывает 1556.

Я, словно обжегся, бросил трубку.

Что-то было в этих звонках зловеще-нелепое и напоминало слышанный в подмосковном санатории рассказ старого большевика, как брали его когда-то в 1937 году. Все началось со звонков: «Это у вас глухонемой ребенок?», «Тетя Лютя приехала?..».

Через несколько дней его взяли уже повторно, ночью, прямо из палаты санатория, за день до выписки. Пришла сестра-хозяйка, тихонько, на цыпочках, и разбудила его, он оделся, и все проснулись и видели в окно, как он вышел, и за ним два человека в штатских пальто и ушанках, все сели в «Победу». Машина развернулась, и они уехали по аллее, мимо заснеженных деревьев, навсегда.

Густая серая тоска сочилась беспрерывно и во сне заполняла всего. Опять снились суматошные, нелепые сны, и все время дрожал и путался в душе страх, то со стрельбой и гранатами я пробивался по улицам, забитым немецкими мотоциклистами на тяжелых зеленых машинах, то вдруг неожиданно останавливал участковый в новой фуражке, молча глядя прямо в глаза, то продирался сквозь душные с запахом войлока и паутины чердачные потемки, и было трудно дышать, и я проснулся, чтобы открыть форточку, но в комнате было холодно, морозно.

Дома на противоположной стороне улицы всплывали, как клякса на промокашке, и вся жизнь казалась тоскливым негативом.

И думалось, сколько же сил надо иметь, чтобы опять встать и начать все сначала.

И еще муторно было от саднящего чувства беды. Сквозь непрошедший сон сразу не вспоминалось, что такое плохое случилось накануне. Но когда совсем очнулся, понял: «А, звонки!». Страшила меня неизвестность, в которой я жил все последнее время, неясное сознание вины несовершенной.

Фитиль коптилки плавал в подсолнечном масле в коробочке из-под ваксы; электричество после двенадцати ночи из-за пережога лимита выключала комиссия содействия домоуправлению.

Я зажег коптилку и будто впервые увидел свою комнату, закопченный, в саже, потолок, сиротливо свисавшую на длинном шнуре стосвечовую голую лампочку, выцветшие газеты на столе вместо скатерти, сковородку и жестяной чайник, пальто и шинель на гвоздях, будто кто-то стоял у стены и ждал меня.

Как и все, я не выбирал этого жилья, не пришел сюда потому, что мне нравится эта улица, ее тишина, ее зелень и спокойствие. Это была самая шумная, грохочущая, жадная улица, напоминающая аэродинамическую трубу, где проверяют моторы самолетов, от гула которых некуда деться, а в этой трубе и спишь, и ешь постную картошку, читаешь газеты и романы, ссоришься и целуешься, и болеешь гриппом, и тоскуешь... Я думаю, я склонен думать, что из всех миллионов комнат старой Москвы от Филей до Абельмановской заставы не было более несуразной, дикой и неудобной, похожей на каменный карман, с узким окошком на самую шумную в городе площадь, как раз у поворота транспорта, так что все шедшие по Садовой машины, если им нужно было повернуть на Арбат, именно здесь с рычанием и воем разворачивались.

А ночью, когда немного стихал грохот беспрерывного потока, и только одинокие машины шли с воем «скорой помощи», под самое окно к водопроводной колонке приезжали на водопой со всего района эти огромные, неуклюжие поливальные цистерны, выстраивались в очередь с невыключенными моторами, и фыркали, и сифонили, ревела в шлангах вода, и пока машины заправлялись, шоферы и дворники беседовали о несправедливости, о злобе начальников, о цене на гречневую крупу на черном рынке, о своих зазнобах, о закуске. А под 1 Мая и 7 Ноября именно здесь сводный военный духовой оркестр МВО репетировал «Священную войну», ревели трубы, гудели барабаны, и стекла дрожали и вибрировали.

Дикий слепой случай, как и во всем в жизни, решил и жилищный вопрос.

В холодную военную весну я пришел сюда с разрешением на временную прописку, я был в летнем комбинезоне, в папахе с красной ленточкой и со старым пистолетом ТТ в самодельной кобуре, сработанной партизанскими кожевенниками в лагере под Бобруйском.

Управдомша встретила меня со строгостью особиста.

Это была женщина с торсом Венеры и лицом новобранца, в ватнике и кирзовых сапогах, с рыжим перманентом и накрашенными губами, полудиверсант-полулоретка.

Она трижды перечитала бумажку, заглянула на обратную сторону, потом посмотрела на меня и сказала:

— Значит так, фуксом хотите?

Я смолчал.

Она ведь видела водяные знаки этой бумажки.

Дело в том, что некий старый холостяк, бывший фининспектор, выгодно женившись на отдельной квартире и все равно терявший площадь, согласился уступить мне свою старую нежилую комнату, оставив один на один с соседями, давно зарившимися на эту площадь, с дворником, который тоже целился на нее, с домоуправшей-взяточницей, с Моссоветом, с милицией, с паспортным столом, со всеми законами и указами и с самим Верховным Советом. И всякими правдами и неправдами, многочисленными отношениями, ходатайствами, телефонными звонками сверху вниз и снизу вверх, облепленный заявлениями, доносами, судебными постановлениями, я постепенно переделывал прописку временную на постоянную.

Но это уже было после.

А тогда, замерзший, почти ледяной, заматерелый дом встретил нас молчанием. Мы шли длинным пустым коридором, кто-то за дверьми в комнатах возился. Оказалось, это шуршали мыши.

Наконец появилось что-то высокое, тощее, несчастное, в мохнатом халате и в пуховом платке крест-накрест, в чувяках с загнутыми носками, что-то похожее на помесь Дон-Кихота и Обломова. Оно поглядело на нас и неожиданным фальцетом резко сказало:

— А почему, позвольте осведомиться, не работает ватерклозет?

Я развел руками, управдомша рассмеялась.

— Товарищ Цулукидзе, и не стыдно вам во время войны приставать с такими мелочами?

— Позвольте, позвольте,— сказала помесь Дон-Кихота с Обломовым,— но при чем тут война?

— А при том, что не отпущены средства́,— уже вскричала управдомша.

— Но ватерклозет.— Он приложил руки к груди.

— Нечего лить воду на мельницу,— оборвала управдомша,— пойдемте, товарищ фронтовик.— И она двинулась вперед в своих кирзовых сапогах, словно это она только что вернулась из немецкого тыла.

— Живут тут всякие,— сказала управдомша.— Я бы их вообще выселила из столицы. Какая от них польза!

Мы прошли в пустую кухню с огромной, как волейбольная площадка, плитой. Домоуправша открыла плечом дверь в крохотный, темный затхлый коридор, потом еще одну дверь, как в стенной шкаф. И мы вошли в узкую, вытянутую кишкой комнату, серую, потерянную, с каменным холодом и плесенью всех военных зим.

В комнате стояла никелированная семейная кровать с пробитым матрацем и выскочившими пружинами, некрашеный самодельный топорный посудный шкафчик с щербатыми, набитыми пылью чашками, кривая этажерка со старыми книгами и брошюрами по налоговым вопросам и с пауками, которые неизвестно чем живы были в этой мертвой, оплаканной комнате.

У меня было ощущение, будто я вошел в ледяной морг, где лежал труп времени — того, прожитого, мне незнакомого и чуждого и навсегда ушедшего времени, у которого, однако, были свои юность и молодость, свое счастье, прекрасные солнечные утра и тихие вечера, и ночи, и боль, и расставанья, и неутихающая вера в бессмертие.

И я почувствовал это время — с его мышами, с его тенями, тоской и необратимостью. Не пыль, а прах лежали на всем, толстый слой серого, ужасного праха истлевших бумаг, вещей, летних сумеречных бабочек, может быть, ногтей и эпидермы живших тут некогда людей.

Чужие каменные стены, говорящие о неизвестных жизнях, прожитых в них. А моя только начинается в этих замерзших, отсыревших каменных стенах, в этот жуткий, ледяной военный день, на пустой узкой улице, где нет машин и нет почти пешеходов-мужчин, под вой сирены воздушной тревоги, под шепчущее радио, не выключенное с тех пор, как еще до войны ушел хозяин. Страшно себе представить, что все эти годы, каждый день, с самого раннего утра в пустой комнате начинало говорить радио, передавало сводку Информбюро, и пело частушки, и играло фуги Баха, и бренчало балалайками Осипова, и ревело сиренами воздушной тревоги, и бабахало салютами во славу орловских, харьковских, гомельских дивизий, и каждое утро, и в полночь, наговорившись, нахрипевшись, играло курантами.

Была оттепель, трамвай, трезвоня и разбрызгивая лужи снеговой воды, высекая искры из рельсов, летел вниз с Плющихи к Бородинскому мосту. У Киевского вокзала с передней площадки неожиданно вошел инвалид в ватнике и почерневшей от времени солдатской цигейковой шапке, с вырезанной из жести звездочкой, стал в дверях, упрямо оглядел пассажиров и, сняв шапку, вдруг истерически запел:

Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...

Дальше я не слышал, трамвай, уняв ход, медленно заскрежетал на закруглении у Киевского рынка, и я на ходу прыгнул, направляясь к рядам, где стояли пригородные бабы и старики с вязанками колотых дров и щепок.

Я выменял буханку полученного по аттестату окаменевшего и уже заплесневелого хлеба на вязанку дров и пешком, с вязанкой на спине, переулками направился в свой новый дом, все усмехаясь: «Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...»

Каждое утро я теперь просыпался в тоске и отчаянии пропащей, зря проходящей жизни, когда все повторяется и повторяется и кажется давно исчерпанным.

И тогда наступало странное, совсем потустороннее ощущение несуществования.

Я посмотрел в окно, там стоял снежный тополь, и на какую-то секунду, на волшебный миг пролетело и коснулось и вольно дохнуло на меня давнее, праздничное детское чувство зимнего рассвета, снежного чуда, чистого белого праздника.

Наверно, и это утро было для кого-то чудесным, спокойным, единственным, может быть, самым прекрасным в жизни, и даже это сумрачное, ржавое небо казалось счастьем.

Но не мог я себе этого представить, и мне казалось, что всему миру сейчас темно и худо. И этот слепой, мертворожденный день не может никому принести ничего хорошего.

И было еще ясное и резкое утреннее понимание, что опять все повторится, и ни сегодня, ни завтра и никогда ничто не изменится, несмотря на все ожидания и вечную глупую и не остывающую надежду и иллюзии. И незачем жить.

Но жить надо было.

Я обратился к этажерке.

На запыленных полках Толстой в дешевом огоньковском издании, однотомники Лермонтова и Гоголя, тощие томики Бабеля и Андрея Платонова. Были еще там Бунин и Ходасевич, привезенные с Маньчжурской кампании, из Харбина, Хемингуэй, взятый и не отданный библиотеке и еще дневник Жюля Ренара, таким же образом изъятый из библиотечного фонда. Отдельно стояли книги, которые я читал изо дня в день, не уставая перечитывать, с утра настраиваясь, как на камертон. Это был «Голод» и «Пан» Гамсуна, сказки Андерсена и избранный том Чехова — «Дом с мезонином», «Ариадна», «В овраге», и в последнее время к ним еще прибавилась «Жизнь Арсеньева». Они были не только камертоном, они были как воздух, как надежда, как смысл жизни, они были примером того, что что-то можно сделать, если хотеть, и для этого стоило жить.

И, наконец, на нижней полке — синие тома Сталина, тонкие в белой обложке массовые брошюры Политиздата с докладами Молотова, Маленкова, Кагановича для семинара партпросвещения. Серые эти брошюрки были проработаны, проштудированы, строки подчеркнуты красным и синим карандашом, и цитаты переписаны в конспекты.

Я взял томик Гамсуна — «Пан».

«Я сижу здесь, в горах, а море и воздух гудят...

Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу,— в лесу!.. За зеленую листву и за желтую листву!»

Ритм, свободный, раскованный, зазвучал в моих ушах.

И я вспомнил свои горы.

Мертвая замерзшая Мугань с окаменевшими от арб колеями и окаменевшими следами ночью пробежавшего сагайдака — глубокими и легкими, и со следами верблюда, его вялого корабельного шага, следами, в которых замерз легкий, панцирный, сам по себе трескающийся, как фарфоровые блюдца, зеленый ледок; еле различимые следы зайца. А на горизонте — лиловые горы.

Старенький «форд» на высоких колесах, с поднятым брезентовым верхом, с кипящим, как чайник, радиатором, пыхтя, плюясь дымом, как горный козел перепрыгивая с бугра на бугор, вылетел в закрытую с трех сторон горами долину и покатился по старинной, обсаженной шелковицами аллее, мимо селений с глинобитными домиками, мимо ореховых и абрикосовых рощ.

Жизнь, казалось, остановилась тут много веков или тысячелетий назад. Навстречу медленно двигались огромные, черные, сильные буйволы. Они шли с таким усилием, словно тащили за собой эти горы. Их погонял молодой парень, покрикивая: «Йиок, йиок!»

Увидев машину, он остановил волов, и они тяжело стояли, опустив головы,— могучие, черные, крутолобые, исподлобья глядя на нас, и пена падала с их пепельных губ.

В долине было сухо, солнечно, догорали алым огнем виноградники, лозы устало склонялись к земле, ручьем текли желтые сухие

листья чинар, низко стлался дым костров. А в горах лес уже стоял темный, каменный. И чем выше, тем суровее становилась природа. Теперь мы видели только сухой, будто вырубленный из скалы карагач, а еще выше уже и леса не было, вокруг поднимались бурые вершины с красными жилами железняка, и заброшенные сакли горных селений, и за ними закатное солнце. Ни единого цветка, ни единой травинки не видно было на ребрах гор, застывших в своем железном одиночестве, в своей первобытной, первозданной дикости, под пустынным небом.

Одинокие удары молотка отдавались в горах пулеметным эхом, стучал и стучал молоток, откалывая тяжелые красно-бурые куски железной руды, которые я подбирал и прятал в рюкзак.

В далеком том городке, где растут маргаритки и настурции, я никогда не задумывался над тем, откуда берется железо.

А потом выпал первый снег, в белое покрасил горы. В этом холодном туманном рассвете, на фоне гор, серо проступали бедные сакли, из труб которых валил сладкий кизячный дым; блеяли овцы и скучно лаяли собаки, выходили старики и старухи, тащили горшки, корыта, выбегали дети и прыгали через ручей, пахло свежим, только испеченным хлебом и козьим молоком, на дороге мерещились туманные фигуры, слышался скрип дальней арбы. Как было непохоже и одновременно похоже всеми звуками, всеми запахами, всем тем человеческим, домашним, семейным это далекое чужое горное утро на то, которое я знал и любил там, в той земле, где нет никаких гор. Как стеснилось, сжалось сердце, и вспомнилась мать, родной дом, сестры.

В тишине и покое белого утра слышны были глухие удары со стороны гор. Старик прикладывал к глазам ладонь, всматриваясь вдаль, чтобы понять, что там происходит — будто конь святого Али тяжело скакал по горам.

Я прохожу мимо старика, он смотрит на меня внимательно и отчужденно.

— Доброе утро! — говорю я и кланяюсь. Старик не шевелится, он величественно молчит, разглядывая меня.

— Доброе утро, дед,— говорю я, думая, что он не расслышал меня.

— Сулейман! — кричит он. Из сакли выбегает тонкий, смуглый, кудрявый мальчик.— Сулейман! — он пальцем показывает на меня, и мальчик бойко по-русски спрашивает меня: — Что надо?

Вдали прогрохотал то ли гром, то ли взрыв.

Старик прислушался и печально, недоуменно покачал головой. И казалось ему, что пришел конец света. И разверзнется земля, и исчезнут в ней горы вместе с саклями, с овцами, с кизячным дымом, со всем, что было до сих пор и к чему он привык с самых ранних лет своей памяти.

— А? Зачем? Зачем? — спросил он с удивительной для такого старика страстью.

Он видел джейрана, от взрывов пугливо убегающего в горы, птиц, тревожно машущих большими темными крыльями, и ящериц, выползающих из расщелин скал. Он видел то, чего мы не видели, и чувствовал то, чего мы не чувствовали, и ему было жаль нарушенной жизни.

Однажды пошел дождь. Он лил день и ночь беспрерывно, он лил всю неделю, и нельзя было выйти из сакли. Казалось, разгневанный Бог заливает взрывы в горах, людскую жажду, посмевшую нарушить тысячелетний горный покой.

Старик выходил на улицу, смотрел на небо и с дьявольской улыбкой возвращался в саклю и молчал, и казалось, что он знает что-то такое, чего никто из нас не знает.

Иногда он смотрел на нас и говорил: «Ай-ай-ай». Словно жалел нас, словно насмехался над нашей глупостью и наивностью.

Но потом, ночью, все проснулись от необычной, стоявшей в горах тишины. Не слышно было уже привычного беспрерывного шума дождя, и тишина была тяжелой, застывшей, как эти окружившие нас горы.

Мы вышли из сакли. Небо было чистое, яркое. Крупные звезды светили над горами.

Разведчики погрузили на маленького коренастого ослика теодолит, мешки с динамитом и разную поклажу и двинулись вслед за осликом по горной тропинке вверх к облакам.

Сумрачные облака качались рядом, подходили ближе и чуть приостанавливались, словно приглашая садиться, и, свободно качаясь, уходили.

Взошло солнце, облака засветились розовым, голубым, лиловым. И все вдруг сдвинулось с места, потекло. Пастухи погнали по склонам гор баранту, и сквозь прорывы облаков стали мелькать зеленые долины, открылись дальние села, сады, и дороги, и поезда, и дым поездов...

— Спасите! — истерически запричитали в соседней комнате, и вслед за тем залаяла собака.

Я постучал в перегородку, она была как мембрана и чутко воспринимала, передавала и даже усиливала все звуки.

— Товарищ Свизляк! — закричал я, и эхо откликнулось в соседней комнате гулко, как на площади во время парада, когда командующий объезжает войска.

— Товарищ Свизляк, вы бы потише немного радио.

— А я у себя в комнате, как хочу, так и регулирую.

Теперь парадное эхо стояло уже в моей комнате.

— Но слышно-то ведь во всей квартире.

— Ну и что? От этого не болеют! — кричал Свизляк.

— А я не обязан выслушивать все инсценировки,— кричал я.

— Вот как! А что, вам не нравится?

— Просто не хочу слушать.

— Вот как,— повторил Свизляк,— это уже интересно.

— Все вам интересно.

— Мне, может, и нет, но кое-кому — да.

В тысячах тысяч таких же коммунальных квартир, в таких же тесных комнатках просыпались такие же, как я, холостые и семейные; и прошедшие войну солдаты, чудом выскочившие из нее целыми, полные сил, и раненые, контуженные, которым тяжело было в эту снежную мразь, ужасно было в это темное, зимнее утро, и точно так же мордатые дезертиры, ловкачи, бронированные и не забронированные, в свое время эвакуированные и не эвакуированные, которые сейчас, только проснувшись, уже звонили по телефону, набирали нужные им номера, стараясь поскорее урвать кусок побольше и послаще, пока другие не перехватили; и люди, которых сегодня будут прорабатывать, исключать на собрании, на тысячах тысяч собраний, и те, кто их будет пытать, кто будет председательствовать, писать резолюции и кто просто будет голосовать за исключение, не

желая за это голосовать; и затравленные, забитые, со страхом ожидающие очередной кампании, и те, кто в это время на коне и про которых говорили: «Он в порядке»,— все сейчас просыпались и для всех это серое утро было разным, и друг друга они не понимали и понять не могли и не хотели.

Сунув ноги в старые, стоптанные, еще партизанские унты, голый до пояса, я вышел в холодную, с замерзшими брызгами на цементном полу кухню умыться над раковиной. Обычно никто не оглядывался, стояли у своих индивидуальных, у своих золотых и бриллиантовых столиков, чистили картошку, рубили капусту, лепили котлеты. Не прощали они, нет, не прощали, что я имел карточку НР — и как бы про себя ворчали: «Подумаешь, научный работник».

Я слышал и не слышал...

Но в это утро все было до испуга по-другому. Никто не стоял у столиков, и не шумел ни один примус, не горела ни одна керосинка, не дымился ни один из странных допотопных приборов, на которых варили, пекли, подогревали, подрумянивали.

Кухня полна была женщин, старых и молодых, пришли с первого этажа, и все были тепло одеты, закутаны в платки, подпоясаны.

Сначала я подумал, что где-то давали свежую рыбу или уток, или, может быть, даже воблу, а может, китайские шерстяные кофточки.

И хотя здесь были все квартирные партии, все враждующие группировки, никто на этот раз не ругался, не шипел, а все вместе чего-то ждали, оживленные, смеющиеся, какие-то размягченные, какие-то даже приятно подобревшие, словно наступила всеобщая Пасха — Христос воскрес! — в коммунальной кухне. Они на меня взглянули и весело сказали: «Доброе утро»,— чего я уже решительно никогда не слышал и не ожидал услышать до самой смерти. И я, наверное, странно взглянул на них и так растерянно, и испуганно, и жалко ответил: «Доброе утро»,— что они коллективно кокетливо рассмеялись. Я не знал, разыгрывают они меня или это мне снится, или, может быть, самодеятельный спектакль какой, или вообще все пошло кувырком, а я ничего еще не знаю, все на свете проспал. Но скоро все выяснилось.

— У кого билеты? — стали спрашивать нетерпеливые.

— У Ворончихиной билеты.

В это время ворвалась в кухню Ворончихина, черная, жужжащая, будто шершень, заправленная в полушубочек, с горящими глазами.

— Девочки!

— А какие места? — стали спрашивать женщины.

— Па́ртер,— сказала Ворончихина.

— Тарзан?

— Тарзан.

И все довольно засмеялись и, толкаясь, вывалились из кухни и, громко разговаривая, шумно спустились с лестницы.

Я снова взялся за Гамсуна.

«Летние ночи, и тихая вода, и бесконечно тихий лес! Ни крика, ни звука шагов с дороги. Сердце мое было словно налито темным вином».

Я хорошо знал, что если утром ничего не сочинилось, не записалось, то уже после весь день будет пустым, ничтожным, словно уронил на дороге этот день, словно он упал в колодец. Все время было это беспомощное ощущение зря потерянного, зря проходящего дня.

Я никогда не давал себе спуска, пощады, никогда не снимал напряжения, а потом это уже само не снималось и стало характером.

Что это было — тщеславие, честолюбие, или нервная взвинченность, или естественная потребность труда, или ответственность, жажда правды, справедливости, ненависть к подлости? Скорее всего, это было все вместе — и честолюбие, и нервность, и потребность труда, и неистребимая жажда правды. А кроме того — единственное спасение было в работе. Когда оставался один на один с собой, даже в этом бедламе, в этом обмороке чада, в волнах страха приходили воспоминания, и то, что я видел и слышал только вчера или сегодня, сплавлялось с тем, что видел и слышал еще в самом раннем детстве, и все это было похоже на сон, само собой разворачивалось, выстраивалось мозаикой и, словно кто-то нашептывал на ухо, словно сама собой раскручивалась магнитная лента, оставалось только записывать за этим шепотом.

Тогда и этот слепой серый день, и тоску, и боль, и обиду, и саму безнадежность перетрешь, пересилишь и, как в тигле, переплавишь в себе в слова, в крик.

Это налетало, как вихрь. И бесконечный и нескончаемый, на свободном и вольном дыхании, спокойно и могуче разворачивался период многоцветный, многозвучный и гулкий, со своим дальним и ближним эхом, вовлекая в себя поток жизни и сплавляя красоту и безобразие, паузу и скороговорку, младенчество и старость, глупость и мудрость, прошлое и будущее.

И начисто исчезает приниженность, придавленность, и все возможно, все подвластно.

«Легкие шаги, человеческое дыхание, веселый привет: „Добрый вечер".

Я отвечаю, бросаюсь на дорогу и обнимаю оба ее колена и простенькое платье.

— Добрый вечер, Эдварда»...

Но жизнь Свизляка все время впутывалась в жизнь лейтенанта Глана и Эдварды.

У Свизляка были две большие комнаты с сверкающе натертыми паркетными полами, была мебель в белых накрахмаленных чехлах, на которые никто никогда не садился. И все это было похоже на мемориальный музей, по которому передвигались осторожно, в случае крайней надобности, в войлочных туфлях, например, если надо было играть гаммы на фортепиано, или полить герань, или стереть пыль с портретов — мужчины с поповскими волосами, со щеками как флюсы, и жирной женщины. И почему-то казалось, что только они и жили в этой комнате и, когда никого не было, судачили между собой, хотя в их разговор все время вмешивался радиолектор.

Завтракали и ужинали Свизляки в темном, крохотном, пахнущем нафталином коридорчике, заставленном шкафом со старыми книгами, на котором стояли оплетенные бутыли с керосином. И сейчас я слышал чавканье всей семьи и одновременно чтение газеты, потому что даже для самого себя Свизляк читал вслух, раздельно, с выражением, с величайшим уважением ко всем высоким Словам и Учреждениям, которые он даже и произносил с большой буквы.

Слышу в коридорчике его ш...ги, тяжелые, надменные, самоуважающие, и вот он стукнул в дверь. Я молчу, притворился спящим. Он постучал посильнее. Я приоткрыл дверь, он в щелку зыркнул, так и отхватил сразу полкомнаты, потом заглянул мне прямо в глаза, до самой души.

— Ничего не знаете?

— Нет, а что?

— Это потому, что вы радио не слушаете.

Он ухмыльнулся.

— А что случилось?

— Поинтересуйтесь,— он покачал головой, повернулся и ушел в своей длинноволосой собачьей куртке.

Я гляжу на эту громадную, как шкаф, спину, на эти широкие галифе, вдетые в унты, как в тяжелые медвежьи лапы, и в воздухе слышу запах псины. На губах у меня горечь.

Я включил радио. Черная плоская тарелка репродуктора зашипела, захрипела, словно откашлялась, и сообщила:

— Крупные небесные камни падают раз в две-три тысячи лет. Внутри они сохраняют холод далекого межпланетного пространства...

Я выдернул вилку.

Читать я уже не мог.

Я смотрю в окно. Напротив строят новый генеральский дом. Одну секцию уже сдали, вторая в лесах.

Ровно в девять утра выходит генерал, застегивая на ходу шинель, садится в черную машину и уезжает. Тогда другой шофер задним ходом подкатывает к подъезду кофейную машину, и как раз в это время выходит из подъезда человек в драповом пальто и пыжиковой шапке, закуривает папиросу, садится в машину и уезжает.

Вслед за тем выбегают из подъезда две сестры, быстро на ходу пудрятся и разбегаются в разные стороны. Я слышу лишь стук каблучков по дощатому строительному тротуару.

Потом появляются рабочие на лесах, они советуются, перекуривают и начинают работать. Потом приходит начальство. Работа приостанавливается, и теперь курят все вместе — рабочие и начальство.

Слышно, как пришел почтальон, застучал крышками почтовых ящиков.

Я вышел.

Широкая дверь вся была усеяна ящиками и казалась бронированной, и на всех ящиках висели замки.

Опять почтальон перепутал, и мой почтовый ящик был пуст, а в дырочках ящика Свизляка белела моя «Правда». Ящик был старый, покоробленный, еще довоенный, а может, и дореволюционный, но свежеокрашенный, запаянный где надо и даже с какими-то цветочками по синему полю. И сделан из такой толстой жести, что казался стальным и несгораемым. И закрыт он был не на замочек, а на такой замок, словно в него опускали не письма и газеты, а казначейские билеты. Когда Свизляк приходил, перед тем как открыть ящик, он осматривал его со всех сторон, как сейф,— не взорвали ли?

И как обычно, принимаешься карандашом подталкивать к щели сложенную вчетверо газету, захватываешь ее вилкой, уродуешь, рвешь и тащишь, и хозяйки, по обыкновению, с интересом наблюдают за операцией. Им приятны мои муки и еще больше, что это ящик Свизляка. Наконец я все-таки вытащил изорванную в лохмотья газету, скользнул по серым, однообразным полосам, похожим на вчерашние, позавчерашние, и прошлогодние, и позапрошлогодние, и в самом конце номера, где всегда самое главное, страшное и обнадеживающее, как ножом полоснуло: — Хроника. Арест группы врачей-вредителей.

Я стал жадно читать, и сразу меня прихватило за горло. Я читал и читал, и то все понимал, то будто заволакивало туманом, и с чувством отвращения и остановившегося ужаса снова прочитывал и не верил, и снова читал и не мог отложить газету, что-то во мне оборвалось.

Серый, скорбный, линялый свет безнадежно сочился сквозь крохотное окно, которое и не было никогда окном, не было задумано

тем далеким архитектором, кто вдохновенно некогда рисовал на красивой картинке барский особняк, а было просто дырой в глухой стене, прорубленной кем-то из поселившихся тут до меня, так же случайно и дико, по слепой воле, и застекливших эту дыру.

Это был один из тех коротких, серых, жутких дней, какие бывают в декабре—январе, почти не день, а так—клочок дневного света, словно солнцу, небу надоело светить, радоваться и ликовать, и само время на миг смежило глаза, предоставляя людям думать, что они продолжают жить.

Глава вторая

На катке было обычное утреннее общество, все тот же Валерий Валерьянович, директор цветочного магазина, сивый, лукавый старичок в вязаной шапочке и в белых, шнурованных до колен ботинках, на фигурных коньках, капризно и жеманно поднимая то одну, то другую ногу, вырисовывал известные кренделя и фасоны, а за ним высокий, худой, как свечка, с маленькой головкой нарцисса, зубной техник, а затем и еще старичок, который уже стал ссыхаться, уменьшаться, и все они составляли кружок, и, наблюдая их ледяное олимпийство, я совсем успокоился.

Рухнул дом Романовых, дом Гогенцоллернов, исчезли партии и классы, пыль осталась от Гитлера, а этот нейтральный легкомысленный кружок танцоров оказался гранитнее, незыблемее.

Вот так и получается, проходят революции и войны, восстания и чистки, а все заседает в старом составе урологическое общество и стоматологическое общество, и так же собираются филателисты и нумизматики, меняя монеты, карандаши и спичечные этикетки.

Я натянул шерстяные носки, надел жесткие прокатные ботинки с коньками, крепко зашнуровал, и потом еще перевязал, перебинтовал белой тесьмой, и встал на ноги, и почувствовал какую-то дополнительную железную, стальную режущую силу.

Рядом на скамеечке крохотная девчушка в ярко-желтой, как одуванчик, шапочке, оранжевом шарфе и высоких, туго шнурованных белых ботиночках с серебряными фигурными коньками. Она сидит, как и все, устало вытянув ноги и прикрыв глаза, и лицо у нее тоже серьезное, отдыхающее.

— Сколько тебе лет?

— Четыре,— отвечает она, не шелохнувшись из своего покоя.

Четыре! Неужели так может быть?

Даже страшно, даже жутко подумать, сколько ей жить, и жить, и жить, и сколько увидеть.

— Порядок! — вдруг говорит она, и вскакивает на конечки, и, маленькая, тоненькая, в шапочке-одуванчике, идет к морозной двери на лед.

Вниз по обледенелой лестнице она не спускается, а перескакивает, как кузнечик, и вот уже коньки ее звенят на льду.

Она сразу же начинает кружиться и входит в ритм фигуры, и движения ее легки и естественны, словно распускается цветок.

И я люблю ее, эту незнакомую девчушку. Я даже не завидую ей, я ее просто люблю.

Когда я вышел из темной раздевалки, распахнулись серые, разорванные, низкие зимние тучи и засиял золотом снег, и я ослеп от солнца и радости.

И мимо заснеженная аллея, и красные снегири на кустах, я выскочил на ледяной простор набережной, вдали Воробьевы горы

и алое ледяное солнце, и сразу все отбросило, отлетело, будто унесли ветром темное утро, и чад, и гвалт где-то жившей сейчас квартиры на Арбате, и ушла в небытие Великая эпоха, словно то приснилось и вернулось детство, веселая Костельная гора, и на коньках вниз, вниз, крутись волчком, лети в снежном вихре, и летят, разрываясь, звезды, и все подвластно, все возможно там, впереди, под пологом ночи, под звездами, на которых живут ангелы.

Девушка, мелькнувшая на повороте в черно-белом свитере, похожа была на ласточку. Она оглянулась. Я ее нагнал, поехал сзади, разглядывая бедра, ноги, обогнал, заглянул в лицо, долго шел с ней рядом нога в ногу, слыша скрип беговых коньков о лед, заговорили неожиданно, она свернула в тихую аллею, и мы пошли одни, спустились на зеркальный лед Царицынского пруда, с заснеженными ивами на крутых берегах, и на полном дыхании сделали несколько кругов, и ветер, и солнце, и воля выдули все темное, тоскливое, и снова была жизнь, юность, надежда, и все были красивы, веселы, молоды. Как все просто и хорошо, если вокруг только снег.

Только я вышел со света и сверкания катка на снежную аллею и, неловко ставя ноги в коньках, пошел, как на шпильках, по скрипящей замерзшей дорожке, я увидел — в конце аллеи стояли, выделяясь на свежевыпавшем снегу, двое в темных бобриковых пальто, и сразу понял, что это такое, всем существом, измученными нервами, всей сразу вскипевшей кровью, понял, что ОНИ МОИ, и с этой секунды мы связаны нитью, крепче которой нет на свете. И тут моя судьба, темная пещера, каюк, амба.

И этот день, и яркое, с утра красное зимнее солнце, и розовые полосы на снегу, и белейшие березы, и легкий, пушистый искрящийся снежок, и звуки сочные — все окрасилось в этот серый, мутный, тошнотворный цвет страха и ожидания, цвет одиночества.

Я сразу узнал их стопроцентно, зная уже по темным бобриковым пальто и темным суконным ботам, или по этой особой озабоченности их стояния, и даже по тому, что они не глядели на меня, а усиленно разговаривали между собой, этакие веселые приятели в солнечный зимний день на свежем воздухе.

И только пережитый, только освещавший меня вольный, распахнутый на все стороны солнечный мир снега, и неба, и ветра, которым я еще весь был пронизан, разгорячен, этот яростный мир вдруг сузился в крохотный, с подтаявшим, темным, затоптанным снегом пятачок, на котором я стоял на коньках, не зная, куда идти — вперед в раздевалку или бежать назад в оставшийся за спиной мир, снежный, и они как бы заметили мою нерешительность, с интересом наблюдая за мной.

Я будто вошел в глубину вогнутого зеркала, живой научный мир затих и притаился, а я раздвоился, я шел и видел самого себя, и тот, которого я видел со стороны, шел прямо, твердо, неукоснительно на коньках, словно на ходулях, а тот, который был я, чувствовал, как подкашиваются ноги.

Грязно-коричневые, совершенно одинаковые, или, как говорят дипломаты, идентичные, до последней пуговицы, до последней строчки бобриковые пальто и шапки фальшивого котика — близнецы до последней пушинки, снятые с одного конвейера боты, даже, по-моему, одного размера, хотя они были разной комплекции, и ноги у них должны были быть разные, а оттого и лица их, на самом деле совершенно разные, у одного пухлое, равнодушное, бледное, как раз-

варенный картофель, а у другого остренькое, болтливое, подвижное, тоже казались одинаковыми.

Они не сошли с дорожки и, разговаривая, не смотрели на меня. И пройдя прямо впритык, я почувствовал горькую, обветшалую сырость их фальшивых шапок, ток их напряженного внимания как бы коснулся меня и крепче связал с ними. Вдруг меня словно ударило. Это был уловленный сбоку внимательный, именно на меня, целиком на меня направленный взгляд, словно мимоходом кольнул маленький черный глаз вороны.

Перед тем как войти в раздевалку, я оглянулся. Один из них стоял, расставив ноги, и глазел на облака, а другой пошел в телефонную будку и стал поспешно набирать номер.

Он говорил что-то быстро и суетливо, одновременно открыто, не таясь, глядя сквозь стекла на меня, медленно разглядывая и как будто с натуры описывая тому, в телефон, мою внешность. И вдруг мне показалось или померещилось, я по губам различил, что он ясно назвал мою фамилию, назвал по слогам, и мне стало душно.

Темная раздевалка казалась мышеловкой, гардеробщики, казалось, уже все знали и были с теми заодно, что-то подозрительно долго искали пальто, путали номера, вроде издали косились и следили, как я снимал коньки.

Что это, начало или конец? Только самое начало, только появился в прорези мушки, или уже все готово, все собрано, прошито скоросшивателем и приложена справочка, где все сформулировано и наверху росчерк, иероглиф «взять», и это уже только проверка на месте, чтобы поаккуратнее, попроще, почище взять, чтобы не уехал в командировку, не ушел в гости, на свадьбу.

Как темно было в раздевалке, как ужасно темно, неуютно, и, пока я ходил к окошкам, в одном получал пальто, в другом обувь, потом на низенькой скамейке снимал коньки, я все время думал о них.

За много лет боязни, страха, ожидания прекрасно наловчился их узнавать, не так, может быть, и глазами, а сразу всеми пятью чувствами одновременно, и среди тысячи людей немедленно различал, находил, чуял именно их, по силуэту, по лицам серым, невыразительным, словно обреченным на эту серость, по глазам, как бы отводящим от вас взгляд, но на самом деле глядящим именно на вас.

Они возникали вдруг у подъезда, будто ожидали свидания с любимой, или оказывались рядом в трамвае с газеткой в руках, и глаза их, читавшие о событиях в Индонезии, поверх тех суматошных событий, видели только вас: или в ресторане за соседним столиком с бутылкой нарзана и пачкой «Примы», кейфующие и отчужденные. Были ли они для тебя или для других, все равно ты узнавал их и боялся.

В последнее время я узнавал их даже там, где их не было, в бане или в театре, или вдруг в лесу на даче, они принимали разное обличье, прикидываясь почтальоном, официантом, носильщиком на вокзале, и взгляд их, странный и неожиданный, пронзительный, пугал до дрожи, и трудно было дышать и жить.

Я медленно расшнуровывал ботинки, медленно и щепетильно вытирал коньки, потом несуетливо стянул свитер, медленно завернул в газету, спрятал в портфель, посидел немного на скамейке, отдыхая.

Все мое существо, все, что есть Я, ждало их ежедневно и ежечасно, не забывало про них никогда, неожиданный стук в дверь, и всегда первая мысль — о н и. «Кто там?» — и отвечают: «Телеграмма», или «Мосгаз», или жалкий виноватый писк: «Извините, нет ли у вас спичек?»

Когда ты только и думаешь об этом, когда ты столько раз это

видел, как же тебе не ждать этого и для себя. И это срослось с тобой и стало сном и явью, осью твоей жизни, вокруг которой вертелось все остальное. Только ты все время отмахивался, закрывал глаза, отсекал от себя, стараясь не думать и не верить в это. Просто все время глупо и ничтожно обманывал себя.

Но срок пришел, отсрочка, как ни была она бесконечна, кончилась.

Когда я вышел из раздевалки, черных близнецов не было, солнце сверкало на снегу, и слышалось капанье с крыш, и я рассмеялся, сердце переполнилось радостью и облегчением, я шел снежной аллеей свободно и весело.

Но выйдя из-под арки, из-под той массивной серой бетонной арки, которая парадной римской колоннадой стоит одна, без дворца, сиротливая и замерзшая в снегах, я увидел, что черные приятели были уже тут, они стояли, разговаривая друг с другом на солнышке.

К остановке подходил трамвай. Вожатый зачем-то дико трезвонил, и только когда вагон надвинулся и я увидел за стеклом в тулупе человека, я понял, что это я стою слишком близко к рельсам, и отодвинулся, трамвай обдал меня звонкой снежной пылью. Первый вагон прошел мимо, и я вошел с задней площадки и протянул деньги кондуктору в нитяных перчатках с отрезанными кончиками на красных грубых пальцах.

И когда трамвай уже почти тронулся, близнецы побежали вдвоем, рядом, как цирковая пара, и на ходу вскочили с задней площадки последнего вагона.

Трамвай, грохоча, въехал на мост, и вибрация цепного моста передалась вагону, и дрожь прошла по мне, и стало гулко и светло от белого сверкающего простора реки.

Цирковая пара близнецов стояла на задней площадке в своих фальшивых шапках и мирно беседовала.

Я сошел у метро «Парк культуры и отдыха» и, не оглядываясь, почувствовал, что они тоже сошли, и, так и не оглядываясь, я медленно, словно ничего не подозревая, пошел к троллейбусной остановке у бывших Провиантских складов, все время спиной, затылком, плечами чувствуя, что за мной идут.

Крепкое, маленькое, твердое, как бы замерзшее красное зимнее солнышко пробивалось сквозь вихревые снежные тучи, но тучи побеждали солнце, обволакивали черным дымом и скоро совсем закрыли. И тогда снег повалил тяжелыми мокрыми хлопьями. Погода менялась, и, казалось, ветер дул с разных сторон, и от этого на душе становилось тревожно, нехорошо.

Я остановился у забора и под снегом стал прилежно читать афиши, все афиши подряд: «Великий государь», «Иван Сусанин», «Садко», «Хождение по мукам», «Хитроумная влюбленная», «Четыре жениха».

Начитавшись афиш, я подошел к газетному стенду и привычно и скучно скользнул по серым полосам, без единого клише, сверху донизу туго набитым унылым набором.

Говорили, что Сталин однажды по какому-то поводу выразил неудовольствие газетными фотографиями и сказал, что лучше бы вместо картинок дали текст, и редакции поувольняли фоторепортеров, и цинкографии стояли без дела. Так же, как однажды державной рукой поставил он в рукописи над «е» две точки, две давно исчезнувшие точки, и центральная газета тотчас же вышла с передовой, в заголовке которой было специальное слово с буквой «ё», и по всей статье точки были рассыпаны, как мак, и все газеты изощрялись и придумывали слова с буквой «ё», чтобы видели, как исполняются его указания, его капризы.

И опять я натолкнулся на «хронику». И снова стал я читать, и читать, и перечитывать. И тот откуда-то сбоку глядел на меня и не мог дождаться.

— Как делишки, бегемот? — сказал веселый голос.

Я знал ее давно. Сначала она хотела быть киноактрисой, потом художницей, потом переводчицей и успокоилась, став ретушером в модном ателье.

— Хочу сделать костюм с серым каракулем,— сразу же затараторила она,— узкую уютную юбочку с двумя складками, не будет под пальто смотреться, но мне наплевать. А на груди абстрактную брошку с древнеармянской вязью. Звучит? — она сощурила глаза.— Мне идут более убитые цвета. Сейчас модно малина, разбавленная молоком, или цвета гнилой вишни...

— Наташа, слушай, что я тебе скажу,— прервал я ее.— За мной ходят, понимаешь?

— Кто ходит?

Она стремительно взглянула вдоль улицы.

— Не оглядывайся, главное, не оглядывайся.

— А что случилось? В чем дело?

— Не знаю, вот сейчас я обнаружил, что за мной ходят два типа...

— А кто они такие? — спросила она с наивностью растения.

Я усмехнулся.

— Знаешь что, пойдем со мной, может быть, они отстанут? — продолжала она.

— Нет, они не заблудятся.

— Ну, тогда поезжай, я тебе позвоню, узнаю, как ты доехал,— сказала она, как мать маленькому мальчику.

— Не надо, телефон уже, наверно, слушают.

— Кто слушает?

— Кому надо.

Она покачала головой.

— Что же теперь будет?

— Не знаю.

— Но ведь это кошмар. Я не представляю себе, чтобы я могла с этим жить, я бы сошла с ума.

— Наверно, это тяжело сначала, а потом привыкаешь, потом как ни в чем не бывало.

— Откуда ты знаешь?

— Рассказывал, кто это уже имел, потом даже скучал без этого, представляешь, чего-то не хватает, как-то пусто.

— Байки,— она засмеялась.— Нет, я не хочу, не хочу и не хочу. Смотри, он глядит нагло прямо сюда, бессовестный.

— Это его служба.

— Не хотела бы быть на его месте.

— Работа не хуже и не лучше всякой другой,— вяло сказал я.

— Нет, это уж извини.

— Правда, работа хуже не придумаешь, каторжная.

— Может быть, к кому-нибудь обратиться, чтобы они перестали это делать? — сказала она.

— К кому?

— Я не знаю, но, наверно, кто-то есть там наверху, кто этим занимается. Нельзя же так жить, когда за тобой ходят. И это ведь может плохо кончиться.

— Боюсь, это уже плохо кончилось.

— А что ты сделал?

— Если бы я знал.

— Но это ведь не может быть так, ни с того ни с сего.

— Может быть.

— Но ведь не за всеми же ходят.

— За всеми,— вдруг решил я.

Она открыла рот.

— Теперь уже за всеми,— убежденно сказал я.

В это время к остановке у Провиантских складов подкатил троллейбус.

— Ну, я поехал.

— Позвони мне, я буду ждать,— закричала она.

Я кивнул и вскочил в троллейбус, почувствовав, как за мной тотчас же закрылась дверь.

Троллейбус тронулся и тут же остановился, и один из черных близнецов, непонятно как и откуда появившийся, уже влезал в неожиданно открывшуюся перед ним переднюю дверь.

Я отвернулся и стал смотреть в заднее стекло, и вдруг увидел, словно на экране, как из-за угла появился второй близнец и на расстоянии спокойно пошел за Наташей в метро.

Значит, теперь это будет вот так, именно так. Стоит мне только поздороваться или заговорить с кем-то, тотчас черный раздвоится, от него отделится тень и пойдет затем по следам, как за зайцем. Все вокруг станут зайцами. Полным-полно зайцев.

Он стоял там, впереди, среди пассажиров, держась за ремень и покачиваясь в такт быстрому ходу троллейбуса, просто один из пассажиров, едущий по своим делам, в поликлинику, или по вызову военкомата, или в гости выпить.

Потом ему стало скучно, и он вынул из кармана газетку и принялся ее читать.

Я искоса разглядывал его. У него было бледное, мучнистое лицо, изможденное волнениями и интригами его секретной напряженной работы.

— Остановка Киевский райком, следующая Смоленская, Гастроном № 2, вино и закуска,— объявил кондуктор-затейник.

Троллейбус остановился, я быстро протолкнулся и неожиданно сошел с задней площадки. Машина тронулась. Я был один. Один, как в безвоздушном пространстве.

Троллейбус уходил, увозя его с газеткой. Он был теперь за стеклом, как рыбка в аквариуме. Но неожиданно он рванул газетку вниз, и заметался, и забился вперед, что он там такое сказал водителю, только троллейбус на полном ходу затормозил и остановился на перекрестке, и машина, следующая за ним, со скрежетом застопорила, раздвинулись двери, и из троллейбуса выскочил, просто вывалился мой, и, не оглядываясь, перебежал между машинами через улицу на ту сторону, и уже оттуда с тротуара взглянул на меня через поток машин. И вдруг охладел и, как ни в чем не бывало, стал прогуливаться вдоль тротуара.

Я пошел вперед.

И опять все ушло, словно в глубь вогнутого зеркала, и там, в потустороннем, отстраненном мире, стояли холодные, пустые дома под снегом, летели машины, бегали люди-карлики, как шахматные фигурки, равнодушные, чужеродные, безучастные.

Он шел где-то там по другой стороне улицы и через поток машин глядел на меня.

Надо пройти свои ворота, пройти, как будто их и не знаешь, и там куда-то деться, куда-то исчезнуть, запутать следы.

Но когда я подошел к крашенным суриком воротам, я, словно кто-то грубо толкнул меня в спину, покорно вошел в свой двор.

Мы не научились бежать, не научились скрываться, не было этого в нашей крови, мы были в своем государстве и очень верили, слишком долго верили.

Глава третья

Я с силой захлопнул дверь, и будто взрывной волной меня бросило, прижало к стене, контузило, все перемешалось, и стало трудно дышать.

Жизнь моя, разрезанная пополам, ушла как бы в глубь бинокля и стояла там вдали, чужая.

Смутно, серо, зыбко сеялся поздний свет. Я тихонько, вдоль стены, не дыша, на цыпочках пробрался к окну.

Как заведенные игрушки, катились мимо заснеженные троллейбусы, куда-то шли люди с авоськами, с портфелями или просто так, заложив руки за спину, и все это в полном безмолвии, как в кинокартине с выключенным звуком, как в вакууме, и не имело смысла и непонятно было, зачем.

Неистребимая тоска, в которую я уходил с головой, растворялся в ней, как будто на лицо наложили салфетку, пропитанную хлороформом.

Вот так же стоял я со стесненным сердцем, прижавшись в угол разрушенной хаты, там, на Полтавщине, за станцией Яреськи, глядя в выбитое окно. И рыча брала взгорье танкетка с белым крестом на башне, цыкали серые мотоциклисты с черными автоматами на груди. Потом совсем близко мимо прошли зеленые шинели, а я стоял босой, без шапки, и я был весь — сила, весь — сопротивление, весь — напряжение. Я знал — на земле могут остаться только я или они, вместе нам не ужиться, я готов был умереть, и я заранее сказал себе: «Я убит»,— и уже ничего не боялся. И вышел из кольца. А теперь мимо катили троллейбусы, фургон «Мороженое», шли бабы с бидонами, и я был весь — слабость, весь — страх.

Если бы я был виноват, если бы было за что, во мне жило бы сопротивление, я бы старался исхитриться, ударить, исчезнуть, я бы боролся, я бы укрепился на своей мысли, на своей вере, а теперь я был как муха в паутине.

На что я мог надеяться сейчас? Я даже не видел своего палача, может быть, он жил где-то рядом на улице, ежедневно утром проходил мимо моего окна и курил папиросу. Может быть, я сидел рядом с ним в кино и смеялся или плакал вместе с ним, а он будет меня мучить и пытать, и сломает позвоночник, во имя чего, я не знаю, и он не знает, просто потому, что надо кому-то по плану сломать позвоночник, иначе все распустятся, разбалуются.

И никто никогда об этом не узнает. Вот что было страшно, безнадежно.

Я один в этой комнате, один на один с этими серыми, масляными стенами, с этой голой на длинном шнуре электрической лампочкой, и еще молчащий черный телефсн. Он молчит, как заколдованный, он уже знает, что со мной стряслось, наши телефоны знают все заранее, а может быть, его уже выключили, друзья если узнают, что случилось, скорее сунут палец в огонь, чем начнут набирать мой номер.

И внезапно телефон ожил, зазвонил. Он звонил необычно резко и настойчиво, истерично и вдруг замолк. А я глядел на него, и у меня кружилась голова.

Как хорошо еще было жить вчера, позавчера, и как не ценил, никогда не ценил жизнь, все был недоволен и угрюмо бродил по улицам и считал себя самым несчастным, смотрел на лица гуляющих под ручку, на ожидающих такси, на смеющихся. Все были счастливы, все куда-то спешили, у всех была цель.

Что один ты такой неприкаянный, несуразный, разнесчастный, родившийся с этим вечным беспокойством, вечной необходимостью что-то немедленно делать, истратить, испепелить свои силы, вечным ожиданием чего-то другого, лучшего.

Редкие, считанные дни жизни был ты спокоен.

Почему всегда думаешь — вот проживу сегодняшний день, пройдут неприятности, боль, забота, и завтра будет лучше. Неужели только обманываешь себя?

В сущности, до сих пор все несчастья, болезни были кажущиеся, надуманные, призрачные, какой-то оптический обман, волны страха, а вот теперь впервые беда настоящая.

И, может быть, впервые я так ясно увидел, что жизнь проходит, ускользает, текущая беспрерывно, неостановимая, даже какая-то бессознательная. Вот эта минута, этот миг бытия — серое небо, мелькающий, сверкающий снежок, и на противоположном тротуаре две женщины в шляпках и резиновых ботах стоят и разговаривают — этот миг пройдет и никогда не повторится. И казалось, страх, как сырое тесто, облепивший меня, стал таять, рассеиваться и перед этим вечным, понятным, был смешным, карликовым, нелепым. Но это только на миг.

Вдруг я его увидел. Он спокойно прошел в своей котиковой шапке к воротам и стал впритык, тихо, незаметно, не напористо. Немного постоял, потом вытащил из кармана пачку папирос, щелчком выбил одну, пачку спрятал, а папиросу стал медленно вертеть в пальцах. Потом достал спички, отвернулся к воротам, прикрылся воротником, зажег спичку и прикурил, и отсюда видно было — пошел дымок. Он спрятал спички и стоял у ворот и курил, дым пуская осторожно куда-то в сторону, чуть ли не в рукав.

Кто он такой, как его зовут? Почему-то казалось невозможным, что его зовут просто, обычно, Юра или Боря, или Витя, и что, кроме вот этой основной жизни, у него есть своя, частная, и еще сегодня он придет к себе домой, где у него отец и мать старики, которые даже не знают, где он работает, а может быть, есть и жена и даже дети, которые идут в класс с тетрадями, и придут друзья, и еще вечером он с ними выпьет и забьет партию в козла.

— У вас горит плитка? — визгливо закричали из-за дверей.

— Какая плитка?

Это была Зоя Фортунатовна, маникюрша в тюрбане из полотенца, и будто ею выстрелили прямо из сумасшедшего дома, такие у нее безумные глаза.

— Смотрите, как вертится счетчик.

Она схватила меня за руку и потянула к счетчику. Он гудел и временами визжал, словно просил пощады.

— А-а! Это, наверно, Пищики включились!

И она убежала в своем тюрбане.

Сначала я разорвал телефонную книжку, потом вынул из ящика и стал рвать письма, фотографии.

Это уже было раз, тогда, на Чистых прудах, в 1937-м.

В тот яркий июньский день, горячий, обжигающий, когда комната была залита солнцем, в обещающий счастье день, я сжигал в черной голландке дневник трех матросов срочной службы, альбом, сшитый из гранок газетного срыва, где было смешное и опасное описание кубрика, непочтительный портрет старшины, и стихи, и эпиграммы, и карикатуры друг на друга, и на все на свете, и фотографии трех

мушкетеров в моряцких фланельках, клеше и бульдожьих башмаках, снятых вместе и отдельно, и анфас, и в профиль, и с девочками-подружками, кудрявые головки, головки-перманент, ситцевые платьица...

А потом война, азарт и энтузиазм, и боль, и невыдуманные страдания, и как-то все позабылось, рассеялось, истлело.

И вот все это с новой, непостижимой, ожесточенной силой началось в тот осенний октябрьский день, когда вдруг выскочило словечко **космополит** и начались собрания, те долгие, ночные, прокуренные собрания, похожие на сон, на горячечный бред, после которых не хотелось и незачем было жить.

Небольшой круглый, обшитый старинными панелями, с дубовыми потолочными балками зал был жарко, слепяще освещен яркой люстрой. И я сверху, с сумрачных хоров, где всегда пересиживал собрания, муку, страх, недоуменно глядел в это душное многолюдство, на обилие седых и лысых голов, а на трибуне в это время, качаясь, стоял, с бледным, как клоунская маска, искаженно-больным лицом, кривобокий человечек и, заикаясь, но все еще громко, но все еще красиво, по-польски грассируя, пытаясь сохранить достоинство, пытаясь удержать в себе веру в свое существование, в свое право защищаться, рассуждать и, распаляясь, по старой привычке еще даже несколько высокомерно, несколько с преимуществом ума, с наглой, как многим казалось, принципиальностью, сказал: — Ленин нас учил...— И из президиума человек с голубой молодой сединой, медленно наливаясь кровью, закричал: — Не кощунствуйте, пигмей!

И собрание ответило одобрительным гулом.

И не было ничего — ни детства, ни чести, ни луны, ни самопожертвования, и я почувствовал такую беззащитность и бессмысленность всей своей дальнейшей жизни. (Я еще не знал и не мог знать тогда, что в другое время, в другой день и час то же собрание, почти в том же составе, за вычетом умерших от инфаркта, инсульта, пьянства и рака, будет аплодировать и весело и беззаботно смеяться остроумию этого же кривоногого человечка, начисто позабыв, что оно с ним делало, а он им простит.

И придет день, в этом же зале, под той же люстрой в траурной кисее и при закрытых простынями зеркалах, произнесут печальные и высокие слова, какой это был замечательный человек. А он гордой крупной головой, возвышаясь в красном гробу, установленном на длинном столе президиума, костяным лиловым, отрешенным лицом как бы скажет: «Ах, это не имеет никакого значения».)

В ту грязную декабрьскую, оттепельную ночь страшно было идти в свою комнату, страшно оставаться одному и, не заходя домой, я ушел на Курский вокзал. На следующее утро в Белгороде в вагоне было по-зимнему светло от снега, а на рассвете третьего дня уже мертво и тускло сверкал Сиваш, в Джанкое было по-апрельски тепло, туманно, сыро, и сердце медленно отходило, а в Симферополе солнце, осенние желтые деревья, яркие краски гор и дыхание курорта. В курортном управлении я купил горящую путевку.

На перевале был черный туман, машина петляла среди призраков, и к вечеру Ялта засверкала ожерельем бульварных огней, шел теплый обильный дождь. Штормящее темное море заливало бульвар, и было чувство потопа, конца света. И мне стало вдруг все безразлично.

Санаторий имени Орджоникидзе, построенный в стиле эпохи излишеств, похож был на мраморный дворец.

В зимнем нетопленом здании пахло казармой, грубыми одеялами,

наглядной агитацией кумачовых лозунгов и физиотерапией. Долго я не мог найти дежурной сестры, а когда наконец нашел сестру в затрапезе, она удивленно поглядела на меня, отобрала путевку и молча выдала какие-то талончики.

Я поднялся по широкой парадной лестнице и потом шел длинным, глухим коридором и не понимал, зачем я здесь, зачем эти мраморные колонны и гипсовые лепки, изображающие шахтеров и толстых жниц с серпами.

По коридорам дохло бродили и курили, и маялись зимние санаторники, из красного уголка шел стук козлятников, кое-где сидели на кроватях в пальто, выпивали и после пели песни. И так стало мне дико и чуждо, что казалось, я попал в скучный, фальшивый кинофильм.

Санаторий в это время года полон был вертухаев из Воркуты, Норильска. Утром, приняв предписанные лечебные процедуры, испанский воротник или Шарко, они потом весь день сидели в накуренном красном уголке, забивали козла или состязались в шашки, а некоторые по палатам составляли пульку, делая лишь перерыв на обед и ужин.

Стахановцы, отдыхающие по бесплатным соцстраховским путевкам, колхозники из Таджикистана и Узбекистана, щеголявшие в тюбетейках и ярко-желтых сапогах с галошами, бедолаги-тубики, пятисотницы, последовательницы Марии Демченко, весь день маялись по бульвару, ездили в экскурсии на Ай-Петри, в Алупку, во дворец Воронцова, на Ласточкино гнездо и в Никитский ботанический сад, где им показывали мамонтово дерево; а эти почти не выходили из санатория и, заказав у эвакуатора обратный билет, успокаивались до отъезда. По вечерам они смотрели в санатории кино «Падение Берлина» по Чиаурели и Павленко или «Свинарка и пастух», а по некоторым дням были трофейные фильмы. Однажды я смотрел вместе со всеми картину о жизни и сумасшествии Шуберта, и в зале мне казалось, что это я схожу с ума.

В палате со мной жили майор и два капитана, и еще один штатский, который был вместе с ними и оттуда же, откуда и они. И ночью я боялся заснуть, как бы во сне вслух не сказать, не закричать что-то про все, про то, что я думал и знал, и несколько ночей не спал и слышал, как майор и капитаны храпят, а гражданин свистит во сне, как они поочередно просыпались и курили, и снова засыпали, храпя, и как черноморский ветер мягко стучал в окно.

Я пришел к главному врачу. У нее были заплаканные глаза. Я слышал, что выселяли из Ялты ее мужа-грека, в это время выселяли греков, армян и караимов. Заикаясь и стыдясь, я сказал, что не сплю из-за храпа соседей, и женщина, внимательно поглядев на меня красными бессонными глазами, сказала, что я могу ночевать в ее кабинете. С тех пор я спал на кожаном диване главврача, говорил и кричал во сне, иногда просыпался от плача. Я плакал во сне, мне, глупому, молодому, снились собрания и что меня прорабатывают, и все от меня отказались и при встрече отворачиваются. И я хотел, чтобы еще что-то случилось, чтобы еще больше наговорили, наклепали, топтали до конца, довели, и в этом неистовстве погибшей жизни я черпал силы сопротивления и говорил всем: «Что вы уже сделали со мной, а я все крепче и не сдаюсь, нет, не сдаюсь...»

И идут дни за днями, сменяется день ночью и ночь днем, мертвые, бесплодные, в слухах и ожидании, изо дня в день, из ночи в ночь в ожидании **неминуемого**.

Второй раз в жизни я готовился к э т о м у. Я прощался.

И как тогда, в 1937-м, я думал, что если э т о не случится, уйти на Волгу, в грузчики, Нижний Новгород. Почему-то представлялась именно Волга и именно Нижний Новгород, а не Горький. Так теперь, уничтожая бумаги, я думал, если только ночью не придут, уйти из квартиры, уехать, затеряться, жить со своими мыслями, с тем, что понял, и когда-нибудь написать об этом.

Глава четвертая

Я лег на кровать, и тот, стоявший на улице, сквозь стены смотрел на меня.

И все время было ощущение, что это сон. Ведь сколько раз мне снился этот сон, именно этот сон, и каждый раз я просыпался, и все было хорошо. Может, и теперь это сон, и просто я не могу проснуться.

Однажды этот мягкий вкрадчивый человек из отдела кадров мимоходом сказал мне загадочную фразу: «Тщательнее выбирайте своих ближайших друзей». И теперь я стал вспоминать всех своих знакомых и товарищей, и даже тех, которых видел только один раз в жизни, мельком, где-то на улице, в случайной кучке, вспомнил и того, в кепке с наушниками, со странным ноздреватым носом. Вот этот с ноздреватым носом сразу показался подозрительным.

И я поспешно и тревожно вспоминал, что я говорил и как он слушал, молчал или улыбался, и что скрывалось за этой улыбкой. И я каялся, и обливался потом, и проклинал себя, и давал клятву ничего больше не говорить. Господи, господи, боже мой, зачем, кому это нужно было. Если бы я его не встретил, не говорил, как все было бы сейчас хорошо.

Где-то там, в общей или, может быть, специальной картотеке лежала, мирно спала твоя карточка, никому не мешала жить, не толкалась, не выскакивала, не горела, и вдруг ее, именно ее, спящую, кроткую, забытую, нащупали, вытащили, и уже по ней нашли на стеллажах или в шкафу дело, старое, разбухшее, и на того, кто раскрыл серую папку, глянуло твое лицо, и тот, скользнув по нему, углубился и стал листать, читать твою жизнь, исковерканную грамматическими ошибками, отраженную и гримасничающую в этом анонимном кривом зеркале, самом современном аттракционе самой великой из величайших эпох человечества. А ты ничего не знал, даже не чувствовал, бегал на свидания, сидел за столиком ресторана и ел рыбу в кляре, и читал сказки Андерсена, и жил той элементарной, той мизерной, той еще до поры до времени разрешенной жизнью, и был доволен, и иногда даже счастлив и убаюкан молодостью, здоровьем, надеждой.

Иногда ночью или даже днем вдруг на шумной, веселой улице ощущение надвигающегося несчастья приближалось, будто повисало на груди и дышало в лицо. Что это было? Мираж? Страх? Игра нервов? Или телепатия волнами доносила то роковое, которое как раз в эту минуту свершалось где-то там, в кабинете, высоком и чистом, как зал крематория.

В сущности, я ожидал этого всегда, но когда оно пришло, я никак не мог поверить, что это случилось со мной, именно со мной.

Человек может ко всему привыкнуть, человек — машина, которая на ходу быстро, искренне перестраивается, выворачивается наизнанку, но к э т о м у не может привыкнуть, как к смерти, зная, что она есть, что она неминуема, что она настигнет всех, не может себя пред-

ставить мертвым в гробу, и мысль об этом встречает равнодушно, со странной легкостью неприкасаемого.

— Разрешите звякнуть,— без стука появился пьяный краснолицый молодой мясник из Гастронома, приходящий муж тети Саши.

Он долго, тщательно, с пьяным усердием набирает какой-то невыносимо длинный номер, потом обращается ко мне:

— Не справитесь? — И заплетающимся языком сообщает: — 00-20-00. Дырчатый телефон, не за что зацепиться.

Я набираю номер, но гудков нет. Выдумал ли он этот телефон или перепутал?

— Вы НР? Научный работник, да? — спрашивает он.— А откуда мысли берете, из фантазии или из головы? — Он над чем-то думает и добавляет: — Вы как пишете — подстраиваетесь или так думаете?

Потом, глядя мне прямо в глаза, говорит:

— Моя работа тоже на мыслях идет, на мыслях-шариках.

Я молчу.

— Я умею очень культурно, интеллигентно подойти,— секретно сообщает он.— Правда, я высшего образования не имею, мать хотела отдать, но... Я немецким языком обладаю, поэтому и пропал, из-за немки пропал, колечко шамкнул, только успел золотой зуб вставить и проклял германика.

И вдруг ни с того ни с сего говорит:

— А пока в голове есть, я еще буду жить, я завтра к Косте на пикник иду. Понятно?

Он идет к двери:

— Извиняюсь, тысячу пардон, ауфвидерзейн, гуд бай, мерси большое...

Зачем он приходил?

Я приподнялся и из-за занавеса поглядел в окно. М о й все стоял у ворот. Он глядел на всех входящих и выходящих со двора, и некоторые ловили этот фиксирующий взгляд и убыстряли шаг, и, пройдя, оглядывались. Другие ничего не замечали, как слепые, входили со своими авоськами и портфелями, со своими шмотками и иллюзиями, а один даже остановился и попросил у него прикурить. Он внимательно взглянул на прохожего чудака, как бы сфотографировал с головы до ног, потом спокойно, беспечно вынул спички и дал тому коробок, и тот зажег спичку, прикурил, вернул коробок и, кивнув, пошел по улице, попыхивая папиросой, не ведая, к кому прикоснулся.

Как Овидий его почувствовал,— непонятно, существовала ли между этими людьми передача мыслей на расстоянии, или единственный глаз Овидия был так наметан, натренирован, что он сразу все улавливал и понимал, но Овидий усиленно прохаживался мимо ворот с широкой деревянной лопатой, убирая снег вокруг его стоянки, а потом просто вышел безоружный и тоже стал у ворот рядом, поглядывая в его сторону тем глазом, на котором нет бельма. Но, очевидно, м о й был из другого, высшего ведомства, недоступного дворникам. Он отворачивался и глядел совсем в другую сторону или просто прохаживался до угла и возвращался, не глядя на Овидия. Но удивительнее было всего, что Овидий все это терпел и понимал в самом высшем и ответственном понимании, в любом другом случае он грубо спросил бы: «Зачем стоишь? Документы!», а тут он просто исчез, испарился. Раз он не нужен, он лишний, значит т а к н а д о.

И никто и не подумал спросить: «А кто вы такой?» Все уже инстинктивно, по чутью, уже чуть ли не по врожденному инстинкту понимали, кто это, и откуда, и зачем. Похоже, это уже не только было всосано с молоком матери, но начало уже передаваться в генах, какая-то там произошла перемена, какое-то нарушение или перегруп-

пировка, переброска в извечной цепи нуклеидов, может, самая крохотная, самая микроскопическая, но уже очень живучая и сильно действующая на весь организм.

Если он пришел, и стоит, и смотрит, значит т а к н а д о.

Они просто уже привыкли к тому, что кто-то стоит у ворот, все равно всегда кто-то торчит у ворот чужой, пока не касающийся к их делам, и слава богу, что не касается, ну и пусть стоит, пусть себе на здоровье мокнет под дождем и снегом, если т а к н а д о. Это не их, граждан, дело, которые идут по своим сугубо личным семейным заботам, на работу или с работы, или в кино, или пивную, на свадьбу или на кладбище. И они даже взглядом не хотят впутываться, встревать в это дело и замечать, что кто-то стоит и кого-то ждет, и не зря ждет.

И все-таки, как они этого ни хотят, он словно в моментальной фотографии, словно в той пятиминутке, что некогда была на ярмарках, отпечатывается, тусклый и как бы смытый в своей котиковой шапке и ботах, но, не показывая вида, они проходят мимо независимо, замороченно и гордо, потом не выдержат и все-таки оглянутся, и уже тяжело, с одышкой, словно до того брали гору, поднимутся по железной лестнице, и, войдя в комнату, сразу же кинутся к окну и, прижимаясь к стене, маскируясь, поглядят на того, у ворот, изучат хорошенько и, делая свои наблюдения, прикинут, к кому это относится, и уже только потом займутся своими домашними делами, поджарят на маргарине котлетку, или начнут готовиться к занятиям партпросвещения по «Краткому курсу», или слушают по радио хор Пятницкого, чувствуя себя неуютно и, время от времени прижимаясь к стене, поглядят в окошко и понаблюдают, что к чему.

С некоторых пор я чувствовал, как о н и проходили рядом, по краю. То это был чей-то внезапный, острый взгляд из толпы, на углу улицы, взгляд, направленный именно на меня, а когда я беспокойно оглядывался и искал, тот таял, и можно было подумать, что это мне показалось: иногда тот уже ждал меня в подъезде, когда я приходил в гости, а может, он ждал другого; когда я подымал телефонную трубку, я почти слышал его дыхание.

Когда это началось? С каких пор я попал в их бинокль? И за что?

Меня привели в маленький, тихий домик на околице, на крыльце бродили куры, в сенях пахло дынями, молоком, медом. Полы в хате были чисто выскоблены.

За столом сидел похожий на ребенка батальонный комиссар в хорошо отглаженной гимнастерке, с двумя новенькими шпалами в петлицах и новой звездочкой на рукаве.

— Почему не в форме? — спросил он меня.

Он посмотрел на меня через стол, словно сквозь пуленепробиваемое стекло. Он смотрел на меня из того, другого, давно отошедшего от меня тихого мира, где еще не было бомбежек, и черных пожаров, и встающих из огня скелетов ангаров, и мычащих на дорогах недоенных коров, и гигантских раздутых трупов коней, он смотрел на меня из спокойного деревенского утра, в котором кричали петухи, цвели колокольчики и жужжали пчелы.

— Расскажите, как вы попали в окружение?

— Вместе с армией.

— Расскажите обстоятельства, как вы лично попали в кольцо?

— Я лично не попадал, я попал вместе с армией.

— Кто подтвердит? — Он смотрел мне прямо в глаза.

— Я шел один.

— А чем питались, манной небесной? — батальонный комиссар усмехнулся.

Из боковой двери тихо вошел офицерик и принес на подносе стакан чая в серебряном подстаканнике и вафли на блюдечке. Он пододвинул к себе стакан чая и позвенел ложечкой. Потом вынул из ящика какую-то коробочку, достал таблетку, положил ее на язык и запил из стакана чаем. Проглотив таблетку, он прислушался к себе, и так он сидел несколько минут и прислушивался. И все это он проделывал, будто он был тут один.

— А партбилет где закопали? — спросил он.

— Я его не закапывал.

— Сжег?

Я вынул партбилет, красную мокрую книжечку. Он взглянул на фотографию, потом на меня, небрежно перелистал, осведомившись, уплачены ли взносы.

— Номер партбилета? — спросил он.

Я сказал.

— В каком году вступили в партию?

Я ответил и на этот вопрос.

— Где получали партбилет?

— В Киевском райкоме Москвы.

— На какой улице райком?

— На Смоленской-Сенной.

— Номер дома?

— Номера не знаю.

— Где вход в райком?

— С Глазовского переулка.

— Кто секретарь райкома?

— Не знаю, они менялись.

Он снова перелистал книжечку.

— С какой суммы платили членские взносы?

Я назвал сумму от и до.

— Почему тут стоит двадцать копеек?

— Это я тогда получал стипендию.

Он положил партбилет возле себя.

— А почему вы не застрелились? — Он спокойно посмотрел на меня.— Коммунисты не сдаются в плен,— пояснил он.

— Я не был в плену.

— Советский человек приберегает последний патрон для себя.

Я смолчал.

— Был контакт с немцами?

— Один раз задерживали.

— Где, когда?

— На прошлой неделе, мы проходили деревню.

— Какую деревню?

— Названия не помню, на Полтавщине за станцией Яреськи. Мы проходили деревню...

— Кто это мы?

— Я и еще несколько человек, какой-то авиатехник.

— Откуда знаете, что он авиатехник?

— Так он сказал сам, и у него была летная форма, летная фуражка.

— Продолжайте.

— Так вот, был я, этот авиатехник, какая-то девушка и еще один боец. Мы проходили село. Я не хотел заходить в это село, мы стояли у крайней хаты, и я сказал: «Не надо»,— но авиатехник сказал: «Там нет немцев, разве вы не видите? В селе никого нет, мы разживемся хлебом, салом, попьем молочка». И мы пошли. А в это время

из одной хаты вышли немцы. Мы хотели пройти мимо и сделали вид, что не видим их, что нам все равно, есть они или нет, но от хаты закричали: «Але фир!», все четыре! — и один из немцев махнул автоматом. Мы подошли. Они стали нас обыскивать, сначала авиатехника, потом девушку, потом меня. В правом кармане у меня лежал завернутый в тряпку партбилет. Но человек, обыскивая, правой рукой залезает к вам в левый карман, и когда он залез и стал шарить в левом кармане, я в это время расстегнул кацавейку и он стал искать уже в пиджаке, а в правый карман так и не полез и не нашел партбилета.

— И они вас не расстреляли?

— Нет.

— А почему они вас не расстреляли?

Я пожал плечами.

— Не знаете?

Он внимательно поглядел в мое лицо. Я молчал.

— За вас ответило ваше молчание.

Я ничего не сказал.

— И вы хотите, чтобы я поверил вашей байке?

— Я говорю правду.

Он прицельно глядел в мои глаза, и я долго, и невыносимо, и бесконечно отвечал ему взглядом на взгляд, отражаясь в светлых зрачках. Наконец он устал или что-то решил про себя, и ему уже не надо было докапываться до чего-то там в моих глазах. И он стал перелистывать лежащие на столе серые, с фиолетовой машинописью страницы, будто там что-то было про меня.

— Какое задание получили?

— Они нас отпустили.

— Шифр, явка, связь? — быстро сказал он. — И не запирайтесь, лучше будет.

Я молчал.

— Как ушли из плена?

— Я не был в плену.

— Это мы уже слышали. Какое задание получили?

— Я вам сказал — я не был в плену.

— Мы все равно про вас тут все знаем.

— Знайте что хотите, но я говорю правду.

— Вот тут все равно все известно, — он перелистал страницы, лежащие перед ним.

— Так зачем же вы спрашиваете?

— Закон, — сказал он, — юриспруденция. — Он подвинул ко мне чистый лист бумаги, чернильницу. — Напишите объяснение, подробно.

Я написал все, как было, как мы стояли на окраине села, как мы пошли по улице, как нас задержали, и обыскивали, и отпустили. Пока я писал, он молчал, потом он прочитал с отвращением и пошел куда-то с бумагой.

Я сидел и смотрел в окно. Какой-то боец верхом подъехал к крыльцу. Он соскочил с коня и пошел в дом. Конь стоял у окна и смотрел в комнату на меня. Глаза у коня были грустные и замученные. Казалось, он понимает все, что происходит, он с сожалением беспомощно смотрел на меня. И мне стало себя жалко.

Перейдя у Дарницы Днепр, я миновал Сулу, и шел, и дошел до Ворсклы, но в Полтаве уже были немцы, тогда я повернул на Богодухов, к Харькову, но в дороге узнал, что Харьков оставлен, и пошел на Изюм, на Купянск, я сам себе сказал: «Дойду до Сальских степей, до Караганды, до границ Афганистана, но с н и м и не останусь».

Батальонный долго не возвращался, к крыльцу подъехал еще один верховой, быстро соскочил и взбежал на крыльцо. Через минуту из дверей стали выбегать майор, потом капитан, несколько бойцов с пачками бумаг и бутылками чернил, подъехала повозка, и на нее погрузили пишущую машинку и венские стулья.

А моего батальонного все не было.

По улице проскочил, не останавливаясь, камуфлированный броневичок, и на его броне лежали два автоматчика.

Стало совсем тихо. В доме ни шороха. Я почувствовал: что-то не то. Я встал и вышел в боковую дверь, куда батальонный ушел с моими бумагами. Там никого не было, валялись обрывки газет, сено. Дверь на заднее крыльцо была раскрыта. На огороде стояли чучела.

Я вернулся, взял свой партбилет и вышел на крыльцо, и пошел по дороге, среди брошенных повозок, беспризорных лошадей с седлами и без седел. Крестьяне-старики уводили коней в свои дворы.

Внутри было чувство щемящей грусти.

— На мышей не жалуетесь?

У дверей стояла женщина с крохотной красной мышеловкой, такой крохотной, что в нее бы ловить жуков.

— Мыша есть? Ловим, травим.

И она мне тоже показалась подосланной старухой. Я глядел на миниатюрную, какую-то трагедийную мышеловку и чувствовал себя в капкане.

Эта комната всегда казалась мне западней, куда меня загнали и откуда уже нет выхода. Но каждый раз после собраний я уползал в эту ненавистную с масляными стенами узкую комнату, в эту чадную нору, набитую прусаками и клопами. Все-таки это была единственная нора во всем городе, а может, сейчас и во всем мире, где я оставался один, один на один с самим собой, со своей гложущей тоской, с удивлением к дикости и бессмыслице того, что делали со мною, и с болью. И тут как-то отлеживался.

Предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить, было всегда, иногда оно как-то погасало, таяло, словно забывалось в карусели жизни, но на самом деле оно не исчезало никогда, оно только дремало, и снова наступал день и час, и оно овладевало тобой с новой силой, и снова ты ждал и ловил каждый взгляд и оглядывался на улице, заходил за угол и ждал, кто пройдет за тобой. И когда садился в такси, привычно глядел в заднее стекло, нет ли хвоста, и когда приходил в кафе или в ресторан и садился за столик и вдруг ловил на себе взгляд или замечал слушающее ухо, старался вспомнить, был ли тот уже здесь, когда ты пришел, или появился после тебя. Да, иногда это угасало, тихо таяло, но чтобы совсем исчезло, этого не было ни разу, оно жило, слегка покрытое пеплом, где-то в самой глубокой глубине, в тебе. Это был — ты.

Все время как-то беспокойно, отчего-то тревожно, чувствуешь вину без вины виноватого и ждешь наказания. Наказание неминуемо. Рано или поздно оно придет. Каждое утро — только отсрочка.

А теперь это случилось. Теперь уже не надо было, да и не было охоты волноваться, все потускнело и исчезло перед этим огромным.

Уже не было сил бояться, не было сил для страха, не было сил терпеть боль, стало все равно. Пусть все идет как идет, а мне все равно, по крайней мере уже не надо бояться.

Он стоял тут под окном, ходил на ходулях, заглядывал в окно, и некуда было деться, некуда спрятаться

Глава пятая

Я взглянул в зеркало, и лицо показалось мне чужим, отдаленным, из какой-то другой жизни. Может быть, всегда так бывает, когда долго глядишь на свое лицо, оно кажется чужим. Вот этот нос, эти брови, эти глаза, эти уши, это — ты? Это ты и есть? Который вечно разговаривает сам с собой, кричащий в себе, думающий в себе, каждый день, каждое утро все перелопачивающий в себе, заново продумывающий свою жизнь, строящий новые планы и варианты, и все остроумничающий в себе, все протестующий в себе. Сколько их, не произнесенных речей, парирования, не услышанных никогда криков возмущения и боли и тайных мыслей, никем не узнанных и похороненных, забытых навсегда!

Уговариваешь сам себя, жалеешь себя и мучаешься наедине с собой и все ждешь, и ждешь, и ждешь чего-то, все терпишь в этой надежде. В конце концов все стерпел. Ты и не заметил, как изменилось твое лицо, прозевал все изменения, привык к ним, примирился, и все тебе кажется, что ты тот же, что ты — это ты.

Неужели это я, тот, который гонял обруч по крутой Верхней улице: «Даешь Варшаву, берешь Берлин!», бежал с расхристанными книгами по длинной Гетманской улице в Пятую единую трудовую школу, тот, который сидел под зеленой лампой и осторожно переводил переводные картинки, там в старом, веселом и грустном доме на Златопольской улице.

Я и есть тот самый мальчик, который шел в пыльных, крикливых, безумных рядах и, поднимая дымящий керосиновый факел, орал: «Долой, долой монархов, раввинов и попов!»,— и которому все было нипочем, трын-трава, пропади пропадом: «Мы старый мир разрушим, мы новый мир построим».

С наслаждением простаивал дни в шумных прокуренных очередях у бурых, заплеванных стен Киево-Печерской биржи труда подростков, страстно мечтая стать слесарем-лекальщиком.

И это я приехал с Брянского вокзала и на подножке звенящего, дребезжащего трамвая по Бородинскому мосту, узким тесным коридором Арбата, через толкучку Охотного ряда выехал на Театральную, к белокаменному Большому театру, и вдруг мне показалось, что я уже тут был, что я, собственно говоря, всегда тут жил, все так было знакомо.

Потом это я, утопая, шел через болото Трубеж под немецкими мертвыми люстрами, и это я стоял перед собранием, а собрание выло.

Все это я. Я гляжу в зеркало и вечно узнаю и не узнаю себя. Сколько же жизней у человека, одна или тысяча, и тот маленький, кроткий мальчик в матроске, и тот юноша в галифе и сапогах кажутся совсем чужими, посторонними. Они бегут, дергаются, кричат, машут руками, словно участвуют в старом-старом фильме.

Охотный ряд со своими лабазами, с висящими на крюках красными мясными тушами, индейками и гусями в перьях и блинным чадом, книжные развалы у Китайгородской стены до дома Наркомтяжпрома на Ногина.

Звон переполненных трамваев, сирены красных пожарных автомобилей, цоканье пролеток, бестолковые крики пирожниц, мороженщиков, квасников, визг мальчишек с ирисками на лотках — от всего этого кружилась голова. И все время смятенное и тревожное ожидание нового, еще никогда не бывалого.

Москва была вся в траншеях. Кислый запах разрытой земли, неоцинкованных, ржавых, холодных на вид труб — все это я вдыхал с жадностью.

Я подолгу стоял у обшитых свежим желтым тесом вышек, странно и чуждо выросших посреди города, во дворах и на площадях, с жаждой, с завистью, с радостью наблюдал парней и девчат в широкополых шляпах, брезентовых робах и измазанных глиной резиновых сапогах, оттуда, из-под земли, подымавшихся на свет улицы, что-то таинственное, важное делавших там, под землей, а теперь вышедших на свет и гордо, независимо, не сливаясь с обыкновенной толпой и чувствуя себя рыцарями без страха и упрека, идущих по солнечной улице, непохожих на других.

Я тоже хотел работать под землей, в смутном свете оплетенных проволокой лампочек; тоже хотел лежать на спине и, держа над головой отбойный молоток, врубаться в землю, в камень, в глину, идти через плывуны и выходить наружу в широкополой шляпе, в робе, в измазанных глиной мокрых резиновых сапогах.

Сверкала, шумела, звенела трамвайным звоном узкая, подымающаяся в гору вечерняя Тверская, и ярко, ново, волшебно сияли неоновые трубки, полные светящегося газа, хлопали двери празднично освещенных ресторанов, парикмахерских, магазинов, кричали газетчики: «Вечерняя, Вечерняя...» Тучей валила возбужденная толпа.

Захваченный этим шумом, ярким движением, глубоко вдыхал я насыщенный электричеством воздух многолюдной улицы, с перебегающими, переливающимися оранжевыми и зелеными буквами, и, казалось, громче, резче в вечерних сумерках звенели трамваи, сигналили машины и плыли освещенные над городом облака.

Ах, боже мой! Вокруг празднично-ликующе, свежо и ярко сверкала, переливалась огнями Москва, светилась тысячами тысяч окон, уютных, трогательных. А я хотел в тундру, в Каракумы, на Северный полюс, чтобы мне было трудно, невыносимо трудно, на что потребовались бы все мои силы, вся моя неутолимая жажда жизни.

Сверху от Страстной по Тверской улице шла с факелами вечерняя демонстрация. Это был день МЮДа. Тогда еще не было того железного порядка демонстраций, когда Красная площадь на осадном положении и в центре вводится комендантский час; колонна с красными флагами шла свободно, лилась, как река, по улицам, и к ней можно было присоединиться и идти в рядах под плакатом «Долой Чемберлена!», и выйти на Красную площадь, к самой трибуне Мавзолея, и слушать речи.

Впереди шли рабочие ребята, фабзайцы с «АМО» и «Серпа и молота» в раскрытых косоворотках и кепках, рабочие-подростки тридцатых годов, те, что пойдут на рабфаки, те, что встали у красного знамени в самые юные, чувствительные и бескорыстные годы.

Я пошел за ними, и я стоял у Мавзолея, освещенный огнями факелов, и слушал речи. И когда кончились речи и погасли факелы, над Красной площадью взошел узенький серп стрелецкой луны, я остался один. Была уже ночь.

Я вышел на Большой Каменный мост. Миллионы освещенных окон были вокруг — вблизи и вдали,— словно звездное небо опустилось на город. Под мостом глухо шумела темная вода, и я слышал стук своего сердца.

И жажда учиться, и жажда работать под землей, и уехать на край света раздирали меня, и я не знал, куда податься.

Словно сквозь ватную стену услышал я звонок телефона.

— Это я, Аркадий,— закричали в трубку.— Ну как, дышишь?

Я ничего не ответил.

— Понятно,— сказал он.

Мы оба помолчали.

— Есть новости?

Я снова ничего не ответил.

— Понятно,— повторил он.

Мы еще немного помолчали.

— Хорошие или плохие? — осторожно спросил он.

Я молчал.

— Понятно,— сказал он.

Электрическая тишина линии давила на нас тысячетонной силой. В трубке, казалось, дышал кто-то третий, будто жевал бутерброд с осетровой спинкой.

— Ну, адью,— сказал он и повесил трубку. Я услышал короткие гудки. Я слушал, и слушал, и плакал.

Казалось, вся тоска, испытанная в жизни, собралась в этой тоске и весь ужас в этом ужасе, безнадежность дней и ночей в этой беспредельной, уже невыносимой и нестерпимой безнадежности.

И вдруг мне захотелось молиться, нет, не Богу, которого я не знал и не помнил и который никогда не являлся ни во сне, ни наяву, над которым с детства смеялся, а тому высшему, всевидящему, всепрощающему, той правде любви, которая должна же быть на свете, помолиться страстно, бешено, плача, рыдая.

Зачем же надо было гореть, спешить, дрожать от восторга, верить, любить, чтобы в какой-то дикий, бесприютный и беспросветный, в этот холодный сиротский день загнало тебя в этот каменный мешок.

Был дождь. На Сокольническом кругу под рогожами и мешками, сгорбившись, сидели на высоких козлах извозчики.

Один из них лихо натягивает вожжи, выпрямляется, и тогда падает рогожа, и выплывает мрачная фигура:

— Прокатим, гражданин подросточек...

По деревянным мосткам со стуком проходили одинокие прохожие. У водопроводных колонок гремела ведрами очередь. У забегаловок зажглись желтые фонари. Пробежал мальчик с книгами, перевязанными бечевкой, ученик третьей смены, и, оглядываясь, долго следил за извозчиком. Где он теперь, этот мальчик из третьей смены?

Теперь тот дождь кажется туманной сеткой времени, сквозь которую видится вечер, смутные фонари, освещенные окна домов, где сидят семьи за вечерним столом и откуда никто никуда не уезжает.

Как бы издалека доносится грохот колес по булыжнику, крики газетчиков, оглушительные сигналы редких машин и длинный жалостный рассказ извозчика в огромном, надвинутом на глаза картузе о коллективизации в деревне.

Выехали на большую широкую улицу. Ярко сквозь дождь горели витрины торгсина с желтыми манекенами в шляпах набекрень, провожавшими нас своими восковыми лицами. Цокали извозчики, звенели и дребезжали переполненные трамваи, тучей под зонтиками шли пешеходы, и над всем этим плыл пар, красноватый вечерний туман, и слышен был распространявшийся гул — колокольный звон церквей, и гудки новых серебряных репродукторов, и духовая музыка, все, что так радостно и гулко отзывается в молодом сердце, вызывает ответное чувство удесятеренной радости и жажды жизни. А я уезжал.

Поезд отошел от Ярославского вокзала.

Под мостом прошли освещенные трамваи, огни стали реже и какие-то тусклые, окраинные, заброшенные, а потом и они исчезли, и осталось вдали лишь освещенное небо.

В глубине темных полей — то бегущие к поезду, то убегающие от него огоньки деревень. И кажется, что зажглись они ради тебя, и трудно себе представить, что будут гореть и без тебя, просто сами по себе и ради себя, веселые и печальные огоньки деревень.

С грохотом пронесся встречный маршрут, и с этим грохотом как бы отрывается от сердца все, что было, и постепенно переносишься в новую жизнь.

Была осенняя, промозглая, пропащая мгла. Летели навстречу темные поля, перелески, дальние желтые, как одуванчики, огни провинции, и, похоже было, я уезжал назад, к своему детству.

Болотные замерзшие кочки, жалкие грустные кочки, прогалины, те же бревенчатые мокрые черные деревушки, избы с низкими окошками, в которые глядел еще протопоп Аввакум, и те же названия: Нижняя Палома, Нея, Свеча... Вот так корова стояла здесь и тысячу лет назад и о том же мычала.

Какое им всем дело, этим черным избушкам, этим людям у черных глиняных горшков с деревянной ложкой, до твоих фантазий? Видишь — тот же удивленный, с большими рачьими глазами человек, не понимающий, чего ты хочешь и зачем ты здесь, глядит на тебя в окно. Он знай хлебает своей деревянной ложкой и хлебает...

И поднималось сильное, горячее чувство — осветить эти избы с черными от дождя соломенными крышами, эти темные, будто упавшие с неба в болото, забытые всем миром селения, превратить их в города, привести этих людей в зипунах, в лаптях к новой жизни...

М о й стоял теперь не у ворот, а у края тротуара и глядел на новый многоэтажный дом на противоположной стороне улицы, на его большие окна и балконы. Думал ли он, кто там живет, или ему просто нравился этот новый дом, эти богатые балконы, эти роскошные, кружевные башенки украшений, и он знал, что там живут генералы и министры, и с уважением думал о них, и даже в мыслях не завидовал и не воображал получить комнату в таком доме. Насмотревшись на это новое чудо и насладившись высшей жизнью, он перевел взгляд на наши окна.

Знал ли он, где мое окно, муторно ли было ему ждать, и терпеть, и маяться тут, у ворот, в скуке ожидания. И любил ли он свое назначение, дорожил ли им и считал себя выше, значительнее всех других людей на том основании, что он следит за ними, а не они за ним? Или, может, ему обрыдла уже его власть, и он только и думал перейти на другую, тихую, не нахальную работу, где не надо мерзнуть на ветру, в безвестности, в ожидании нагоняя от грубого начальства.

Вдруг он повернул голову вправо и плюнул три раза, привычка у него была такая, или он что-то задумал про себя. Странно, этим он стал как-то ближе, совсем свой.

Еще сегодня утром я его не знал и он обо мне ничего не ведал, теперь не было для меня во всем мире более важного человека, чем он.

Вся моя жизнь, все, что я мог еще сделать, увидеть, испить, вся моя любовь, паника, страх, болезни, восторги, открытия были в его власти.

Я вспомнил еще одну дорогу.

Ночная дикая грязь, гром и молнии, казалось, война со всеми ее катюшами поднялась в небо, и там идет артподготовка. Аэродром с редко стоящими самолетами был пустынен, и слышно было, как ревут потоки воды по бетонным полосам.

Всю эту ночь и весь следующий день лил дождь, и небо было наглухо и, казалось, навеки сплошь задраено тучами. Ни один самолет не поднялся. Все аппараты стояли на поле. И кто спал, кто играл в кости, кто писал последнее письмо, а кто просто лежал и предавался воспоминаниям, и казалось, не будет никакого полета, никакой опасности. И вдруг во второй половине дня как-то незаметно, тихо дождь прекратился, небо посветлело, посерело.

Тучи еще висели над аэродромом, над ангаром и службами и над поселком, но там, на западе, открылось небо, чистое, синее, и солнце огромное, красное закатывалось за горизонт. И это ясное небо казалось твоей жизнью, которая могла бы быть, если бы не было этого полета.

Но нельзя сказать: нет, не хочу, смотрите, разве вы не видите, какое синее, обещающее небо, какой розовый, радостный закат, какой может быть жизнь. Я хочу жить.

Сонное заблудившееся царство аэродромной службы проснулось, ожило, замельтешило.

На длинных взлетных полосах загудели моторы, прямо по полю неслась заправочная цистерна.

Перед самым отлетом техник из аэродромного склада боезапасов выдал мне ППШ, новенький, еще в смазке, с одним круглым, как у ППД, диском, и еще несколько черных рогулек и патроны, которые ссыпал в зеленый холщовый мешочек. Техник помог мне зарядить диск, я вытер смазку паклей, вставил диск в автомат и тут же, у ангара, проверил бой. Машина работала исправно.

— Как бог,— сказал техник.

Я повесил автомат на грудь и пошел к самолету.

У «дугласа» стояла небольшая толпа, все были в брезентовых дождевых плащах с зелеными рюкзаками, некоторые держали в руках какие-то желтые деревянные ящички вроде адских машин.

Техник-лейтенант стал выдавать парашюты, прикрепил их каждому на спину и объяснил, как дергать кольцо. Парашют, как тяжелый рюкзак, лег и на мою спину. Горбясь, все стали в очередь к трапу.

У трапа стоял офицер со списком и у каждого, входящего в «дуглас», спрашивал фамилию, проверяя по списку. Все фамилии были польские. Я понял, что это были диверсанты в Польшу. Я в очереди был последним, и офицер, спросив фамилию, принял меня тоже за поляка и ободряюще сказал:

— На родину?

В самолете было темно и холодно, и одуряюще пахло бензином. Я пробрался между зелеными патронными ящиками, ворохом связанной одежды — ватников, шинелей, сапог — и сел на зеленую железную скамью. У турельного пулемета стоял стрелок в синем авиационном комбинезоне и заправлял в пулемет ленту.

Из кабины вышел высокий летчик и спросил:

— Все?

Кто-то снаружи от люка сказал:

— В порядке.

Мы улетали за Минск, а фронт был у Орла, только вчера взяли Орел.

Летели над темной землей без единого огонька, города и села, и железные дороги, как Атлантида, утонули на дне океана. Стрелок стоял у турельного пулемета, следил за небом, и, казалось, он призван сбивать звезды. Только подлетая к фронту, увидели первые огни, линия фронта двигалась по земле зигзагообразно огненной пилой. Нас заметили, и оранжевые трассы расцвели вокруг, и в самолете стало светло...

И тут вдруг меня окатило потом. Пистолет! Я не сдал его тогда, сразу в мае 1945 года, в сверкающем, ликующем мае, когда все было можно, все было позволено и, казалось, вечно, всегда все будет можно и все будет позволено.

И шли и дни, и месяцы, я вспоминал и забывал, а может быть, жалко было его сдавать. А потом уже было поздно, уже вокруг была стена. Уже никак нельзя было прийти и сказать: «Вот!» — и протянуть пистолет. То же самое, что протянуть бомбу с догорающим фитилем и сказать: «Пожалуйста!» И шли дни и месяцы, а потом и годы, теперь только можно было его разобрать на части и выкинуть. А куда выкинуть? В мусорный ящик на задний двор? За случайный забор? Самое подходящее место — колодец, но на сто верст кругом не было колодца. И вот — доигрался! Я достал бельевую корзину и стал выкидывать книги, газеты, старые носки, тряпье, мотки проволоки, на дне лежала сморщенная кобура. «ТТ» показался очень тяжелым, от него пахло кожей, старым лежалым железом, ужасной угрозой.

И в это время тройной стук в дверь и голос:

— Милиция.

И будто упали стены, и стоял я голый перед всем светом. И даже не успел подумать, как же это все быстро узнали, в ту же минуту, в ту же секунду уже оказались на пороге.

Как шар, загнанный в лузу, забитый намертво колом, стоял я в углу, не шелохнувшись.

Стук повторился.

Я накрыл пистолет газетой и, словно лунатик по краю крыши, двинулся к двери, и не своей, как бы замерзшей чужой рукой снял крючок.

На пороге стоял милицейский капитан в новой фуражке и щегольской синей шинели, как-то особенно выглаженный, особенно аккуратный, какой-то даже опереточный, словно из кинокартины студии юношеских и детских фильмов, и в комнате запахло «Ландышем», а за ним гражданский тип в мальчиковой кепочке на макушке, в мальчиковых ботинках.

— Здравствуйте,— капитан улыбнулся, и от этой улыбки еще шире волнами распространился в комнате запах «Ландыша», а тот, что был за ним, как только вошли, выдвинулся, вынырнул из-за широкой, мощной спины капитана, из-за пижонского торса, в мальчиковой пестрой кепчонке, незначительный такой, вредненький, и сделал странное круговое вращение головой, словно сразу вобрал в себя комнату со всеми ее углами, а потом поглядел на меня и вобрал и меня с головы до ног, со всеми потрохами и недозволенными мыслями и ужасающими интеллигентскими сомнениями.

— Проверка документов,— сказал капитан,— паспорт, пожалуйста.

Я пошел к пиджаку, висящему на стуле, и достал паспорт. Все было как во сне.

Капитан аккуратно перелистал паспорт и заглянул на какую-то интересующую его страницу. Но она была чистая и непорочная.

Кепочка небрежно оглядывала потолок.

— А кто тут еще живет? — сказал капитан, не выпуская паспорта из рук.

— Я один.

— А кто еще прописан? — спросила кепочка.

— Он же говорит, что один,— сказал капитан.

Кепочка небрежно оглядывала стены, и вдруг взгляд его задержался на столе с горбившейся на нем газетой «Известия» и таившимся под ней ТТ. И казалось, от одного этого взгляда ТТ сейчас даст спуск, начнет стрелять в стены, в живот, в ноги, куда попало, пока не разрядит всю обойму. Я осторожно повел за взглядом и понял, что он, не отрываясь, глядит не на газету, а на крохотный, только недавно по комиссионному случаю приобретенный немецкий приемничек «Харнифон», ловивший весь мир на длинных, средних и коротких волнах.

— Трофейный? — спросила мальчиковая кепочка.

— Немецкий.

— И на всю катушку берет?

Я смолчал. Может быть, из-за приемничка, из-за этого чудо-«Харнифона» они явились, хотя я и пользовался им осторожно, сугубо под вой радиоточки, передававшей «Запрягайте, хлопцы, кони», приблизивши к шкале ухо, пытаясь сквозь троекратную забиваловку и сквозь вой, трескотню и пиликанье, зверское бормотание на всех языках, сквозь веселящий газ, джазовое безумие мира, и снова, поверх, покрываемые троекратной забиваловкой, выловить информацию, ту раздражающую и все-таки ловимую русскую далекую речь, которая сразу по тону, по тембру, по вибрированию, по придыханию отличалась от однообразного, дистиллированного голоса наших дикторов. Может, это ночное пиликанье, этот шорох и достиг ушей Свизляка, и он написал куда следует, а куда следует, он знал.

— Игрушка зарегистрирована? — спросила кепочка.

— Еще не успел, я ведь только вчера приобрел.

— Вчера? — удивилась кепочка и покачала головой.

— Надо закон исполнять,— сказал капитан и усмехнулся, прямо одурманивая «Ландышем».

— Правильно, правильно,— согласился я.

— Законы для этого и пишутся, чтобы их граждане исполняли, не вольничали,— все так же улыбаясь, сообщил капитан.— Ну, извините за беспокойство.

Он взял под козырек, и кепочка тоже неожиданно приложила два пальца к виску, и они вышли в коридорчик, я услышал стук в соседнюю дверь.

— Милиция.

Почему они явились именно сейчас, это случайно, или они связаны с тем, который ждет меня на улице? Что они хотели проверить, дома ли я? Все шито белыми нитками, нельзя же так грубо работать. А может быть, это действительно случайно, может быть, это совпадение? И я усложняю. Но почему именно сейчас? Почему такое роковое совпадение? Или мне это так везет? Нет, это, наверно, случайно, ведь они вошли в другие комнаты, они и там громко спрашивали документы, но как-то лениво, нехотя, каким-то нарочным голосом.

Я смотрю на телефон, мне кажется, кто-то в нем поселился и смотрит на меня, и слушает мои мысли.

Звонок, еще и еще, и еще, и еще. Комната как бы вся наполнилась звоном, звенели чашки, и звенела электрическая лампочка, еще и еще... Кто-то там упорный и упрямый, настырный, еще и еще, и еще...

Я поднял трубку.

— Да-а-а!

Никто не ответил. Я прислушался. Гудело пространство.

Проверяют, дома ли я. Но куда я могу деться? Что, просочиться сквозь стену, растаять в воздухе, прыгнуть с крыши на крышу или убить себя?

Я выглянул в окно. М о й стоял у ворот и курил. Выкурив папиросу, он бросил ее щелчком в урну и пошел к краю тротуара, переждал поток машин, и когда последняя прошла, шагнул на мостовую и стал спокойно переходить улицу. На той стороне он опять стал на краю тротуара и стал смотреть на наш дом, на окна, на какой-то миг наши глаза будто встретились, он утер рукавом нос, потом подтянул штаны, повернулся и спокойно пошел к телефонной будке.

В будке медленно набрал номер, обождал, пока ему ответят, и потом что-то долго, спокойно и серьезно говорил. Выкладывал ли он начальству свои наблюдения, умозаключения или, может, тете рассказывал о своих детях, какие отметки получили, он что-то послушал и повесил трубку. Потом он немного постоял в будке, не предпринимая никаких действий, затем набрал еще какой-то номер и на этот раз, заговорив, сразу же стал смеяться и все время, пока разговаривал, смеялся. Рассказывали ли они друг другу анекдоты, или вспоминали что-то свое, очень веселое, или просто трепались, а может, он рассказывал обо мне, и это было так забавно, что его разбирал смех. Но вот он, отсмеявшись, повесил трубку и вышел из будки. Он вынул пачку папирос, закурил на ветру, с горящей папиросой перешел улицу на эту сторону, и снова пошел к воротам, и терпеливо и безразлично глядел на прохожих, а они на него не глядели.

Садовая грохотала и содрогалась от движения машин, и в живом потоке то и дело проносился засыпанный снегом грузовичок с черным крепом на кумаче по борту. Он пролетал с серебряным глазированным гробом и неживыми цветами венков, а вокруг на стульчиках, расставленных, как в зале заседаний, сидели скорбящие, глазели на окружающее, разговаривали и смеялись. И сразу же впритык, без границы жизни и смерти, автоцистерна — «Живая рыба».

Что-то именно сегодня столько похорон, или это каждый день, или сегодня я особенно чувствителен к ним? Здесь, по Садовой, через Смоленскую проходит великий московский похоронный путь к Зубовской, а там правый поворот на Пироговку, мимо особняков, мимо медицинских корпусов к красно-кирпичным стенам Новодевичьего, в тупик.

Грузовичок с черным крепом на борту весь день мелькает в общем потоке, и уже кажется, это одни и те же похороны кружатся, кружатся по городу в этот темный, желтый день.

Поздно зимой поднимается солнце из-за Соколиной горы, и встаешь еще в темноте, и алые дымы медленно плывут к замерзшему, застывшему изумрудному небу с утренними бесцветными звездами, и идешь по окаменевшей тропе от соцгорода к заводу, и далеко слышен скрип шагов.

Нет ни улицы, ни дороги, лишь одинокие, странно разбросанные в снежном поле красно-кирпичные дома.

Я перехожу по тонкому шатающемуся мостику через темную, угольную, парящую на морозе Абушку на Нижнюю Колонию.

Я уже привык и к этой длинной, в разъезженных колеях, несуразной улице темных, низких, длинных бараков с мокрыми серыми рубероидными крышами, скорее лагерной, чем городской или поселковой, к их казарменному запаху хлорки, гремящему на веревках белью, синим угарным дымам печурок.

Я иду мимо длинного темного барака — бани, откуда, свистя, вырывается пар и голые выбегают из парной и ныряют в сугроб, угарно тянет золой и березовыми вениками.

Потом желтый, аккуратный барак госбанка с массивными решетками на окнах, на крыльце вахтер в тулупе и валенках, с винтовкой и фонарем «летучая мышь». На высоких двухколесных драндулетах по двое подъезжают инкассаторы в брезентовых плащах поверх полушубков, с пистолетами на ремне, и пока один, соскочив, стоит у драндулета, другой вытаскивает из-под сиденья брезентовые мешки с деньгами.

Потом столовая, с неизменным красным винегретом в буфете, пшеничными битками и гнущимися оловянными ложками, на которых отштамповано: «Украдено на фабрике-кухне имени Бабеля».

И дальше школа в крашенном известкой бараке. Дети в пальтишках и полушубочках сидят в длинных, узких, холодных классах с самодельными черными партами, окна занесены снегом, и электричество горит с самого утра. Учитель стоит у доски в ушанке и в перчатках.

В тесной каморке почты было накурено, кисло пахло кожухами, мокрыми ватными халатами казахов, штемпельной краской, горячим сургучом. За перегородкой беспрерывно стрекотал аппарат Морзе.

Я получил небольшую, мягкую, суровыми нитками зашитую в холст посылочку. Она была какая-то домашняя, уютная. Я взглянул на обратный адрес, и больно защемило сердце от этого знакомого старательного почерка фиолетовым карандашом.

Я нес эту нежную домашнюю посылочку мимо желтых котлованов, гор красного кирпича.

— Кореш,— окликали меня,— от папы-мамы?

Рядом тянулись грабарки с замерзшей, клочковатой глиной, шли пегие, бурые костлявые клячи. Грохотали бетономешалки, и в тумане по желобам лился теплый раствор, пахнущий парным молоком. Жужжали деррики, пронося на длинных стрелах по воздуху стальные фермы. Со всех сторон вспыхивали синие молнии автогена.

Я шел с мягкой домашней посылочкой. Что бы это могло быть? Прихожу в барак. Разрезаю нитки, развертываю мой старенький, в рубчик, цвета маренго, с паточкой сзади, костюм, который, уезжая, оставил там. Как странно пахнет прошлой жизнью, нашим шкафом, маминым клетчатым платком и почему-то шалфеем.

Я равнодушно вдыхаю запах посылочки. Ну, к чему мне сейчас этот в рубчик, маренго, костюм с паточкой сзади?

Я смотрю в низкое, хмурое, заплаканное окошко из зеленого стекла, на темную, пустынную улицу, на дождь, на грязь, невеселое, низкое, серое небо. Неужели там, дома, сейчас в нашем саду шумит дождь, и знакомые люди проходят по улице под зонтиками, в глубоких галошах, и входят в дом, и говорят: «Здравствуйте, как живете?»

И как-то странно, что я здесь, и эта деревянная клетушка с треногим, залитым чернилами столом — мой кабинет. И слышно, что делается во всем бараке, как стрекочет машинка и кто-то диктует и рубит: «Абзац, абзац, абзац!», и в прихожей сдают объявление, и технический секретарь бубнит, подсчитывая слова.

Темное небо время от времени освещалось багровым сполохом, таинственным светом...

Теперь остался только этот желтый сумрак, гудение улицы, дребезжание стекол. Господи, как же это все-таки случилось, что загнало тебя в эту камеру и от всего света, от всех, кого ты любил и кто тебя любил, в последний срок остался только этот Свизляк, верблюд, и еще Голубев-Монаткин с головой дыни, и эта адская курчавая семья, и дворник Овидий с бельмом на глазу.

Глава шестая

Я лежал на кровати, и упорно казалось, что все это не со мной, а с кем-то другим. Я опять отделился от самого себя и стоял где-то в стороне и наблюдал за тем, кто был я, как он лежит на кровати, в этой комнате, сотрясающейся от гула и грохота движения, и ждет, ждет, что за ним придут, и даже когда того заберут и поведут, я, тот, который наблюдаю, буду цел и буду только следить за тем, которого повели.

И все время казалось, что кто-то подслушивает у дверей. Я встал, тихо подошел к двери, осторожно снял крючок и со всей силой бешено ударил в дверь. Она раскрылась и хлопнула, как выстрел, но в коридоре никого не было. Я снова лег на кровать, и снова казалось, что кто-то подслушивает.

Я чувствовал, как текло, проходило, двигалось само время, словно заработал будильник, отсчитывая секунды, или это стучало сердце.

Я услышал потерянное время, те тысячи дней, тысячи, тысячи часов и минут, которые текли, сыпались, как песок в песочных часах, медленно, но неумолимо, беспрерывно и продолжают сыпаться, и придет день, и все пересыплется до последней песчинки.

Я лежал на чужом матраце, из которого еще при жизни старого владельца вылезли со всех сторон пружины, и думал о своей жизни и о том, как неудачно все сложилось именно у меня, а может, это так со всеми, но только каждый думает, что это только с ним.

И все ищешь ошибки в жизни, где и когда именно ты сам допустил ошибку. Делаешь расчет, как бы все могло сложиться, если бы вот тогда-то и тогда-то поступил бы иначе и поехал не туда, куда поехал, а совсем в другое место, если бы в самом начале жизни на твоем пути встретился человек, который все знает, и в самом начале пути научил тебя закалке и читать лучшие книги, и дорожить временем, и не терять на чепуху, на безделье, на бедлам ни минуты, и ценить то, что действительно ценно, этот мифический, небывалый, добрый и великий человек, учитель, который на самом деле никогда и никому в жизни еще не попадался, и каждый доходил до всего сам, и делал все ошибки, и к концу понимал, что профорсил или промотал жизнь.

А может, на самом деле ты совсем не виноват, и как бы ты сам ни распорядился, все равно лежал бы вот так, уткнувшись в подушку и безвольно думая о своей жизни, когда вся жизнь кажется цепью сплошных ошибок, и неудач, и несуразностей, и унижений.

Зазвонил телефон.

— Здравствуй, малыш, какие у тебя планы на вечер?

— Не знаю,— сказал я.

— А кто знает? — спросила она.

— Во всяком случае, не я.

— Дорогой мой, я вижу, вы не в настроении, примите какое-нибудь лекарство, отдохните, я вам через два часа позвоню.

И частые гудки отбоя.

Теперь я стал думать о девушках, которые у меня были.

Душный, черный вечер, какие только бывают на Апшероне, и была кривая, узкая, как ручеек, раскаленная дневным солнцем, иссушенная нордом азиатская уличка, тупик, который никуда не вел, и он так и назывался Глухой переулок.

Окно этой узкой, каменной, темной комнаты было настежь открыто, но это все равно, что оно было открыто в накаленную печь, в которой пекли чурек.

И на той стороне глухого переулка окно тоже было открыто и одуряюще пахло жареным луком и сладкими вафлями. И совсем рядом, как в зеркале, мелькали бесстыжие тени в длинных рубахах, и тайная жизнь дома словно была выворочена наизнанку.

Она была низкого росточка, веселая, румяная, пышная. Мы с ней только днем познакомились в чахлом скверике на парапете. Она была замужем. Я был грустный, прыщавый юнец, в расхристанном апаше и галифе, заправленных в брезентовые сапоги. Вдруг она подняла руки, и обняла меня за шею, и поцеловала сладкими, липкими губами, и почти неслышным шепотом, почти одним дыханием, сказала наяву слово: «Хочешь?» — как осколочная бомба, контузившее меня.

И острое, глубокое, всеобъемлющее, почти болезненное, почти обморочное содрогание, и это было бесконечно и навсегда.

И подушки лежали на полу, и простыни были влажные от пота, и никелированная чужая ветхая семейная кровать скрипела и визжала, и чужое зеркало мутно отражало две тени.

И это было только начало, самое раннее начало тех мук, и радостей, и опустошающей печали...

Я потерял ощущение времени. Зимний день тянулся бесконечно. Я засыпал, и мне что-то снилось, может, я стонал во сне, я, наверно, стонал, потому что каждый раз, просыпаясь, как бы слышал оттуда, из той неведомой потерянной страны, что-то вроде эха только раздавшегося стона. И за окном было серо, зимне, я прислушивался и вспоминал, где я...

...Сквозь грохот улицы, дребезжание стекол, привычные знакомые шумы квартиры, гудение водопроводных труб, хлопанье дверей я вдруг уловил шаги, скрипящие, осторожные, шаги в маленьком коридорчике в направлении комнаты. Значит, вот как это бывает — тихо, просто, грубо, и нет спасения.

Я не слышал, как они открыли дверь. Они появились в комнате неслышно и неожиданно, из стены.

Я лежу на постели, а они стоят надо мной: сухие, поджарые, почему-то в зеленых пограничных фуражках, и я говорю им не голосом, не звуком, а мыслью говорю: «Так вот как это бывает». А они молчат, они ждут... Один из них вежливо взглянул на меня и усмехнулся.

Я уже понимаю, что это сон. И, как бывает в повторяющемся сне, который давно и долго мучает тебя, молишь, чтобы это на самом деле был сон, и на этот раз сон, и все кончилось бы благополучно. И тут, в тот час же я узнал, что это снова игра сна.

Я перехожу из круга в круг.

Я приезжаю на извозчике на вокзал, знакомый старый желтокирпичный вокзал — «первый класс», «второй класс» и черная багажная касса, и почему-то одновременно он новый, модерный, из бетона и стекла с цветными витражами. И пахнет в нем уютно, самоваром, дубовыми скамьями, грузовыми дубликатами, детством, и тут же деловая, в лозунгах наглядной агитации комната партбюро, и там почему-то сидит школьный товарищ, по-детски круглолицый, но в ополченской темно-серой гимнастерке с узким пояском и серых обмотках. А я в длинной, до пят, юношеской кавалерийской шинели, и мы оба идем рядом, рассуждаем о теории отражения и ищем извозчика.

А потом я стоял у стола президиума, покрытого красным кумачом, с зеленоватым графином воды, и меня прорабатывали. Помещение было знакомое. Высокая, обшитая деревянными панелями зала, с галереями и резными потолочными балками. И тот горбатенький, с красными глазами кролика, все время кукарекающим голосом задавал один и тот же вопрос: «А сигналы были?»

Я вижу новый, светлый дом с большими окнами и заколоченной еще со времен погрома парадной дверью, перевезенный в иные края, куда-то на берег южного моря, и живут в нем отец и мать, одни, на чужой улице, на незнакомом, чужом берегу. Давнишний, милый, родной, до конца дней моих родной дом, с теми же памятными комнатами — вот комната с красно-бордовыми стенами, и голубая детская с лилиями на стенах, и светлая, желтая столовая, и веранда, и гулкая новая лестница на чердак, и каменная холодная лестница в погреб. Только дом вдруг стал как-то меньше, будто ушел наполовину в землю, старенький, глиняный, облупившийся, с оголенной дранкой.

Глаза того, который пришел, проступили сквозь туман, сквозь мглу сна, бесконечно чуждые, твердые, спокойные, стальные, внимательные. И лицо его, острое, как нож, безжалостное, не понимающее, что такое снисхождение.

И тогда тот, кто был я, сказал, может быть, не словами, а мыслью: вы можете изнурить мою душу страхом, чувством вины, не понятой и не осознанной из-за каждого сказанного и даже не сказанного слова, поступка, мысли, взгляда. Этого вы, наверно, добились, и вы это знаете, и учитываете, но превратить меня в подлизу, в подлеца нет у вас сил, и вы это тоже знаете и учитываете.

И в это время я увидел его глазами самого себя, жалкого, сонного, беспомощного, на матраце с выскочившей пружиной, на нечистой, замусоленной наволочке. Так вот как это бывает, опять подумал я, и в то же время хрипло и глухо спросил: «В чем дело?» — и проснулся.

И, как всегда после дневного сна, некоторое время я лежал ошеломленный, невесомый, не чувствуя времени, не понимая и не ощущая, где я, кто я, что я, и какой это город, и какой год, будто только родился, будто лежал распростертый, распятый, будто поднялся из гроба.

Лишь постепенно сквозь ошеломленность и невесомость приходило чувство реальности и тяжести бытия, и впереди, как ветерок, бежало ощущение случившегося несчастья, только ощущение, намек, пока наконец земное притяжение не навалилось на меня удушьем. И я сразу вспомнил все.

Первое, что я услышал после оглушения сном и забытьем, было радио. Оно привычно бубнило там у себя за стеной знакомым, перегорелым, безучастным голосом. И не хотелось, и незачем было вслушиваться в слова, те же, что и вчера, и позавчера, и в прошлом году, ничего не значащие, слова-вата, слова-пустышки, слова — горох об стену.

Постепенно начинало казаться, что произносит их и не человек. В голосе не было ни интонации, ни характера говорящего. Казалось, что это кукует раз и навсегда заведенная черная тарелка репродуктора, все равно, слушают ее или не слушают, и никогда она не замол-

чит, и так будет всегда, всю жизнь. И казалось, если даже все умрут, она будет все так же ровно, спокойно, чисто и невозмутимо вещать, и недоумение и бессилие медленно овладевали мною.

И тут вдруг я понял ясно то, что уже давно подспудно чувствовал, ощущал, душевно знал. Не надо было начинать все это тогда, давно, еще в мальчишеские юные годы, не надо было входить в этот круговорот, ввинчиваться в эту воронку, в эту пустомельную мельницу, сидеть на собраниях и обмирать от страха, иссушать нервы страхом и непонятой виной, а надо было с самого начала заниматься только своим делом, с самого начала читать, читать и читать, и наблюдать, наблюдать, и работать, только это и делать, читать, наблюдать и работать, и жить вовсю, жить той ежеминутной, ежесекундной жизнью, которую я презирал, третировал, легкомысленно пропускал, надеясь все на будущее, на завтра и послезавтра, оставляя все на потом, и опомнился, когда уже не было этого потом, когда тот, кто дал эту единственную жизнь, уже разверз уста, чтобы сказать: «Пардон, хана!»

Припоминая подробности только приснившегося сна, я не то что подумал, а скорее ощутил: а не есть ли вся жизнь сон, своеобразный вид сна? Ведь все, что было, что, казалось, было, и тот, как бы из другой жизни, дом, с широкими, светлыми, ярко промытыми окнами, и сад с тихими, заросшими подорожником тропинками, и школа там, на Замковой улице, двор, заросший мягкой травой, просторный для игры, и учителя, имена которых вдруг так ясно всплыли, будто черным отпечатались на стене: Дмитрий Семенович — учитель истории, которого звали Свечкой, и Аделаида Степановна — учительница ручного труда, с громадным, как сак, ридикюлем, по кличке Танк. Бывало, когда на уроке очень шумели и не хотели ее слушать, она раскрывала свой ридикюль, вытаскивала клубок шерсти и длинные, сверкающие вязальные спицы и предоставляла классу делать все, что он хочет. И мальчики, сидя верхом на партах, свистели в карандаши, гребенки, надували резиновые «уйди-уйди», вскакивали на парты, изображая рыцарей, трубочистов, черта, Наполеона, все, что им вздумается, а Аделаида Степановна проворно вязала капор, ничего не слыша и не видя. Ведь ничего, ничего от всего этого не осталось. Нельзя даже доказать, что это было. Чем же все это отличается от сна? Такое же хрупкое, недолговечное, призрачное, такое же ускользающее, умершее. И может, этот серый, тусклый, больной день и этот, в жалкой котиковой шапке у ворот,— тот же сон, и это все пройдет, не оставив после себя ни пепла.

Ах, если бы те, которые так в жизни суетятся, так волнуются и, отталкивая всех, ступая по живым и мертвым, пропихиваются вперед, если бы они только на одну минуту представили себе эту, ими так ценимую, так яростно лично любимую жизнь как призрачный сон, может быть, они бы задумались? Может быть, и они стали бы тише, кротче, не так бы толкались, не пихали бы других, не прыгали бы на ходу в вагон или хотя бы перестали царапаться.

Все чаще и чаще жизнь странно казалась сном. Вдруг чувствую, уже был этот день, тот же зимний свет и дальние в снежной глуши голоса, и в какой-то отстраненности прошедшая вся жизнь кажется волшебными картинками, зыбкими и несуществующими. И, может, еще раз эти картинки покажут, когда уже никого не будет в живых это помнящих, даже память о них развеется в звездную пыль, в другое миллионолетие, или, может быть, даже на другой планете, будет точно такой же, как ты, мальчик, с таким же лицом и характером, все повторится, те же радости, и обиды, и ошибки, и пороки, и угрызения совести, и все это на самом деле будет только отражением где-то, может быть, существующего, вечного и непреходящего,— мелькающая тень, не стоящая волнений и переживаний.

В дверь постучались, а может быть, даже и не постучались, может быть, это мне только показалось, нет, кто-то тихо, робко скребется в дверь.

— Кто там? — вскрикнул я.

— Открой, ну что тебе, жалко,— заскулили за дверью.

В коридорчике стоял и улыбался худющий, почти плоский, словно вырезанный из фанеры подросток в полосатой пижаме и черных нитяных перчатках. Это был сосед Паша, перчатки он носил, чтобы не приставали бактерии, и никогда, даже во сне, их не снимал.

Вся квартира считала Пашу малахольным. Никто не знал его мальчиком, не видел, как он пулял из рогатки по воробьям или пинал футбольный мяч, целясь в окна, как в ворота, не видел учеником, бегающим с портфелем в школу. Паша переехал сюда таким же длинноногим подростком, со своей вечной, непонятной малахольной полуулыбкой на устах, то ли он смеялся над вами или, наоборот, над самим собой, а может, над всем светом в целом. Весь день Паша в пижаме и черных нитяных перчатках читал старые книги в кожаных переплетах, у него был целый сундук таких книг, или сам с собой играл в шахматы, вслух комментируя ходы обеих сторон: «А вот я хлопну ладью!» «Не торопитесь, она вот куда пойдет, каково теперь вашему ферзю»,— и хихикал, а ночью приходил и говорил: «Подвинься, я накормлю мышей». И я стоял босиком, пока он отодвигал кровать и каким-то особым, тихим, ласковым свистом вызывал мышей, и после я уже не мог уснуть и слушал, как питались мыши, они шуршали, как черви в шелковичных листьях.

— Скажи, пожалуйста, есть у тебя промокашка? — спросил Паша.

— Нет у меня промокашки.

— Ну, тогда дай мне четыре наперстка хлеба.

Он малахольно взглянул на меня.

— Нет? Ну тогда одолжи до вечера электрическую лампочку.— Он странно улыбнулся.

И вдруг мне показалось, что он знает такое, о чем никто, кроме него, и не догадывается. И мне стало жутко оставаться наедине с его полуулыбкой-полугримасой.

— Иди, иди, Паша, ничего у меня нет.

— Ну, тогда дай звякну.

Не снимая черной перчатки, он осторожно, и внимательно, и чудовищно медленно, словно ему не только надо было вспомнить цифру, но и сложить ее с предыдущей и последующей в одну сумму и что-то из нее еще вычесть, набирал номер, и когда ответили, сказал:

— Это я, гы-ы...

Значит, в этом огромном миллионном городе была одна душа, которая интересовалась Пашей, кому-то же он посылал свой импульс, кто-то же слушал его «гы-ы».

— Как цивилизация? — спросил Паша, и лицо его сделалось сосредоточенным и внимательным.

Что-то там ответили, Паша слушал, а потом сказал:

— Деградация населения города Москвы, ну, лады! Гы-ы...— И положил трубку.

Айсоры влетели без стука, с криком «Извиняюсь!» и сразу кинулись к телефону, словно вызывать «скорую помощь». Но, прикоснувшись к телефону, как символу цивилизации и высокого мира, сразу успокоились и серьезно сказали:

— Надо!

И, набрав номер, вырывая друг у друга трубку, запустили пулеметную ленту из невообразимого хаоса непонятных халдейских слов, похожих на осколки, на ошметки некогда жившего, разрушенного и погибшего, похороненного под пылью веков языка, и из этого потока все время вырывалось: «Участковый», «шашнадцать».

Я оглох от их крика и возбуждения. И когда они ушли, мне показалось: я перенес приступ истерии.

Глава седьмая

Затухающий свет зимнего дня медленно, как сквозь сито, цедился в заляпанное грязью проезжавших машин, да к тому же еще промерзшее окно.

Мой не отходил от ворот. Он вынул из кармана какие-то бумажки, были ли то почтовые квитанции, или, может, какие-то случайные телефоны, или бумажки, в которые завернуты были бутерброды, или купленный по дороге казинак. Он бумажки эти просмотрел, некоторые разорвал, некоторые скомкал, и пошел, и бросил в урну, а одну бумажку аккуратно сложил, спрятал во внутренний карман и застегнул на пуговку. Наконец он вывернул желтую подкладку кармана, вытрусил и снова привел в порядок, и какое-то время мирно стоял, поглядывая на наши окна, и даже пару раз зевнул.

Я продолжал его наблюдать.

Вот он повернул руку, посмотрел на часы, приложил часы к уху, послушал и медленно стал заводить, обнаруживая спокойный, несуетливый характер. Я даже издали мог посчитать, что он прокрутил тринадцать раз. Закончив завод, он снова послушал часы и на некоторое время успокоился.

Неожиданно он отклеился от ворот, оглянулся и быстрым, энергичным шагом дошел до угла и таким же быстрым шагом вернулся к воротам, и снова до угла, и назад, и опять неподвижно стал у ворот, слился с грубым суриком. Была ли это физкультминутка, или почему-то надо было ему выяснить обстановку и обследовать окрестности, или просто затекли ноги, замерз, бедолага, в своем фальшивом, негреющем котике у чужих ворот.

Теперь он очень внимательно смотрел на свои боты. Сначала он изучал правую боту, а потом левую, потом поставил их рядом и окинул общим взглядом. Может, неудобно, неуютно, тесно в новых казенных ботах? Ведь там, в том хозотделе или магазине, где он их получал, не особенно придирчиво примеривают. Или, может, он натер ногу, или ему вдруг просто захотелось пошевелить пальцами, и вот он в это время как раз исполняет ритуал, это действие наслаждения, и прислушивается к нему, и получает спокойное удовольствие.

Вот он снял перчатки и подул на пальцы, и затем, заложив руки в рукава, согревал их собственным телом, и так стоял долго, не шевелясь, весь уйдя в свое тепло.

Я выглянул на черную лестницу. Было тихо, холодно, накурено. На средней площадке стояли два подростка в кепочках-бескозырках, пыхтели сигаретками и молчали.

— Сколько сейчас, три? — спросил один.

— Три,— ответил второй.

— У, твою мать,— откликнулся первый.

И опять была тишина.

Я снова лег на кровать. И все видел наяву.

Как позвонят длинным-предлинным звонком, и как все спят, один я не сплю и знаю, что это за мной. Звонок повторяется, а я медлю, не пойду, ни за что не пойду. И уже беспрерывный звонок, словно у дверей остановился трамвай и его не пускают, и тогда хлопанье дверей по всему коридору, шарканье, шлепанье ночных туфель, шепот, потом звон цепочки, открываются входные двери, и я, кажется, слышу ветер с лестницы и чужой громкий, призывающий голос: «Идите к себе в комнату», и потом тишина, тогда я слышу стук собственного сердца, и ясные приближающиеся шаги, и голос Овидия: «Тут!» — и громкий тройной стук в дверь.

Или просто заберут с улицы, вдруг, посреди солнечного дня, в праздник, подъедут впритык к тротуару, и из машины приветственным голосом окликнут по имени и отчеству и по-приятельски пригласят сесть для разговора, и увезут туда, где со звоном раскрываются железные ворота. Или заберут из театра, во время антракта. И так бывало. Подойдут вдруг, возьмут под локоток, по-приятельски, с улыбкой, и поведут для выяснения некоторых обстоятельств в дирекцию, и через час «Спящая красавица» кажется сказкой, виденной в далеком детстве. Или снимут с поезда, это они особенно любили, гордились своей выдумкой. Казалось, можно было взять на вокзале, когда шел по перрону. Еще в Москве. Нет, дадут сесть в поезд, уложить вещи в сетку, проехать несколько станций, спокойно выпить проводницкий чай с железнодорожными каменными сухарями, лечь в казенную, холодную, накрахмаленную постель, вздремнуть под ход поезда и в середине ночи вдруг постучат ключом в дверь: «Откройте, контроль». А контроль, вот он, выглядывает из-за спины проводника в фуражке с синими кантами, войдет в купе: «Паспорт, фамилия, имя, одевайтесь». А поезд уже замедляет ход, и на глухой, темной, безвестной станции, с одиноким фонарем, освещающим золоченую статую Сталина в вокзальном сквере, поведут куда-то вдаль под дождем на запасные пути.

Зачем это им нужно было, именно так? Но раз делают, зачем-то им нужно. Не для шика.

Ведь все ты это уже хорошо знал. Сколько раз слышал в разных вариантах. И это было сначала со старшими, которые вводили тебя в жизнь, учили тебя работать, защищали, когда нападали на тебя на собрании, а потом рекомендовали в партию, выступали за тебя на чистке, сначала это было с ними, а потом и с твоими сверстниками, с которыми ты сидел на одной парте, с которыми ходил на стрельбище в летнем лагере территориальных войск, с которыми выпивал на вечеринках. И ты все это уже видел своими глазами. Но на этот раз это с тобой, с тобой, в единственной твоей жизни, у тебя другой не будет.

В сущности, если подумать, чувство страха было главным, преобладающим во всей твоей жизни. Его было гораздо больше, чем всего остального, вместе взятого,— гнева, печали, радости,— чувство страха и тоски — вот что определило твою жизнь, окрасило ее в свой серый цвет.

Каждый делал вид, что лично его это не касается. И не только на людях, а наедине с собой, даже ночью, когда просыпался и думал о своей жизни, и о жизни других, и вообще о жизни. Так было легче и проще отогнать от себя страшные мысли, заморозить, забить свою совесть, отогнать, оттолкнуть неминуемое от себя, притворившись, искренне веря, что это тебя не касается. За что? И действительно, не было за что. Но какое это имело значение? Никакого не имело. Никому это еще не помогало. Так до поры до времени, обманывая самих себя, жили в мираже, в зеркальном отражении.

Все еще не ты. И значит, еще пропасть, как от жизни до смерти.

Поезд остановился в открытом поле, и оно показалось чужим и каким-то растерянным. Не было ни знакомого желто-кирпичного вокзала моего детства с залами первого и второго класса и большим колоколом, ни круглой водокачки, ни длинных темных пакгаузов, ни даже перрона. Все было разрушено войной. И стояла только на запасных, ржавых, заросших травой путях красная теплушка, над которой торчал одинокий флагшток.

Теперь на этом вокзале никого не встречали, и не было даже ни одного извозчика, пассажиры прямо из вагонов темной толпой хлынули через пути и поспешно, будто боялись остаться на разоренном вокзале, разбежались во все стороны, и стало пусто и одиноко, лишь ветер шумел в станционных тополях. И я долго стоял и слушал их, внимал их шуму, и, казалось, они узнали меня и рассказывают обо всем, что видели и слышали.

И лежали длинные, пустые, беззвучные улицы, так же вился хмель по заборам и плетням, так же цвели подсолнухи и глядели из палисадников анютины глазки. И казалось, не было во всем этом жизни, или это я уже тут был чужой.

В центре города вырос бурьян, и радио орало над пустырями. Весь город шел по разоренным улицам с тяпками на пригородные огороды.

Гостиница была какой-то взъерошенной, неупорядоченной, с запахом солдатского постоя, бензина, железа. В номерах стояли койки, застеленные серыми грубыми одеялами и подушками без наволочек, но с большими комендантскими печатями. И директор, и завхоз, и слесарь — все были в кирзовых сапогах и военных гимнастерках.

Я пошел по городу. В церкви была школа юных спортсменов. В булочных не было хлеба.

На базаре продавали жевательную резинку, евангелия, испанские сигареты «Монте-Карло» и польские «Грюнвальд».

Я узнал только одного человека, который продавал самодельные свистульки, все остальные были чужие.

Некогда просторная, знойная, пыльная площадь Свободы, площадь манифестаций, теперь заросшая кустарником и молодыми деревьями, полна была непонятного, сидящего на траве разношерстного люда.

Сначала я подумал, что тут допризывный пункт и все эти пожилые женщины и старики провожают молодых солдат. Но какой-то угнетенный, сдержанный, тоскливый гул стоял над этой расположившейся на площади странной, темной толпой. Может быть, это были заключенные, но к ним почти свободно проходили из-за ограды, передавали узелки, переговаривались. Вербованные? Но зачем, при чем тут вооруженная охрана?

И вот сразу одновременно в разных местах, на разные голоса повелительно, грозно, просяще:

— Становись!

Люди нехотя, лениво поднимались, скапливались как-то по-семейному, самовольно, разгильдяйски в странную колонну, вольную и не вольную.

— Живо! Шевелись!

Тот, кто поднимался с земли и становился в колонну, и тот, кто поднимал их, в порыжелых пилотках с винтовками, были на одно лицо, так похожи друг на друга, что казались из одной семьи.

— Тунеядцы, не хотели работать.

— А сколько им давали на трудодень?

— Палочку, и все.

Это было так нарочно, нелепо и нежизненно, что скорее было похоже на киносъемку дурного фильма.

Когда площадь Свободы опустела и остались на ней клочки газет, какие-то жалкие тряпки, мешковина, чей-то брошенный ватник, я прошел к серому, одинокому камню братской могилы, где старая надпись «Геройски павшим от руки бандитов в 1920 году за святое дело коммунизма» была замазана, и на проступавших старых словах была нанесена свежая, более спокойная и, казалось, более подходившая к новому моменту: «Имя ваше сохранится в истории Великой пролетарской революции».

Густая колонна, затопившая старую Киевскую улицу, медленно передвигалась, серая, арестованная, а по сторонам, прижимаясь к стенам домов, и сзади, и спереди, отгоняемые конвойными, шли родственники: жена, если муж был в колонне, и муж, если жена была там, сын или дочь, если отец или мать были в той колонне, или мать и отец, если сын или дочь уходили колонной.

И все это перекликалось, переговаривалось, гудело о своих делах и заботах, посылало приветы, жалело о разлуке, сообщало новости и кричало последние слова. И на все это глядели из окон, из подворотен, домов и учреждений. Сопровождавшие то перегоняли колонну, чтобы посмотреть в лицо идущим и что-то крикнуть им, или отставали и плелись сзади, и тогда тот, кто был в колонне, оглядывался, тут ли они еще. Кто-то неожиданно забегал прямо в колонну, что-то передавал, что-то быстро говорил, целовался и под крик конвойного выбегал на тротуар.

Колонна медленно, тяжко двигалась по улице, мимо разрушенных домов, мимо пепелищ, поваленных, заросших бурьяном заборов.

Ветер гнал шуршащий, вянущий цвет акаций, ветер сбивал у пепелищ в серые, грязные, ватные кучи некогда пышные, роскошные молодые цветы, соперничающие со звездами. И душа моя настраивалась на этот лад, и было тоскливо, и казалось, все кончено в этом мире навсегда, с этим и всеми грядущими поколениями.

Долго я шел за этой нестройной, разношерстной колонной, спотыкаясь о булыжники, мимо школы, в которой учился, мимо типографии, где состоял в пионеротряде, мимо знакомых крылечек, мимо пустыря, на котором играл в лапту и чехарду, по Курсовому полю, мимо кладбища, на котором лежали похороненные дед и бабушка, и вышел на железную дорогу, где на запасных товарных путях ждал длинный состав из красных теплушек, и конвойные стали загонять людей в вагоны. И когда исчез последний, я повернулся и пошел по Курсовому полю, мимо кладбища, длинной прямой улицей, по которой некогда шли в красных галстуках на первомайскую демонстрацию и пели: «Ай да, ребята, ай да, комсомольцы. Браво, браво, браво, молодцы».

Я пошел назад, и какая-то девица в платке все забегала вперед, заглядывая мне в лицо, потом отставала, а когда я останавливался и смотрел на знакомые домики, на косые окошки, иногда вытаскивая блокнот и записывая впечатления, то и она останавливалась и тоже смотрела на эти домики, а потом на меня, отдельно на блокнот, и как-то нервничала. Я уже хотел спросить ее, не узнала ли она меня, но вдруг она исчезла.

— Гражданин, на одну минуту,— сказал сзади голос.

Старший лейтенант и знакомая мне уже девица подошли ко мне.

— Он? — спросил старший лейтенант.

Девица взглянула на меня своими странными, пронзительными сливовыми глазами.

— Порошкова, посмотрите внимательно,— сказал лейтенант.

У нее были глаза отравленной кошки.

— Он, гражданин начальник. Точно.

— Посмотрите хорошо, Порошкова, не ошибитесь.

На моих глазах разыгрывался самодеятельный спектакль. Эта неведомая мне Порошкова играла роль наседки. Она снова посмотрела на меня своими паническими глазами.

— Его я видела на базаре, его,— взвизгнула она.

— На каком базаре, в чем дело, ничего не понимаю,— сказал я.

— Вчера, на ярмарке, а? — и она неожиданно подмигнула мне.

В своем светлом чешском пыльнике и шляпе я вдруг почувствовал себя чужаком, шпионом, лазутчиком на этой пыльной, тихой, заброшенной улице, у трех тополей, под которыми я играл в «принца и нищего», где еще, кажется, сохранился след моих босых ног.

— Так вот это мой дом,— сказал я.

— Вы тут живете?

— Жил.

— Когда жили?

— Давно.

— Документы.

— А в чем дело, что случилось?

— Что надо, то и случилось,— сказала Порошкова.

А лейтенантик был молодой, серолицый, с тревожными, безответственными глазами.

— Документы, документы,— проговорил он, не желая ничего слушать и объяснять.

— Что, у меня вид подозрительный? — спросил я.

Он и на это не ответил, продолжая изучать меня своими бдительными глазками.

Я подал ему свою командировку.

— Разверните,— сказал он, как будто боясь занять свои руки разворачиванием бумажек.

Я смотрю на молоденького лейтенанта, странное ощущение чуждости, враждебности приобретают эта гимнастерка и знакомые, родные тебе погоны, когда проверяют твои документы. А может быть, оттого, что вдруг это делают на мирной улице, несправедливо, не в положенном месте, не на КПП, а вот так, под солнцем дня, среди шумящей зелени июня, у родного крылечка, на порог которого я еще вползал на четвереньках, где столько раз плакал и кричал, где целовала меня мать и ремнем бил отец, где прочитал первую книгу и развернул первую газету.

Лейтенантик долго читал удостоверение, прочитал, взглянул на меня, как будто сверяя содержание бумаги с впечатлением от моего лица, потом еще два раза перечитал удостоверение, сложил его, но не отдал, а спрятал его в верхний карман своей гимнастерки и сказал:

— А блокнот где?

Я показал блокнот.

— Пройдемте.

Отравленные глаза Порошковой вдруг зацвели детской радостью.

— Куда пройдемте? — спросил я.

— Куда надо, туда и пройдемте,— сказала Порошкова.

— Порошкова, замолчите! — прикрикнул лейтенант.

Он обождал, пока я пройду вперед.

— Простите, товарищ, проверочка,— уже спокойно сказал он. Прохожие останавливались и смотрели на нас.

(Окончание следует.)

Николай Панченко

СТИХИ

★

Под зонтиком рваным висел на ремнях,
Скакал по оплавленным льдинам,
Скользил по нетряской дороге в санях
За крупом седым, лошадиным.
Сквозь воздуха толщи,
Сквозь толщи лесов,
Сквозь стены,
Сквозь двери, что все — на засов,
Сквозь вод молчаливых глубины,
Сквозь ложь и сквозь злобу,
Сквозь злобу и ложь...
И если ты с честью
Сквозь старость пройдешь —
Сквозь позднюю горечь рябины,
Не выдашь ни немощь,
Ни нервную дрожь —
Ты в землю уйдешь,
Как озимая рожь...

1986.

Павлу Филонову, Александру Чижевскому и другим калужанам— великим и безвестным

В России плохо с мужиками,
Чтоб с головою
Да с руками —
И не одна война виной,
И неурядицей одной
Не оправдать —
тоска их съела.
Попробуй, посиди без дела
К беде Отечества спиной?!

Борцы,
Аскеты,
Сумасброды,
Земной презревшие уют,
Копают тупо огороды

И водку пьют
Или не пьют.

Их нет в искусстве, нет в науке,
Их запах выдрали из книг,
Чтоб внуки их
и внуков внуки

Учились жизни
Не у них...

1956, 1961.

★

Поэт — не тот,
что всех рассудит,
Но — обессудит и простит.
Он не бытует,
Он гостит,
Он есть, но правильнее — будет.
Когда сойдет и грязь и снег,
И от естественного роста
С веселых душ сойдет короста,
Он прояснится в сонме тех,
Что из псалмов,
из пыльных вед,
Из звездной ли склубившись пыли —
Скорее не были, чем были,
Но вот взошли
И дали свет.

1986.

★

Чего-то опять не хватает
В моей заповедной глуши.
Лишь видно, как весело тает
Прозрачная льдинка души.

Синоптик, верша непогоду,
Вертел эту землю, как шар,
Душа обращается в воду
И где-нибудь, может быть, в пар.

Она ни на что не влияет
(Поскольку бесплотна душа),
Немного любви выделяет,
Сухими губами шурша.

1986.

Даниил Гранин

ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА

РАССКАЗ

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного Комитета Обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовалось глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну, а сам Косыгин? Сам-то как,— волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета Министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем Председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило — а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать, как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва.

Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину — «толцыте и отверзится»,— вскоре он призадумался, закряхтел, и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Всё же почти фронтовые кореши, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у них положена такая таинственность и постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.

Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина»,— подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-м да-а,— протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линялые его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? — я недоуменно уставился на него. «Нельзя»,— повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? — Это можно. И предупредил, что, когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. И., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову — пойдем посмотрим, что делается впереди. Пошли.

Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился.— Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрягу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов,— как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько Военных советов — Северо-Западного направления, города, Красногвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского фронта. А за всем этим поднимался грозный вопрос — удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся,— что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. Назавтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески,— подчеркнул Косыгин,— а не так, как изображено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнилось августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское разумение, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулкова.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменилось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии, количества продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слыхал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более, что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеймили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949—50 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто соби-

рались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии,— наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского,— не разбери-поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49—50 годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно-прибранном лице.

— За что же его так,— начал я про Вознесенского,— если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело,— двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где будешь Новый год встречать? «Не знаю». «Давай у меня дома». «Хорошо, но я с Попковым приду». «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает — каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну,— сказал я.— Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников.

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг смаху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул.

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь. Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитает? Боится?

Исподлобья по-новому я озирал громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития,— не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы то-

го же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч, уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист — такое упрощенное определение не годилось. Он вспылил не обязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высовывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись»,— подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, было обожествление, надежда, радость свершений,— сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? — спрашивают молодые.— За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить излишества приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятнадцать раз больше: из города — людей, а в город — муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда — назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности. Хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей — и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь — для большинства блокадников, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей, с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии... Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Яков Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после Кировского дела. Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся,— всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смоленском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда, одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят,— сердито недоумевал он.— Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства, большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства, сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? — вот что мне хотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более, что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были,— известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не помянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку.— Никаких разногласий быть не могло... Не могло,— повторил он, настаивая.— Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными,— как бы невзначай бросил он.— Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне,— подстанция, распредустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением, у самых шин, вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле...

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу. Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более, что творили вы эту, нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете. Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше,— людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно,— ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то и другое,— сердито настаивал Косыгин.— А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло,— было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или, наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться. В Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут,— это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминанье. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы,— говорит,— летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили, что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали койчего как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слыхал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладоге. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил проведать их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напряг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

— Только геройство признает,— сказал Косыгин.— Знаток,— и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится,— обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем»,— должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он

— Все относительно,— сказал Б-ов.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении,— взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине, написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, *не смею*. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освобождать нас.

Б. Л. Ванников,
генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, трижды Герой Социалистического Труда

ЗАПИСКИ НАРКОМА

VII

В 1939 году по инициативе наркомата обороны в правительстве обсуждался вопрос о прекращении производства пистолета-пулемета Дегтярева (ППД) и аннулировании соответствующих заказов оружейным заводам. Это предложение военные мотивировали тем, что, по их определению, пистолет-пулемет был оружием малоэффективным, мог иметь крайне ограниченную область применения и вообще годился не для армии, а скорее «для американских гангстеров при ограблении банков».

Конечно, в то время еще никто не знал, что именно автоматический пистолет-пулемет станет в годы второй мировой войны не только самым эффективным, но и самым массовым стрелковым оружием, оттеснив на второй план винтовку. Однако и тогда нельзя было столь опрометчиво отказываться от него, так как уже имелись совершенно определенные признаки того, что он способен сыграть важную роль в усилении мощи нашей армии и укреплении обороноспособности страны.

Этот автомат предназначен для стрельбы пистолетными патронами, которые слабее винтовочных, вследствие чего пистолет-пулемет имеет очень простую конструкцию и изготовление его обходится сравнительно дешево, что исключительно важно для массового оружия. Будучи значительно меньше и легче ручного пулемета и оставаясь индивидуальным оружием, он представляет собой мощное средство усиления огня.

Еще в мировой войне 1914—1918 годов и в последующих так называемых малых войнах созданию пистолета-пулемета уделяли значительное внимание в ряде стран. Первую попытку сделали в Италии в 1915 году, но созданный тогда образец («Ровелли») не дал хороших результатов. Однако и в дальнейшем, когда они были достигнуты в различных странах, пистолет-пулемет долго не получал признания, главным образом по следующим двум причинам: большой темп стрельбы и в то же время малая по сравнению с винтовками и ручными пулеметами дистанция хорошей прицельной дальности. Она достигала лишь 200—300 метров, хотя прицельные рамки имели деления для стрельбы на 800 метров и далее.

Этот показатель не удавалось повысить даже тогда, когда конструкторы добивались уменьшения темпов стрельбы. В результате многие военные специалисты в течение ряда лет рассматривали пистолет-пулемет как дополнительное оружие, способное решать только ограниченный круг частных задач.

В нашей стране эта точка зрения, к сожалению, продержалась дольше, чем в других государствах, в армиях которых уже в 30-х годах пистолет-пулемет получил широкое распространение. Так, в австрийской армии он наряду с пулеметом был придан каждому стрелковому отделению. Интенсивно вооружалась пистолетами-пулеметами финская армия, что в войну 1939—1940 годов оказалось для нас полной неожиданностью.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 1 за 1988 г.

не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно. Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросики ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда пóтом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать — Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того. Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно — церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выспрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели неизвестно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями. Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель называется, насочиняют с три короба, а разобраться в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно — не посмел вступиться за нашу книгу! Да какая она наша, она — голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, *пошли бы* мне навстречу, *похлопотали бы* за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее взахлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла — «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасте пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему,— приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это, знаете, как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять,— сказал Б-ов, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то некстати. Потому и тянули. И все-таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень-характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они.

— Ладно, не унывай,— отходчиво сказал Б-ов.— Наука будет.

— Ох, и большая у вас наука,— сказал я.— Далеко видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы... Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! — сказал я.— Вы же были там, вам смерть была нипочем...

Германский специалист В. Брандт считал необходимым вооружить ими треть солдат пехоты, конницы, инженерных и мотоциклетных частей. Последующие войны показали, что такое соотношение было наиболее правильным.

Военные специалисты Красной Армии по-разному оценивали перспективность пистолетов-пулеметов. В начале 30-х годов крупный знаток стрелкового оружия профессор А. Благонравов в своем труде «Основание проектирования автоматического оружия», отметив их положительные тактические и технические качества, писал, что они обладают «весьма ограниченной сферой действия». Однако спустя несколько лет профессор В. Федоров, пионер создания русского автоматического оружия, конструктор и ученый, в книге «Эволюция стрелкового оружия» указывал: «...До настоящего времени не везде усвоена мысль о той громадной будущности, какую со временем будет иметь это чрезвычайно мощное, сравнительно легкое и в то же время простое по своей конструкции оружие». Но и он в своих рекомендациях был весьма осторожен. Касаясь взглядов вышеупомянутого немецкого специалиста В. Брандта, В. Федоров писал: «...Некоторый процент личного состава пехотных частей и в особенности кавалерии, может быть и не столь значительный, как это предлагает Брандт, мог бы быть вооружен пистолетами-пулеметами».

Советская промышленность вооружения выпускала тогда, как уже сказано, пистолет-пулемет, сконструированный Героем Социалистического Труда В. А. Дегтяревым. Автомат калибра 7,62 миллиметра обладал хорошими тактико-техническими качествами, соответствовавшими уровню военного производства того времени. Серийный выпуск его был организован на одном из крупных, отлично оснащенных оружейных заводов. Главное артиллерийское управление армии, являвшееся заказчиком, не высказывало каких-либо претензий ни в отношении конструкции ППД, ни к качеству его изготовления, не проявляя, впрочем, и заинтересованности в этом оружии.

И вдруг — предложение снять его с производства.

Представители наркомата вооружения выступили с возражениями. Они указывали не только на наличие хорошо налаженного производства, потребовавшего крупных затрат, но и на ошибочность оценки ППД как неперспективного оружия.

И все же было принято решение прекратить снабжение Красной Армии пистолетами-пулеметами. Желая смягчить возможные последствия, наркомат вооружения просил оставить хотя бы небольшой заказ, но и это предложение, квалифицированное тогда как нежелание прекратить производство ненужной продукции «в ущерб государственным интересам», было отклонено.

Выйдя по окончании заседания в соседнюю комнату, я встретил там генерала Власика и сказал ему, что полное прекращение производства ППД вызывает во мне тревогу. В ответ на это он заметил, что мог бы дать небольшой заказ на пистолеты-пулеметы для пограничных войск, так как в его распоряжении имелись ранее выделенные на эту цель средства. Я, разумеется, согласился, тем более что это не нарушало постановления правительства, касавшегося только армии.

Так было сохранено, хотя и в очень незначительном объеме, производство ППД.

А вскоре, в том же году, когда финская реакция спровоцировала войну, части Красной Армии встретились в лесистых районах с противником, имевшим на вооружении пистолет-пулемет «Суоми», очень схожий с отвергнутым у нас ППД. Оказалось, что финское командование снабдило этим оружием целые подразделения и отдельных солдат, действовавших самостоятельно. Автоматчики, названные потом «кукушками», маскируясь белыми халатами и располагаясь в гамаках, подвешенных между заснеженными соснами, встречали вступающих в лес красноармейцев лавиной огня, а сами оставались трудноуязвимыми, так как наши бойцы, вооруженные винтовками и ручными пулеметами и лишенные прикрытия, оказывались в худшем положении. Большое значение имел, конечно, фактор неожиданности при таких обстрелах, но и преимущества пистолета-пулемета стали более чем очевидными.

Тут-то и произошел весьма резкий поворот во взглядах наших военных относительно этого оружия. Более того, кое-кто попытался прикрыть свои промахи, вызвавшие напряженное положение на ряде участков фронта, как раз отсутствием автоматов.

Как-то вечером меня вызвал Сталин. Он спросил, почему наши заводы не изготовляют пистолеты-пулеметы. Я напомнил о решении, согласно которому поставка этого оружия армии была прекращена. Молча походив по кабинету, Сталин сказал:

— Нельзя ли у нас организовать изготовление финского пистолета-пулемета «Суоми»? Его очень хвалят наши командиры.

Я ответил, что изготовлять надо советский автомат, так как он не хуже финского, да и производство его освоено и нуждается только в развертывании. Тем более, что это потребует несопоставимо меньшего времени, чем организация выпуска финского автомата.

Сталин, видимо, колебался. Он повторил:

— Командиры хвалят финский автомат.— И, сходив в соседнюю комнату, принес два пистолета-пулемета — советский ППД и финский «Суоми».

Он попросил разобрать их, и мы подробно обсудили качества двух автоматов, после чего Сталин дал указание возобновить производство ППД на том же заводе — в три смены с полным использованием всего оборудования. Он потребовал, чтобы уже к концу следующего месяца было изготовлено 18 тысяч пистолетов-пулеметов.

Поскольку это было невозможно даже при мобилизации всех сил (в незавершенном производстве было очень мало задела), о чем я и доложил Сталину, он в конце концов уменьшил задание до 12 тысяч. Но так как я заявил, что и такое количество нельзя изготовить за столь короткий срок, то Сталин раздраженно спросил:

— Что же вы можете предложить? И как быть, если с фронта ежедневно требуют вооружить пистолетами-пулеметами хотя бы одно отделение на роту?

Я вспомнил о пистолетах-пулеметах, полученных генералом Власиком. Последний тут же был вызван Сталиным и получил указание немедленно передать армии все ППД, имеющиеся в пограничных районах. Доставку их на фронт должны были производить самолеты.

Пробыв у Сталина около двух часов, я возвратился в наркомат вооружения и рассказал товарищам, в том числе П. Н. Горемыкину, В. М. Рябикову, И. А. Барсукову об указании Сталина. Все мы сразу же приступили к выработке конкретных мер и, связавшись с директором соответствующего завода, договорились, что будут немедленно запущены в дело имеющаяся незавершенка и заготовки, проведена тщательная их инвентаризация, составлены расчеты и графики нарастания выпуска автоматов.

В 10 часов вечера меня вновь вызвали к Сталину.

На этот раз я застал его в лучшем настроении, объяснявшемся, вероятно, тем, что нашлось некоторое количество ППД, которое можно было сразу перебросить на фронт и этим хотя бы отчасти разрядить обстановку. Были здесь В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, а также Н. Н. Воронов и другие военные.

Сталин встретил меня шуткой, смысл которой состоял примерно в следующем: некоторые военные охотно стреляют в зайца, который привязан к дереву, но не знают, что делать, когда он сам начинает стрелять по ним с того же дерева. Потом он попросил доложить о принятых мерах в отношении производства ППД.

Я сообщил о сделанных шагах и, в частности, о предстоящей поездке заместителя наркома И. А. Барсукова и ряда других специалистов на завод для организации ускоренного восстановления производства пистолетов-пулеметов.

— Все это нас не касается,— прервал меня Сталин,— это ваше дело. Вы скажите, сколько дадите до конца будущего месяца.

Услышав, что точную цифру можно назвать лишь после выяснения количества заделов по переходам, проведения инвентаризации и соответствующих ра-

счетов, он предложил мне тоже выехать на завод и оттуда связаться с ним по телефону. Затем он принялся обсуждать с военными распределение имеющихся ППД. Подождав немного, я спросил:

— Могу ли я быть свободным?

— Пока вас никто не арестовал, вы свободны,— с улыбкой ответил Сталин.

Завод, выпускавший пистолеты-пулеметы, с помощью И. А. Барсукова и его группы в короткий срок развернул производство, и ППД стали поступать на фронт, хотя и не в том количестве, какого требовал Сталин. Позднее, выступая на Пленуме ЦК ВКП(б) с докладом об итогах финской войны, К. Е. Ворошилов отметил, что наркомат вооружения хорошо помог быстрым развертыванием производства пистолетов-пулеметов.

Но тут я немного забежал вперед, так как рассказал еще не обо всех злоключениях с выпуском ППД.

Только успели наладить нормальное производство автоматов, как вновь возникли серьезные осложнения. Услышав от кого-то из военных, что круглые дисковые магазины пистолета-пулемета «Суоми» вмещают патронов в четыре раза больше, чем плоские коробчатые (их называли «рожками») ППД, и что поэтому из финского автомата можно дать очередь, которая во столько же раз длиннее, чем очередь из нашего, Сталин счел это сопоставление вполне убедительным. Невзирая на то, что всякая переделка может вызвать перебои в поставке автоматов фронту, он дал указание все выпускаемые пистолеты-пулеметы комплектовать только дисками точно такими же, как у «Суоми», по три на автомат.

Мы попросили дать сутки для того, чтобы вместе с главным конструктором В. Дегтяревым и заводскими работниками продумать кратчайшие пути приспособления дисков «Суоми» к ППД и начать их серийный выпуск. Сталин согласился.

Подробно рассмотрев на заводе все имеющиеся возможности, я возвратился в Москву. Со мной приехал В. Дегтярев. Сталину мы докладывали вместе. Наш вывод состоял в том, что приспособить диск «Суоми» для ППД можно, но требуется его переконструировать, на что уйдет много времени. Конструкторам нужно было составить расчет допусков, подобрать высококачественный материал, изготовить и испытать образцы и т. д. И все это, не считая главного — подготовки производства: штампов, приспособлений, инструмента, калибров. По расчетам, при самых ускоренных темпах на освоение выпуска дисков требовалось от одного до полутора месяцев.

Вместе с тем мы подчеркнули, что диски имеют далеко не такие большие преимущества, как показалось военным, а во многом даже уступают рожкам. Хотя они вмещали 69 патронов, но ведь этот запас вряд ли требовался для одной или двух очередей. В то же время диски громоздки, тяжелы, сильно обременяют стрелка, особенно при продвижении с преодолением препятствий, в снегу и т. п. Перезаряжать их труднее, а более сложные, чем у рожков, механизм питания и путь продвижения патронов увеличивают вероятность того, что оружие откажет в нужный момент. Рожковые же магазины легки, портативны, их можно разместить в больших количествах в голенищах сапог, в карманах шинели, полушубков, брюк, за поясом. Они быстро сменяются и дешевы, так что при случае их можно выбрасывать как обоймы.

Кроме того, В. Дегтярев предлагал увеличить емкость рожков до 25—30 патронов — предельного количества, при котором можно рассчитывать на хорошую работу удлиненной пружины магазина. Причем выпуск таких новых магазинов мог быть освоен в течение 7—10 дней без нарушения темпов производства.

Наши выводы не встретили поддержки у руководства Главного артиллерийского управления армии. С горечью слушал я военных инженеров, которые высказывались вопреки своему опыту и знаниям, делая это только потому, что накануне Сталину понравились диски. Эта безответственная позиция сделала свое дело. Да и сами мы, видно, не смогли убедить в своей правоте.

Но как докажешь, если о всех трудностях, которые предстояло преодолеть

для организации массового изготовления и обеспечения максимальной безотказности действия диска, не знали те, кто судил об этом лишь по его очень простому наружному виду, напоминавшему обыкновенную жестяную коробку? К этому добавляли, что финны не имеют таких заводов, как наши, а выпускают сколько угодно дисков, действующих безотказно. Иначе говоря, вопрос был поставлен таким образом, будто промышленности не требуется никакой подготовки к производству любого нового изделия.

В итоге Сталин не согласился с нами и приказал комплектовать ППД только дисками, а до их изготовления считать выпускаемые автоматы неукомплектованными.

Эта крайне жесткая мера поставила нас в безвыходное положение. В разгар войны, при острой потребности в автоматах, нельзя было не отгружать их на фронт, а дисков еще не было. В таких условиях руководство завода при молчаливом содействии военпреда решило продолжать отправку ППД, приняв на себя обязательство укомплектовать их дисками в течение месяца.

Весь коллектив предприятия работал с исключительной самоотверженностью. Люди сутками не уходили с завода. Но и при всем этом установленные для конструкторов, технологов, цехов оперативные сроки не выдерживались. В необычайной спешке допускалось много ошибок. Готовые автоматы неоднократно возвращались с отстрела на исправление. Были дни, когда на исправлении работало людей больше, чем на сборке. Практически в такой обстановке на изготовление автоматов уходило времени больше, чем потребовалось бы при правильно установленных сроках.

Вскоре Сталин прислал директору завода, секретарю парторганизации и председателю завкома телеграмму резкого содержания, угрожавшую репрессиями. Прибывшие из Москвы сотрудники НКВД начали поиски вредителей и саботажников и для начала арестовали одного из инженеров. Заводом «заинтересовались» все контрольные органы.

Нажим и угрозы только мешали делу. Весь коллектив работал из последних сил, не считаясь со временем, но эффективность этих усилий резко снижала созданная на заводе обстановка.

Перелом начался после того, как Сталин был ознакомлен с образцами из первой партии дисков для ППД. Он остался доволен ими. Особенно ему понравилось, что они вмещали 71 патрон, то есть на два патрона больше, чем диски «Суоми», хотя практического значения это не имело. Потом Сталин принялся подробно расспрашивать о работе завода, и рассказ о создавшейся там ненормальной обстановке произвел на него впечатление. Он тут же дал указание отозвать с завода сотрудников НКВД, а мне предложил выехать туда и действовать так, как я найду нужным.

Эти указания Сталина внесли большое успокоение, укрепили уверенность коллектива завода в своей работе. Производство ППД постепенно начало входить в нормальное русло, о чем я и доложил Сталину, когда он вновь вызвал меня неделю спустя. В связи с этим я получил от него новое задание: выехать на фронт и посмотреть в одной из действующих армий, как осваиваются ППД.

Я выехал поездом в Ленинград, а оттуда на машине добрался до штаба армии, которой командовал очень образованный и хорошо знающий оружие генерал Грендаль. Он и член Военного совета генерал Запорожец оказали мне существенную помощь, благодаря которой поручение И. В. Сталина было выполнено довольно обстоятельно.

Кстати, тогда же окончательно выяснилось, что представленная Сталину кем-то из военных информация о «безотказном» действии диска «Суоми» была очень далека от действительности. На фронте мне показали финский автомат, владелец которого был убит, почти не успев выстрелить. Вскрыв крышку диска, я обнаружил отказ на третьем патроне. Солдату, видимо, не удалось быстро устранить задержку, так как характер ее требовал снять для этого диск. Такие и различные другие случаи отказа обнаружились и в нескольких последующих трофейных автоматах, взятых красноармейцами у солдат противника, убитых как

временной меры предложили конструктору Ф. Токареву переделать станковый пулемет Максима.

Так были созданы два образца, из которых лучшим оказался токаревский, названный ТМ. Впрочем, и он имел ряд недостатков, в частности, чрезмерный вес. Это объяснялось тем, что Ф. Токарев взял за основу переделанные из станковых немецкие ручные пулеметы, которые уже устарели и считались слишком тяжелыми.

Требования уменьшать вес ручных пулеметов из года в год становились все более жесткими. Проф. А. А. Благонравов так писал об этом: «...Ручной пулемет должен обладать весом, в идеале приближающимся к весу винтовки. Эта задача, являясь пока неразрешимой, определяет неуклонное требование — понизить вес, насколько возможно. Развитие ручного пулемета после мировой войны свидетельствует об этой тенденции; в мировую войну средний вес бывших на вооружении армий ручных пулеметов был 11,6 кг, теперь — 8,5 кг».

Вместе с тем специалисты считали проблематичной возможность добиться веса меньше 8 килограммов без уменьшения калибра.

В. Дегтярев, пользовавшийся большой популярностью и уважением, был талантливым конструктором, хорошо осведомленным о новинках мировой техники и тонко разбиравшимся в военном деле. Тем не менее и ему, крупному знатоку вооружения, потребовались долгие годы, чтобы создать ручной пулемет под штатный патрон, совершенно не подходящий по весу, габариту и конструкции для легкого стрелкового автоматического оружия.

В конце 1927 года Дегтярев представил на испытание свой последний вариант, весивший 7,77 килограмма. После исправления незначительных недостатков он был принят на вооружение РККА.

Малый вес ДП выдвигал его в разряд легких. Из всех иностранных образцов только ручной пулемет Гочкиса весил чуть-чуть меньше — 7,72 кг (без магазина). ДП имел и много других хороших качеств. К ним следует прежде всего отнести исключительную простоту конструкции по сравнению с другими образцами стрелкового оружия того времени. Так, его можно было полностью разобрать всего лишь в три приема, что очень важно для эксплуатации. Несмотря на малый вес самого ручного пулемета при сравнительно крупнокалиберном патроне (7,62 мм), ДП обладал хорошей меткостью, прицельной дальностью до 1,5 и предельной — до 3 километров. Впоследствии пехотный образец был приспособлен для танков (ДТ) и для авиации (ДА).

Армия хорошо приняла ДП и давала ему неизменно высокую оценку. Хорошие отзывы появились и в зарубежной прессе. В частности, в США писали, что ДП — лучший образец ручного пулемета.

Однако его дисковый магазин (без помещавшихся в нем 47 патронов) весил 1,5 килограмма, то есть более, чем у всех иностранных образцов и был менее удобен в эксплуатации. Вследствие этого ДП вместе с магазином переходил из разряда легких в средние. Иначе говоря, все достигнутое в отношении веса самого ручного пулемета было потеряно из-за чрезмерной тяжести магазина. В дальнейшем несколько раз поднимали вопрос о замене дискового магазина ДП звеньевой системой питания, получавшей все более широкое применение в новых конструкциях, но практически он не был решен. Тем временем производство ДП, который даже при завышенном весе магазина являлся очень хорошим оружием, было организовано из расчета большого выпуска, предусмотренного в мобилизационных планах.

Наступил 1939 год. После нападения японских захватчиков на Монгольскую Народную Республику в районе Халхин-Гола и их разгрома монгольскими и советскими войсками в Москву была доставлена трофейная военная техника. Среди образцов японского вооружения было немало таких, которым место в музее древностей, но встречались и заслуживающие внимания.

На работников Главного артиллерийского управления Красной Армии произвел большое впечатление ручной пулемет калибра 6,5 миллиметра. Хотя он был известен и до событий в районе Халхин-Гола, причем наши специалисты видели

не только его преимущества, но и серьезные недостатки, на этот раз военные сочли японский ручной пулемет чуть ли не идеальным.

Работники промышленности вооружения высказали иное мнение, и я полагал, что вопрос исчерпан.

Но через несколько дней Сталин спросил по телефону, видел ли я японский ручной пулемет и какое у меня сложилось мнение. Поскольку таким образом потребовалась всесторонняя оценка, а для этого нужно было более подробно изучить конструкцию, я ответил, что ознакомился с ней, но недостаточно.

— Напрасно,— сказал Сталин. И добавил: — Поинтересуйтесь подробнее.

Это указание, как я понял, было основано на отзывах военных. А так как мне уже было известно, что они считали основным преимуществом японского образца систему питания, то именно ей и пришлось уделить главное внимание при новом, более тщательном ознакомлении. И это оказалось исключительно полезным, так как позволило в дальнейшем предотвратить ошибочное решение.

Система питания японского ручного пулемета была оригинальной и представляла собой, как уже сказано, постоянный магазин. Патроны находились в коробке под постоянным давлением крышки — пружинного пресса. Но заряжающий, вкладывая их, придерживал крышку рукой. Это было опасно, если он не имел большого опыта и заряжал не в спокойной обстановке, а в условиях боя, когда приходится лежать подчас в неудобном положении. Дело в том, что при малейшей оплошности крышка под воздействием сильной пружины могла сорваться и отрубить пальцы.

Наша дискуссия с представителями Главного артиллерийского управления закончилась, однако, безрезультатно, и вопрос был перенесен на большое совещание командования и участников боев под Халхин-Голом, состоявшееся в наркомате обороны. Сюда же доставили трофейный японский ручной пулемет. После того как все войсковые командиры, касавшиеся в своих выступлениях вопроса о нашем вооружении, дали хорошие отзывы о нем, слово взял начальник Главного артиллерийского управления. Раскритиковав ДП, он предложил заменить его японским образцом, о котором отозвался с большой похвалой.

Мы, работники наркомата вооружения, высказались против этого предложения по следующим соображениям: принять японский образец, как он есть, то есть под патрон калибром 6,5 миллиметра было бы нелогично не только потому, что от этого отказались еще в 1923 году, но и в силу причин, по которым уже в 1938 году была взята на вооружение самозарядная винтовка калибра 7,62 миллиметра и решено было не вводить новые патроны; проектирование же нового ручного пулемета под штатный патрон, но с питанием, как у японского, потребовало бы значительного времени и вероятнее всего привело бы к значительному увеличению веса всей системы. Кроме того, мы охарактеризовали магазин японского образца, как небезопасный в боевой обстановке.

В ответ на это начальник ГАУ, желая продемонстрировать действие японского магазина, лег на пол и очень осторожно открыл и закрыл крышку.

Это ни о чем не говорило. Поэтому с разрешения руководившего совещанием К. Е. Ворошилова, я тоже лег на пол, открыл крышку и, положив на ребро стенки магазина толстый шестигранный цветной карандаш, отпустил крышку. Крышка с большой силой захлопнулась и разрубила карандаш.

— Так будет,— сказал я,— с пальцем пулеметчика при неосторожности или если он будет находиться в неудобном положении при заряжении.

Разрубленный карандаш произвел большое впечатление на всех, кто наблюдал за моими действиями у пулемета. Сидевший в первом ряду маршал С. М. Буденный заметил:

— С таким пулеметом пускай воюют те, кому он по душе, а я с таким пулеметом воевать не пошел бы.

Совещание не поддержало предложения о замене ДП японским образцом или проектировании нового ручного пулемета с питанием по японской схеме. Благодаря этому мы смогли уже в следующем, 1940 году удвоить основные произ-

раз в тот момент, когда их оружие не действовало. Пистолет-пулемет «Суоми», как оказалось, таил в себе и другую большую опасность: он сам по себе мог начать автоматическую стрельбу, так как при сильном встряхивании или при ударе некоторые задержки самоустранялись. Наши диски не имели таких недостатков.

События той поры сделали очевидным, что пистолет-пулемет — такое оружие, которое в дальнейшем в случае войны потребуется в больших количествах, чем любое другое. Отсюда возникала задача сделать его еще более дешевым, простым и портативным.

Конструкция ППД была разработана еще в те годы, когда холодная и горячая обработка металла давлением находились на низком уровне, кузнечные и прессовые цехи подавали в механообрабатывающие цехи заготовки с большими припусками. Геометрия деталей стрелкового оружия была сложной, и каждую из них, независимо от ее назначения и условий работы, конструкторы считали обязательным подвергнуть тщательной механической обработке, отделке. Допуска принимались наиболее жесткие, особенно для деталей механизмов автоматики. Все это вместе требовало затраты многих станко-часов на изготовление оружия, и, в частности, пистолета-пулемета Дегтярева.

Но в последние предвоенные годы был достигнут значительный прогресс в технологии машиностроения, особенно в точности и чистоте обработки при помощи горячей штамповки, литья, холодного прессования и других операций. Прогрессивные методы широко внедрялись и в промышленности вооружения, и нужно было создавать современные конструкции оружия, соответствовавшие новой технологии производства.

Создать новую конструкцию пистолета-пулемета наркомат вооружения поручил тому же заводу, где выпускались ППД. Речь шла о том, чтобы детали для этого оружия почти не требовали механической обработки. В целом новый вариант должен был стать настолько простым, чтобы при необходимости его производство могли быстро освоить на любом машиностроительном заводе.

В очень короткий срок конструктор Г. С. Шпагин представил макет новой конструкции, на изготовление которой требовалось минимальное количество станко-часов. Только ствол, особенно его канал, подвергался тщательной обработке, остальные же металлические детали нуждались лишь в холодной штамповке из листа, а деревянные имели очень простую конфигурацию. Пожалуй, одним из наиболее сложных и дорогих в этой конструкции был упомянутый дисковый магазин, взятый без всякого изменения от ППД.

Даже В. Дегтярев, который в течение своей долголетней практики создавал конструкции, основанные на иных принципах, одобрительно отнесся к проекту Шпагина.

Так в самый канун Великой Отечественной войны был создан знаменитый ППШ — пулемет-пистолет Шпагина, ставший мощным оружием воинов Красной Армии. Исключительная простота конструкции позволила с первых же месяцев войны легко осваивать производство этого замечательного автомата на многих, в том числе и неспециализированных заводах.

Последний эпизод из истории создания этого оружия относится к 1942 году.

Шла кровопролитная война, заводы эвакуировались на восток, промышленность прифронтовых районов переключалась на изготовление вооружения и боеприпасов. Для тех, кто осваивал выпуск ППШ, самым трудным оказалось производство дисковых магазинов. Оно начало заметно отставать.

Однажды на совещании наркомов машиностроительных отраслей, заводы которых изготовляли ППШ, — я был туда приглашен как руководитель промышленности боеприпасов, — меня попросили высказать свое мнение о целесообразности использования коробчатых магазинов. Я сказал, что это один из лучших выходов из положения на то время, пока заводы освоят и полностью наладят производство дисков.

Тогда ко мне обратились с просьбой написать об этом Сталину. Я высказал сомнение в том, что он одобрит вмешательство наркома боеприпасов в данную область. Но мне ответили, что Сталин отклонил уже ряд подобных представлений, а это письмо может оказаться более действенным, так как он, мол, внимательно прислушивался к моему мнению.

Такую записку я написал. Это было вечером, а ночью мне по телефону сообщили, что Сталин согласился с моим предложением. После этого ППШ стали комплектовать и коробчатыми магазинами, что позволило уже тогда намного усилить поставки мощного оружия фронту, тщательно освоить производство пулеметов-пистолетов на многих заводах и полностью обеспечивать ими армию в течение всего периода войны.

К этому нужно добавить, что ППШ, как и противотанковые ружья, конструировались таким образом, чтобы в случае необходимости можно было развернуть их изготовление в больших количествах не только на оружейных, но и на машиностроительных заводах. Нужное для этого дополнительное оборудование, в частности, специальные станки для обработки каналов стволов, изготовлялось на заводах наркомата вооружения в таком количестве, что это позволило создать достаточный для данных нужд мобилизационный запас.

Резервы специального оборудования, а также ствольной заготовки, с первых же дней войны начали поступать на некоторые заводы машиностроения, которые и смогли благодаря этому быстро развернуть производство оружия для фронта.

VIII

Примерно за два года до Великой Отечественной войны нам едва не пришлось заменить магазин и у ручного пулемета ДП. Более того, речь, по существу, шла о создании новой конструкции этого оружия с постоянным, то есть неотъемлемым от пулемета, магазином по далеко не идеальному японскому образцу. Правда, в то время перед нами стояла задача улучшить систему питания ДП, но для решения ее, безусловно, следовало идти другим путем.

Этот вид оружия также был тогда сравнительно новым. До первой мировой войны, по справочным данным, существовало всего два образца ручных пулеметов — Мадсена образца 1902 года и Гочкиса образца 1909 года, причем в то время им настолько не придавали значения, что их не имели на вооружении армии ни одного из государств. О них вспомнили лишь в первой мировой войне, когда выявились новые, непредвиденные условия боя и появилась неотложная потребность в стрелковом маневренном оружии, которое, обладая почти такими же качествами, как станковый пулемет, было бы значительно легче.

Начавшиеся сразу же в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии работы по созданию ручных пулеметов велись столь интенсивно, что большинство образцов успело поступить в действующие армии этих стран еще во время первой мировой войны.

Только в России не было предпринято существенных попыток создать это чрезвычайно нужное для армии оружие, и даже заказ на французские ручные пулеметы Шоша был дан с опозданием, вследствие чего и не был полностью выполнен. В дальнейшем, когда ручной пулемет занял прочное место в качестве основного стрелкового оружия армий всех государств и повсюду велись интенсивные работы по созданию новых его образцов, в Советском Союзе была поставлена задача ликвидировать отставание в этой области.

В 1920 году лучшие советские конструкторы-оружейники В. Дегтярев и В. Федоров приступили к проектированию ручного пулемета. Сначала они избрали калибр 6,5 миллиметра, потому что имелось значительное количество соответствующих японских патронов, закупленных еще царским правительством в связи с нехваткой отечественного оружия и боеприпасов. Таким образом, предполагалось выиграть время, нужное для создания нового патрона, подходящего для автоматического оружия.

Но впоследствии по указанию военного ведомства за основу был принят штатный калибр 7,62 миллиметра, и проектирование приняло другое направление. А так как нельзя было оставлять армию без ручного пулемета, то в качестве

водственные мощности, предназначавшиеся для выпуска ручных пулеметов, и полностью обеспечить ими нашу армию в годы Великой Отечественной войны.

Вопрос о патроне был камнем преткновения при создании легкого стрелкового автоматического оружия и в других государствах на протяжении всего довоенного времени и почти всего периода войны.

По этому поводу немецкий генерал Эрих Шнейдер писал: «Появилась необходимость создать ручное оружие совершенно новой конструкции, которое должно было выполнять одновременно задачи пистолета-пулемета, самозарядной винтовки и ручного пулемета. Результатом этого долголетнего труда был всем известный карабин образца 1944 года, который применялся как полуавтомат (самозарядная винтовка) для ведения прицельного огня одиночными выстрелами и как автоматическое оружие для стрельбы очередями по 8 выстрелов в секунду. Калибр карабина 1944 года — 7,92, а вес — всего 4,2 кг, но стрелять из него можно было только усеченными патронами с уменьшенным зарядом, потому что при нормальном заряде отдача стала бы слишком большой и пули уходили бы вверх. Задержка в изготовлении боеприпасов вызвала отсрочку в принятии нового карабина на вооружение после проверки его в войсках на целый год. Это была, несомненно, грубая ошибка».

Надо полагать, что мы сделали бы еще более опасную ошибку, чем Германия, если бы всего лишь за два года до войны отказались от ДП и приступили к конструированию другого ручного пулемета, да еще под новый патрон.

IX

Именно так получилось со станковыми пулеметами Максима, производство которых было прекращено в 1940 году.

Надо сказать, что в истории этого оружия были и прежде времена, когда его незаслуженно недооценивали. Хотя станковый пулемет системы Максима, начиная с 80-х годов прошлого века, был на вооружении армий большинства государств Европы, Америки и Азии, однако вплоть до русско-японской войны он имел не много сторонников. Тогда вообще не жаловали автоматическое оружие, только еще начинавшее свое развитие.

Опыт русско-японской войны по новому определил значение и место пулеметов в системе вооружения и резко поставил вопрос об их применении во многих государствах, в том числе и в царской России. Подавляющее большинство военных признало пулемет как самое могучее огневое средство для всех родов войск в обороне и в наступлении.

Повсюду были начаты работы по совершенствованию конструкции, организации производства станковых пулеметов и внедрению их путем создания пулеметных рот, команд и других подразделениий. В царской России, как и в большинстве других государств, был окончательно выбран и принят на вооружение пулемет Максима калибра 7,62 миллиметра образца 1910 года, облегченного типа, на новом станке конструктора Соколова. Недочеты системы, обнаруженные во время русско-японской войны, были устранены.

Армии всех стран — участниц империалистической войны 1914—1918 годов вступили в нее, имея на вооружении в основном единые виды стрелкового оружия, в том числе наряду с винтовками, револьверами или пистолетами также и пулеметы. И хотя пулеметы вскоре обнаружили ряд существенных недостатков (чрезмерный вес, громоздкость, неудобство эксплуатации при холщовой ленте и проч.), однако нигде не проявилось стремление улучшить их коренным образом. Так обстояло и у нас. И до революции армия любила станковый пулемет Максима. А в годы гражданской войны он отлично помогал отражать натиск белогвардейцев и интервентов.

В 1932—1933 годах нашей промышленности вооружения пришлось проделать большую работу по улучшению изготовляемых станковых пулеметов. Это было вызвано так называемой потерей технологии.

Процесс изготовления пулеметов Максима был одним из самых трудоемких в оружейном производстве. Требовались пооперационная обработка деталей почти по каждому отдельному размеру, исключительная точность чертежей, тщательный расчет допусков, хорошее оснащение режущим измерительным инструментом. Отступление от установленной технологии в упомянутый период привело к тяжелым последствиям. У новых пулеметов Максима повысилось количество отказов в работе автоматики и поломок деталей. Качество их настолько ухудшилось, что выпуск готовой продукции почти прекратили.

В конечном счете положение было выправлено. Правда, для этого потребовались дорогостоящие мероприятия и довольно длительное время, но зато в последующие годы не было претензий ни к материальной части пулемета Максима, ни к станку конструкции Соколова.

Военные были ими довольны. Целесообразность дальнейшего производства станкового пулемета Максима не была поставлена под сомнение и в связи с тем, что на вооружение приняли ручной пулемет и пистолет-пулемет.

Поэтому неожиданным было внесенное военными и обсуждавшееся в 1939—1940 годах, в период максимального развертывания производства оружия, предложение сократить заказ на пулеметы Максима. При этом ссылались на их несоответствие новым армейским требованиям и указывали на давно известные недостатки — большой вес материальной части пулемета и станка, неудобства водяного охлаждения, нестабильность холщовой ленты и проч.

Как показали последующие события, такая постановка вопроса была ошибочной. Неправы были не только военные, но и наркомат вооружения и я, как нарком. Мы не только не выступили против вышеупомянутого предложения, но и согласились с тем, что, мол, достаточно иметь ручные пулеметы того же калибра 7,62 миллиметра. Таким образом, в 1940 году выпуск станковых пулеметов Максима практически был прекращен, а созданные для их производства мощности переведены главным образом на изготовление запасных частей и проведение заводского ремонта.

Не прошло и года, как ошибка стала очевидной. С первых же дней Великой Отечественной войны станковые пулеметы понадобились в больших количествах, как важное и необходимое для армии оружие. Но обстановка вынудила эвакуировать на восток в числе других и завод, ранее изготовлявший станковые пулеметы. Требование возобновить их выпуск поставило вооруженцев в затруднительное положение.

Лишь благодаря энергии и опыту вновь назначенного тогда наркома вооружения Д. Ф. Устинова, лично руководившего восстановлением производства станковых пулеметов, эту задачу сумели выполнить, перебросив необходимое оборудование и полуфабрикаты на другой завод в глубоком тылу. Туда же специальным поездом выехали рабочие и инженеры — специалисты пулеметного производства. В результате удалось, хотя и с некоторым опозданием, исправить серьезную ошибку, допущенную в этом отношении перед войной.

X

В довоенный период в нашей оборонной промышленности с целью обеспечить высокое качество продукции введена была система литерной документации, которая в несколько измененном виде теперь отражена в законах о стандартах. Кстати, несмотря на эти законы, техническую и технологическую дисциплину в ряде отраслей промышленности нарушают весьма часто, да и сами нарушения нередко легализуют своеобразными «узаконениями». На мой взгляд, это одна из главных причин выпуска продукции плохого качества. И, быть может, целесообразно было бы для устранения этого на предприятиях, особенно таких, которые изготовляют массовую продукцию по стандартам, использовать опыт военной промышленности.

На заводах оборонной индустрии в довоенное время была введена так называемая литерная система чертежей. В зависимости от степени готовности кон-

Как известно, в первую мировую войну характер боев в основном определялся скоростями и тяговыми силами, которые максимально могла развить конная тяга. Но хотя моторизация тогда имела малый удельный вес в военной технике и вследствие этого не произвела в ней коренных изменений, тем не менее появление механизированных средств изменило условия боя и вызвало необходимость усиленно работать над созданием нового вооружения. В военных условиях (1914—1919 годов) эту задачу решали в спешке и результаты были недостаточно эффективны.

В период между первой мировой и Великой Отечественной войнами все внимание советских вооруженцев было сосредоточено на том, чтобы на основе достижений науки и техники создать образцы оружия, отвечающие современным тактико-техническим требованиям.

Особенность нового типа вооружения определялась новыми условиями боя. Главное в этом отношении то, что с появлением в военном деле мотора, соприкосновение с противником должно было происходить при больших скоростях движения. Поэтому преимущества, как правило, получала сторона, которая за короткий промежуток времени боя могла дать большее число выстрелов и с большей меткостью.

Замена лошади мотором и непрерывное совершенствование моторов для наземной и авиационной военной техники дали, с другой стороны, возможность значительно усилить защиту, главным образом броневую. Соответственно определилась необходимость усиливать разрушительную силу вооружения, что зависело от качества и начальной скорости вылета снаряда.

Совокупность показателей скорострельности, меткости, разрушительной силы и маневренности определила требуемые качества нового вооружения. Чтобы обеспечить их, нужны были коренные изменения в конструкциях, повышенные качества материалов, в особенности металла, необходимо было перестроить технологические процессы в промышленности и расширить производственные мощности. Требовалось создать резервы мощностей на случай войны, чтобы с первых же ее дней обеспечить развертывание производственного аппарата для увеличенного снабжения армии боевой техникой.

Кстати замечу, что в предвоенные годы вооруженцы некоторых отраслей оборонной промышленности считали свою продукцию главной, исходной для любой военной техники, а остальное — разновидностями транспорта для вооружения. С этим не соглашались работники других отраслей. Такого рода «разногласия» были не только теоретическими, но сказывались и при разработке тактико-технических требований в случаях, когда возникали споры о том, «что чему подчиняется», о преимуществах в материально-техническом снабжении и т. п.

Мы, вооруженцы, разумеется, сделали своим девизом слова «Артиллерия — бог войны». Но Сталин, однако, уточнил значение вооружения, напомнив нам о роли боеприпасов, которые производились на заводах другого наркомата.

Разговор происходил в 1939 году в неслужебной обстановке и начался с того, что начальник ГАУ генерал артиллерии Савченко в шутку назвал меня «нашим Круппом», добавив:

— Все зависит от него. Все другие наркоматы оборонной промышленности работают на него, чтобы расширить рамки использования вооружения.

Сталин, улыбнувшись, заметил:

— Это будет неточно, если рассматривать вооружение не только с точки зрения наркомата вооружения, так как и оно играет подчиненную роль, то есть для того, чтобы доставить боеприпасы (средства разрушения) до цели и разрушить ее.

Присутствовавший при этом генерал авиации Локтионов добавил, что, следовательно, и авиация — не только транспорт для вооружения, ибо, например, бомбардировщики сами доставляют авиабомбы к цели.

— Значит, все сводится к разрушению цели,— сказал Сталин,— а это остается за боеприпасами. Сила взрыва боеприпасов определяет мощь всех родов войск, в том числе и авиации, и служит мерилом военно-экономической целесообразности затрат на ту или иную боевую технику. Неразумно строить дорогой бомбардировщик на большой радиус действия, если заряд авиационной бомбы будет недостаточно мощный.

Итак, создание новых образцов боевой техники в предвоенный период представляло собой сложную задачу, выполнение которой требовало много времени и труда. Армия же не могла оставаться с вооружением прежнего уровня в ожидании, пока промышленность в полной мере обеспечит ее современным. Поэтому актуальной стала модернизация штатного вооружения, находившегося в армии. Эту работу развернули широко.

Модернизации подверглись все основные виды вооружения, начиная от винтовки, кончая средней и тяжелой артиллерией. Тем временем конструкторские организации совместно с научно-исследовательскими институтами подготавливали создание нового стрелкового автоматического оружия и артиллерийских систем различных калибров для всех родов войск.

В тот же период проводились большие работы по укреплению и расширению производственной и технической базы промышленности вооружения. Реконструировали и расширяли старые заводы, строили новые. Разрабатывали новые технологические процессы и формы организации производства. Изыскивали высокопрочные конструктивные материалы и экономичные заменители металла.

Создавали широкую сеть заводских и самостоятельных конструкторских организаций, специальные научно-исследовательские центры. Под руководством известных специалистов готовили молодых вооруженцев, из которых выросла плеяда талантливых конструкторов и ученых. Впоследствии они многое сделали для обеспечения Советской Армии к началу Великой Отечественной войны вооружением, в большей части превосходившим вооружение войск западных государств. Не случайно именно вооруженцы были первыми Героями Социалистического Труда. Золотая Звезда «Серп и Молот» за № 2 была вручена конструктору В. Дегтяреву (первый номер Золотой Звезды «Серп и Молот» был у И. В. Сталина); а следующие звезды вручили конструкторам-вооруженцам В. Грабину, Б. Шпитальному, И. Иванову, Ф. Токареву.

Выдвинутый партией лозунг «Кадры решают все» стал логическим дополнением лозунга «Техника в период реконструкции решает все».

Директивы партии по кадрам в наибольшей степени относились к оборонной промышленности, которая особенно быстро обогащалась первоклассным оборудованием для создания военной техники, не уступающей лучшей зарубежной. По решению партии и правительства все артиллерийские и оружейно-пулеметные заводы были выделены в особую группу предприятий, получивших ряд льгот, которые обеспечивали заинтересованность рабочих и служащих и способствовали сокращению текучести кадров.

Этому решению предшествовало совещание у И. В. Сталина с участием директоров и секретарей партийных организаций заводов. Обсуждались вопросы усиления заботы и внимания кадрам с целью их закрепления на предприятиях, причем эта задача была признана главной в деятельности директоров и секретарей парторганизаций заводов.

Партия также большое внимание уделяла подготовке квалифицированных рабочих через заводскую учебную сеть — индивидуальное ученичество, ФЗУ и различные курсы. В целях дальнейшего улучшения и расширения такой подготовки был выдвинут проект создания системы государственных трудовых резервов с передачей ей ФЗУ, ранее находившихся в ведении наркоматов.

Помню, мы, наркомы, не очень обрадовались такому решению вопроса. Казалось, оно лишит нас известных преимуществ. Мне тем более не хотелось передавать ФЗУ, поскольку они имелись на всех артиллерийских и пулеметно-оружейных заводах, были хорошо оснащены и входили в число лучших в стране. Поэтому при обсуждении этого проекта в ЦК я, как и ряд других наркомов, выступил с возражениями.

Хотя мы в основном стремились доказать нецелесообразность передачи ФЗУ во вновь организуемое ведомство, так как оно не имело материальной ба-

струкции и отработки технологического процесса, документация обозначалась литерами «А» и «Б». По установленному правительством порядку, вся документация, отработанная по литеру «Б», подлежала утверждению наркомом промышленности и наркомом обороны или их доверенными лицами, то есть производством и заказчиком. Без их разрешения на заводах никто не имел права вносить даже незначительные изменения, поправки или допускать какие-либо другие отклонения.

Такой порядок соблюдали строго. На первый взгляд он может показаться несколько бюрократическим. Но это не так. Литерная система не мешала самому широкому использованию новейших достижений науки и техники и в то же время обеспечивала стабильность и хорошее качество продукции, так как соответствующие изменения в конструкции или в технологию их изготовления вносили с согласия двух наркомов, а следовательно, после тщательного изучения новшеств с точки зрения интересов производства и заказчика.

Такие требования, естественно, предъявляли не ко всем видам военной продукции. Для массовых видов оружия — винтовок, пулеметов, автоматов, пушек мелкого и среднего калибра и т. д. были обязательными стабильность и исключительно высокая взаимозаменяемость изделий в целом и по всем узлам и деталям без исключения, вследствие чего документацию на их производство доводили до уровня литера «А», а затем и литера «Б».

Не делалось это в отношении продукции, которую изготовляли в сравнительно небольших количествах, которая требовала немедленного внедрения новшеств или была составной частью военной техники, не нуждавшейся в доводке до литера «Б». Такой была, например, самоходная установка, которая могла морально устареть за сравнительно недолгое время.

Система литерной документации дисциплинировала производство. И то, что наиболее массовое вооружение к началу войны было отработано до состояния литера «А» или литера «Б», сыграло значительную роль в обеспечении его стабильности и высокого качества в мирное время и в годы войны, а также в том, что было быстро развернуто производство этого вооружения в масштабах, соответствовавших требованиям военного времени.

Исключительно важную роль сыграла и приемка изготовленного оружия военными представителями непосредственно на заводах. Опыт военной приемки тех лет заслуживает внимательного изучения и широкого освещения тем более, что из него могут почерпнуть много полезного для себя все отрасли промышленности.

Военные представители (военпреды) на заводах оборонной промышленности были наделены широкими полномочиями и большими правами. На них возлагались не только приемка изделий, но и контроль точного соблюдения технологической дисциплины, своевременного совершенствования военной продукции, систематического улучшения производства, внедрения прогрессивных методов, снижения себестоимости изделий, а также проверка предварительных и отчетных калькуляций. Военпреды контролировали и выполнение заданий по расширению мощностей как для реализации текущих заказов на вооружение, так и в соответствии с мобилизационными планами.

Здесь я коснусь лишь некоторых сторон этой деятельности, связанных с заботой о качестве вооружения.

В случае нарушений утвержденной технологии или отступлений от утвержденных чертежей военпреды имели право применять санкции — прекращать приемку и тем самым останавливать производство. Они могли также оказывать финансовый нажим, если заводы не выполняли оговоренные технические и экономические условия.

Военная приемка имела и уязвимое место: не всегда осуществлявшие ее работники обладали теми качествами, которые нужны при больших правах и полномочиях. В тех случаях, когда военпредами назначались недостаточно квалифицированные или необъективные люди, возникали неоправданные конфликты, наносившие ущерб производству и обеспечению вооружением Красной Армии.

Но и такие случаи не умаляют в целом исключительно благотворной роли военной приемки.

Ее значение еще больше возросло во время войны. В этот период, когда чрезвычайно напряженные и сложные условия работы промышленности подчас толкали на отклонение от некоторых показателей качества, военная приемка стала сдерживающим фактором, она препятствовала ухудшению качества вооружения. Многое улучшилось в этой области и в связи с тем, что после начала войны начальником Главного артиллерийского управления Красной Армии был назначен генерал-полковник Н. Д. Яковлев, большой знаток вооружения, предъявлявший строгие требования к качеству продукции и вместе с тем объективно решавший спорные вопросы.

К сожалению, не всегда и не все руководители промышленности верно понимали значение такого контроля качества. Приведу пример. Как-то во время войны Герой Социалистического Труда А. С. Елян, один из лучших организаторов производства, крупный инженер-новатор, пользовавшийся заслуженным уважением и доверием руководителей партии и правительства, сочтя военную приемку ненужной, обратился в соответствующие инстанции с настойчивым предложением отменить ее. Он был директором прославленного артиллерийского завода и уверял, что отмена военной приемки на его заводе не повлияет на качество продукции, а количество ее увеличит, так как производство избавится от «мелочных придирок». Кроме того, таким путем можно-де сэкономить средства, затрачиваемые на военную приемку.

Просьбу удовлетворили. И зря. Очень скоро качество продукции резко ухудшилось. Поскольку ошибочное разрешение отменить военную приемку дали высшие инстанции, а отвечать за это должен был кто-то другой, то, по установившемуся порядку, на завод были посланы различные комиссии, в том числе и от органов госбезопасности. В поисках «козла отпущения» арестовали одного из руководителей ОТК, который сразу же признал свою «вину».

Такой поворот событий оказался, конечно, неприемлемым для А. С. Еляна, и он обратился к Н. Д. Яковлеву с просьбой восстановить на заводе военную приемку, что и было сделано. Но ущерб, и немалый, уже был нанесен.

Те, кто работал в оборонной промышленности во время войны и до нее, должны выразить глубокую благодарность руководителям военной приемки за большую помощь в предотвращении таких печальных случаев на других заводах. А на будущее, быть может, стоит пожелать, чтобы везде в промышленности с достаточной серьезностью относились к таким начинаниям, как отказ от контроля ОТК и переход на самоконтроль.

XI

Организационные, хозяйственные и технические ошибки и неполадки в руководстве оборонной промышленностью не могли, однако, остановить ее развитие и тем более изменить путь и направление, которые определила для нее Коммунистическая партия Советского Союза.

В. И. Ленин на VIII съезде партии 18 марта 1919 года говорил: «Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли. Господствующий класс никогда не отдаст своей власти классу угнетенному. Но последний должен доказать на деле, что он не только способен свергнуть эксплуататоров, но и организоваться для самозащиты, поставить на карту все... Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией»[1].

Коммунистическая партия, осуществляя заветы В. И. Ленина, на протяжении всей истории строительства Советского государства уделяла наибольшее и преимущественное внимание усилению оборонной мощи страны, укреплению и вооружению Красной Армии в целях защиты мирного труда народа от любых посягательств врагов.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 38, стр. 138—139.

зы и опыта, однако руководило нами главным образом нежелание лишиться права использовать и распределять по своему усмотрению оканчивающих ФЗУ. В частности, я в своем выступлении особо подчеркнул, что изъятие ФЗУ из системы наркомата вооружения ослабит подготовку рабочих кадров для военных заводов, так как она проходит в специальных условиях.

Выслушав все возражения, И. В. Сталин обоснованно отверг их. Признаюсь, по мере того, как он говорил о государственном значении организации трудовых резервов, я все яснее видел, что мой подход к этому делу был попросту узковедомственным. И уже не казалось, что переход ФЗУ из системы оборонной промышленности повлияет на подготовку ее кадров.

Мобилизационная готовность кадров, говорил Сталин, нужна не только для военных заводов, а и для всей промышленности; в военное время вся промышленность будет военной, и она должна быть к этому подготовлена. Оборонные же наркоматы, продолжал он, должны отвечать за мобилизационную готовность и невоенных заводов. Далее он разъяснил, что и с созданием трудовых резервов оборонные наркоматы и заводы будут нести ответственность за работу ФЗУ, ранее находившихся в их системе, оказывать им помощь оборудованием, инструментом, материалами, инструкторскими кадрами и всем необходимым.

Жизнь, как известно, полностью подтвердила правильность создания общегосударственной системы подготовки трудовых резервов, сыгравшей важную роль в дальнейшем развитии промышленности, в том числе и оборонной.

Иначе сложилась история другого предвоенного закона, направленного на борьбу с текучестью рабочей силы.

Дело в том, что третий пятилетний план предусматривал значительные темпы роста производственных мощностей за счет строительства новых заводов, расширения и реконструкции действующих. Прирост выпуска всей промышленной продукции должен был достигнуть 92 процентов, а в машиностроении и металлообработке еще более высокого показателя — 129 процентов. Темпы же подготовки рабочих, особенно квалифицированных, а также инженеров, техников и хозяйственников не обеспечивали новых потребностей.

Образовался разрыв, промышленности не хватало кадров, а это наряду с другими причинами создавало благоприятную почву для текучести. Недостаток квалифицированных производственных руководителей восполняли за счет неопытных работников, поэтому на заводах, особенно на новых, были различные производственные и организационные неполадки, а также простои и даже аварии. Наконец, плохо обстояло с материальной заинтересованностью и другими стимулирующими условиями, в результате заработок рабочих был неустойчивым. Все это также вызывало текучесть рабочей силы и массовые прогулы, принимавшие угрожающий характер.

Установленные для артиллерийских и пулеметно-оружейных заводов льготы создали на этих предприятиях довольно благоприятные условия. Кадры здесь стали более стабильными, хотя в конечном итоге и их могла захватить текучесть. Другие же предприятия остальных наркоматов были в худшем положении: на тех заводах люди часто менялись, много было прогулов.

Наркомы неоднократно обращались к И. В. Сталину и другим руководителям партии и правительства с предложением издать закон, направленный на борьбу с прогулами и текучестью рабочей силы. Сталин отвечал, что для этого нужны не особые законы, а повышение качества технического и хозяйственного руководства. Он потребовал от всех наркомов и директоров предприятий улучшения их работы. Но масштабы текучести, прогулов, нарушений производственной дисциплины не сократились. Этому, несомненно, способствовало и то, что ситуация 1937—1938 годов резко отразилась на престиже руководителя — мастера, начальника участка, цеха и даже директора завода. Одних постановлений о повышении их роли и ответственности было уже недостаточно для укрепления производственной дисциплины.

В 1940 году Центральный Комитет партии принял более решительные меры. Был подготовлен проект закона о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с работы. При обсуждении его на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) присутствовали и наркомы — члены ЦК. Обращаясь к ним И. В. Сталин сказал, что такой закон — вынужденная мера, вызванная прежде всего неспособностью руководителей наркоматов и заводов добиться стабильности кадров и укрепления производственной дисциплины.

Этот упрек был в значительной мере заслуженным. Поэтому мы, наркомы, хотя и были рады опубликованному 26 июля 1940 года Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР, запрещающему самовольный уход рабочих и служащих с заводов, в то же время испытали горечь и неудовлетворенность своей работой, увидели в ней немало серьезных упущений. И долго еще это ощущение вины не покидало нас, в чем мы откровенно признавались друг другу при встречах. Как и мои коллеги, ныне покойные В. А. Малышев, А. И. Ефремов, И. Ф. Тевосян, В. В. Вахрушев, я отчетливо понял, что наше умение руководить нужно непрестанно совершенствовать и что ключом к решению всех задач производства является забота о людях, создание благоприятных условий для их труда.

Теперь, пожалуй, многие не знают, что в то время большинство профессий на заводах назывались «мужскими», так как нередко требовали значительных физических усилий. ...Для вовлечения в производство женщин — а это сыграло большую роль в деле укрепления кадров промышленности — прежде всего нужно было провести в широких масштабах так называемую малую механизацию, требовавшую сравнительно немного времени и небольших затрат. Больше средств ушло на строительство детских садов и яслей, столовых и других учреждений, высвобождавших женщин от многих домашних дел. Но это полностью себя оправдывало.

По указанию ЦК местные партийные организации взяли под свой контроль это важное государственное дело и одновременно развернули большую агитационно-массовую работу по вовлечению женщин в производство. Она увенчалась значительным успехом. К началу 1940 года женщины составили 41 процент всех рабочих и служащих в промышленности. Они быстро осваивали производство на самых ответственных и сложных участках, а на многих операциях действовали даже более ловко, чем мужчины, особенно там, где выполнялась тонкая и точная работа.

Исторические решения и повседневная помощь партии в подготовке квалифицированных кадров, образование государственных трудовых резервов, вовлечение женщин в производство и борьба с текучестью способствовали созданию в нашей стране такого крепкого и устойчивого тыла, который обеспечил в годы Великой Отечественной войны все необходимые условия для Победы. Женщины и подростки во время войны заняли место мужчин, ушедших на фронт. Заменив на производстве своих мужей, братьев и отцов, они в исключительно тяжелых условиях с честью выполнили трудную, ответственную задачу по снабжению фронта всем необходимым.

Что касается высококвалифицированных кадров оборонной промышленности, то только благодаря тому, что они были созданы в довоенное время, стало возможным в небывало короткие сроки, в течение нескольких месяцев, не только восстановить эвакуированные заводы, но и значительно увеличить выпуск продукции. Без таких опытных, отлично знающих дело людей мы не смогли бы это сделать даже и в том случае, если бы у нас было больше оборудования.

Я не сомневаюсь, что эта огромная деятельность партии была бы еще более плодотворной, если бы И. В. Сталин, сформулировав лозунг «Кадры решают все», не допустил в то же время массового истребления кадров квалифицированных руководителей и специалистов, преданных Советскому государству. Эти репрессии, особенно в 1937—1938 годах, нанесли экономике страны большой ущерб, который смогли возместить лишь огромные жизнетворные силы, заложенные в социалистическом строе.

В последние предвоенные годы внутриполитическая обстановка, казалось, улучшилась в этом отношении. Но то была лишь видимость, за которой скрыва-

лась прежняя система избиения кадров, правда, лучше замаскированная, но не менее разнузданная. Политические авантюристы, пробравшиеся в различные органы власти, продолжая в своих карьеристских целях гнусную, человеконенавистническую работу, последовательно обезглавливали важные участки оборонной промышленности и Красной Армии.

В 1941 году они искусственно создали ряд крупных «политических» дел, в связи с чем были проведены аресты среди высшего военного командования и руководящего состава оборонной промышленности. «Обоснованность» этих дел достаточно ясно показывает, например, мой арест, о котором рассказано в начале этих записок.

Репрессиям были подвергнуты многие ответственные руководители промышленности вооружения — заместители наркома, начальники главков и некоторые директора заводов. Этими официальными акциями к началу войны были «подытожены» результаты предвоенной деятельности главных руководителей промышленности вооружения. Впрочем, как показано выше, уже в первый месяц войны выяснилось, что это была «ошибка».

Тем не менее нашлись люди, которые пытались и в дальнейшем использовать принятые перед войной репрессивные меры в отношении руководства промышленностью вооружения в качестве доказательства того, что работа этой ведущей отрасли оборонной индустрии была тогда неудовлетворительной и что именно с этим связаны неудачи на фронте в начале войны. Кое-кто стремился таким путем прикрыть свои собственные упущения, а любители легкой славы создавали видимость «чудес», приписывая себе заслуги в быстром расширении и освоении новых видов вооружения, хотя на самом деле это подготовили долгие годы напряженного творческого труда всего коллектива вооруженцев в предвоенный период.

XII

Крупная и комплексная промышленность вооружения, детище индустриализации СССР, к началу Великой Отечественной войны имела большую и прочную материально-техническую базу. Несмотря на трудности и множество неполадок, она была хорошо подготовлена к предстоящей войне. Чтобы увидеть это, нужно обратиться к фактам, касающимся предвоенного состояния всей нашей индустрии, и в частности оборонной. Это тем более важно, что нередко пытаются объяснить неудачи на первых этапах войны неподготовленностью советской экономики, в том числе промышленности.

В ходе войны с гитлеровской Германией и с ее союзниками Советский Союз одержал не только военную, но и экономическую победу, продемонстрировал огромное превосходство социалистического строя над капиталистическим, социалистической экономики над капиталистической. Такой исход войны был бы невозможен без наличия у нас современной и хорошо развитой промышленности. Отрицать это — значит верить в то, что исторические победы Красной Армии над гитлеровскими и прочими фашистскими армиями были «чудом», между тем как на самом деле они явились закономерным результатом десятилетий развития нашего государства и его мощи.

К моменту нападения на Советский Союз фашистская Германия значительно увеличила свою военно-экономическую мощь, накопленную за счет американских кредитов и захвата ресурсов и промышленности европейских государств. Таким образом, советской экономике пришлось вступить, по существу, в единоборство с гигантской военной машиной, считавшейся тогда самой могущественной. Тут-то и вступили в действие основные, решающие факторы, обусловленные характером нашего социалистического строя и обеспечившие в конечном счете превосходство сил Советского Союза и всемирно-историческую победу над фашизмом.

Одним из главных факторов являлась неодолимая прочность тыла Красной Армии, сочетавшего высокую политическую сознательность, беззаветный патриотизм и трудовой энтузиазм всех народов Советского Союза, готовых на любые жертвы и лишения ради защиты социалистической Родины, с развитой экономикой, мощной первоклассной промышленностью.

Вследствие первых неудач на фронте и временной потери значительных и важных экономических районов производственные мощности нашей страны сократились примерно на 38 процентов. Кроме того, часть предприятий в связи с переходом на новую, военную продукцию несколько уменьшила в первые месяцы объем производства. По этим причинам в ноябре 1941 года выпуск валовой продукции всей промышленности Советского Союза снизился более чем вполовину в сравнении с июнем того же года. К довоенному уровню мы пришли только три года спустя, в октябре 1944 года, то есть на заключительном этапе войны, хотя, скажем, коэффициент использования оборудования и коэффициент сменности во время войны были намного выше, чем в июне 1941 года. Кроме того, валовая продукция 1944 года, оценивавшаяся в 11,8 миллиарда рублей, по структуре отличалась от довоенной, стоившей 12 миллиардов, да и цены разные: рубль валовой продукции в 1944 году отражал меньшую трудоемкость и более дорогое сырье, чем в июне 1941 года.

Все это означает, что даже в последний период войны наша страна использовала меньшие промышленные мощности, чем накануне нападения гитлеровской Германии.

Конечно, судить о состоянии промышленности только по объему валовой продукции нельзя, так как это может привести к совершенно неверным выводам. Как известно, внутри валовой продукции могут быть серьезные несоответствия. Так оно и было в последние три года перед войной, когда, например, валовая продукция всей промышленности росла ежегодно в среднем на 13 процентов, а основа всей индустрии — черная металлургия, которая имела первостепенное значение и определяла военную мощь государства, в эти же годы потеряла темпы, взятые ею во второй пятилетке.

Это обстоятельство требует объяснения.

На протяжении всего существования Советского государства партия уделяла развитию черной металлургии наибольшее внимание. В. И. Ленин называл железо «одним из главных продуктов современной промышленности», одним «из фундаментов, можно сказать, цивилизации». Уже в 1924 году XIII съезд РКП(б) в своей резолюции заявил, что «в области поднятия государственной промышленности важнейшей задачей наступающего периода является поднятие металлургии». А XVIII съезд ВКП(б) в 1939 году указал, что развитие черной металлургии «во многом определяет рост всей промышленности и народного хозяйства и потому требует особой постоянной заботы об увеличении производственных мощностей».

Наибольшие для предвоенного периода результаты в этом отношении были достигнуты в 1931—1937 годах, когда руководство тяжелой промышленностью возглавлял Г. К. Орджоникидзе. Осложнившаяся затем внутриполитическая обстановка замедлила поступательное движение советской индустрии, причем такая важная отрасль, как черная металлургия фактически топталась на месте и питалась инерцией предыдущих лет.

Производство в черной металлургии с 1933 по 1937 год возросло в два-три раза, а за следующие три года (1938—1940) всего лишь на 3—8 процентов, притом среднегодовой прирост составлял во второй пятилетке примерно 40—60 процентов, а в третьей — только 1—3 процента.

Не менее убедительны данные о вводе основных металлургических агрегатов за те же периоды. Так, за пять лет (1933—1937) были введены 19 доменных, 91 мартеновская печь и 44 прокатных стана, а за последующие годы (1938—1940) соответственно 6,18 и 9.

Несмотря на столь явное падение темпов развития черной металлургии, в те годы звучали заявления о том, что ее рост якобы усилился и даже объявляли это результатом проведенных массовых репрессий, которые будто бы «очистили атмосферу». Такие ножницы между оценкой и действительностью были возмож-

ны только в условиях тех лет, когда услужливая статистика приносила объективные данные в жертву политической конъюнктуре. Что же касается урона, который фактически понесла тогда промышленность, его удалось возместить лишь благодаря огромным, поистине неисчерпаемым ресурсам всех видов, в том числе и природным богатствам страны.

Поскольку речь зашла о черной металлургии, следует сказать, что для нее, как, впрочем, и для всей промышленности, главные задачи в предвоенный период состояли не только в увеличении объема и повышении качественного уровня производства, но и в коренном изменении дислокации предприятий. Можно сказать, что предпринятое по решению XVI съезда партии (1930 год) создание новой металлургической базы на востоке СССР, размещение в глубоком, недосягаемом для оружия того времени тылу значительных металлургических мощностей спасло нашу страну от катастрофы, которой могли закончиться первые неудачи в начале войны. Ведь тогда вся металлургия юга и центра была выведена из строя и для компенсации потерянных мощностей потребовалось бы несколько лет, если бы у нас не было крупной металлургической промышленности в восточных районах, что фактически и сыграло решающую роль в экономическом обеспечении разгрома немецко-фашистских оккупантов.

В самые тяжелые годы войны нужды фронта обеспечивались в основном черной металлургией востока страны, а также запасами металла, созданными в довоенный период. Что касается поставок металла по ленд-лизу, они играли лишь роль подспорья. Например, в 1942 году доля импорта всех видов проката не превышала полутора процентов. Можно с уверенностью сказать, что и этого не потребовалось бы, если бы наша металлургия в последние предвоенные годы сохранила темпы развития предыдущих лет.

Последствия внутриполитической обстановки 1937—1938 годов были, как уже отмечалось, менее чувствительными в ряде других отраслей промышленности, особенно оборонной, и изживались они там быстрее. Это позволило, например, военной индустрии, в отличие от черной металлургии, добиться и в последние предвоенные годы больших темпов развития.

Мне довелось слышать суждения, согласно которым оборонная промышленность, в отличие от советской экономики в целом, оказалась будто бы не подготовленной к войне. Более того, первые неудачи на фронте пытались объяснять якобы существовавшей к моменту начала военных действий нехваткой вооружения и другой боевой техники. Нижеследующее показывает, насколько ошибочно такое предположение.

Да, именно предположение, ибо трудно назвать иначе оценки подобного характера, которые даются чаще всего без анализа фактических данных. Для большей убедительности ссылаются на свидетельства очевидцев относительно отдельных фактов, преувеличивая их значение и делая на этой шаткой основе явно несостоятельные выводы и обобщения.

Недостаточным уровнем производства вооружения пробуют объяснить, например, факт, что в первые месяцы войны в армии не хватало винтовок и что ими лишь на 30 процентов обеспечивались вновь формируемые дивизии, а в тылу обучали призванных с помощью деревянных макетов личного оружия. К сожалению, действительно, было много таких случаев в прифронтовых районах и в глубоком тылу. Но объяснялись они далеко не теми причинами, о которых говорят многие из тех, кто ссылается на эти факты. К началу войны армия имела около восьми миллионов винтовок. А вот вопрос о том, как они были использованы, до сих пор остается совершенно неосвещенным. То же самое нужно сказать в целом относительно исключительно важного вопроса, где были размещены крупные запасы военного имущества, в том числе и боевой техники, какова была их судьба. Между тем именно такой анализ поможет понять, с чем были связаны факты нехватки вооружения в целом ряде случаев.

Суждения о неподготовленности оборонной индустрии неверны еще и потому, что при этом ее противопоставляют промышленности в целом. Но ведь, во-первых, военный потенциал страны гарантирует вся промышленность, кото-

рую во время войны в большей ее части переключают на изготовление оборонной продукции. А во-вторых, в предвоенный период выпуск военной продукции из года в год не только увеличивался, но и темпы его роста намного превосходили темпы роста производства мирной продукции. Такой рост военного производства был достигнут при колоссальном напряжении народного хозяйства, на которое сознательно пошли партия и весь советский народ во имя укрепления обороноспособности страны.

Следует добавить, что оборонная промышленность уже тогда имела значительные резервы увеличения выпуска продукции, которые не могли быть развернуты в условиях мирного времени, так как это потребовало бы дополнительной рабочей силы и ресурсов за счет других, невоенных отраслей.

Но как только началась война, такое переключение ресурсов начало немедленно осуществляться, и уже через месяц, в июле 1941 года, доля валовой продукции оборонной промышленности выросла еще на тридцать, а в августе — на сорок процентов по сравнению с июнем. Никаких существенных изменений в количестве заводов у наркоматов оборонной промышленности за это время не произошло. Не были, да и не могли быть введены также какие-либо значительные производственные мощности. Следовательно, рост выпуска валовой продукции происходил только за счет перевода оборонных заводов на режим военного времени. Это означало увеличение коэффициента использования оборудования, переход на полную трехсменную работу и непрерывную неделю, увеличение числа рабочих и т. д.

В первую осень войны произошло, однако, снижение выпуска военной продукции, связанное с эвакуацией заводов на восток и другими причинами. Оно началось в октябре и достигло самого низкого уровня в ноябре. Но уже в декабре 1941 года наметился постепенный подъем, который усилился в 1942 году, когда закончилось в основном перебазирование заводов и освоение их на новом месте.

Тогда же была завершена перестройка оборонной промышленности. В ее состав было передано много предприятий из других отраслей, в том числе такие крупные, как Уральский завод тяжелого машиностроения, Нижне-Тагильский вагоностроительный, Челябинский тракторный, достраивавшийся в Свердловской области станкостроительный и другие. В дополнение к своим мощностям они приняли и оборудование заводов, эвакуированных из западных районов страны. Наконец, на базе значительного числа предприятий, главным образом сельскохозяйственного, текстильного машиностроения и других с аналогичным производственным профилем, был создан новый наркомат — минометно-минного вооружения.

В таком новом составе оборонная промышленность в июне 1942 года по выпуску валовой продукции достигла уровня августа 1941 года. В дальнейшем рост продолжался ежемесячно, и в целом за 1942 год доля военного производства увеличилась до сорока процентов всей валовой продукции промышленности страны. Фактически уже в 1942 году оборонная промышленность достигла полного использования всех своих возможностей по изготовлению продукции для фронта.

Наиболее подготовленной к началу войны была промышленность вооружения, занятая производством артиллерийского и стрелкового оружия. В этом нет ничего удивительного, так как данная отрасль создавалась столетиями, была хорошо оснащена и располагала опытными кадрами. В начале войны промышленность вооружения сумела выйти на уровень, обеспечивавший полное удовлетворение потребностей фронта и других отраслей оборонной промышленности, для которых она являлась одновременно комплектующим поставщиком оружия, а также поковок, литья и специальных металлов.

О том, что промышленность вооружения была наиболее подготовлена к мобилизационному развертыванию, свидетельствует и то, что уровень производства на орудийных и оружейно-пулеметных заводах оказался уже в 1942 году настолько высоким, что, в отличие от других отраслей оборонной промышленности, не потребовалось значительно увеличивать это производство в дальнейшем.

XIII

Ни одно государство, какой бы сильной экономикой оно ни обладало, не выдержит, если оборонная промышленность еще в мирный период перейдет на режим военного времени. Полностью потребности современной войны могут быть удовлетворены лишь непрерывным развертыванием в ходе военных действий производственного аппарата всей промышленности, всех отраслей народного хозяйства.

Именно такова и была политика Коммунистической партии и Советского правительства в описываемые годы. Исходя из дальновидной оценки предвоенной ситуации, партия организовала создание таких потенциальных мощностей оборонной промышленности, которые в интересах всей экономики страны нецелесообразно использовать в мирное время, но зато можно быстро развернуть в случае войны. Более того, заблаговременно были созданы предпосылки для того, чтобы с первых же дней войны, как того требует военная экономика, привлечь к производству оборонной продукции все предприятия, которые до этого производили мирную продукцию.

Вот почему в военное время оказалось возможным перевести предприятия почти всех отраслей промышленности на изготовление изделий, которые прямо или косвенно шли на нужды фронта и таким образом значительно дополняли продукцию, выпускаемую заводами наркоматов оборонной промышленности.

В связи с этим нельзя не коснуться того решающего значения в развертывании промышленности вооружения, которое в предвоенный период придавалось обеспечению заводов станками, инструментом и технологическим оборудованием.

Отечественное станкостроение, которое, по существу, начало создаваться в первой пятилетке, далеко не удовлетворяло потребности новостроек и реконструируемых предприятий. Поэтому начиная с 30-х годов промышленность вооружения получила значительное количество станочного, кузнечно-прессового, прокатного и другого оборудования, закупленного за границей. Значительную его часть составляли специальные станки для артиллерийских заводов. Эти заводы в связи с большой программой строительства военно-морского флота получили заказы на гребные валы и другие крупногабаритные детали для судов, изготовлявшиеся на том же оборудовании, что и крупная сухопутная и морская артиллерия.

Партия и правительство в предвоенные годы особенно усилили заботу о пополнении оборудования промышленности вооружения за счет импорта. Более того, ЦК ВКП(б) в то предгрозовое время требовал увеличить заказы наркомату внешней торговли и ускорить их оформление, предупреждал о возможности такого ухудшения конъюнктуры, которое помешает закупкам за границей. Именно в тот период наркомату вооружения были выделены сравнительно крупные средства для дополнительного импорта специального станочного и другого оборудования.

Не всем тогда была понятна необходимость такой меры. Работники наркомата внешней торговли даже упрекали наркомат вооружения в том, что он «протащил» это решение, а между тем несвоевременно представляет документацию на заказы, вследствие чего их реализация задерживалась. Со своей стороны иностранные фирмы требовали установить длительные сроки для изготовления станков.

А обстановка становилась все более напряженной, и дорог был каждый день. Когда И. В. Сталину доложили на одном из заседаний Комитета Обороны, что размещение импортных заказов задерживается, он предложил немедленно выяснить причины. С этой целью вызвали представителей наркомата внешней торговли. Они явились примерно через 20—30 минут. Согласно их объяснениям, задержка была вызвана трудностями размещения заказов, так как фирмы не соглашались принять предложенные наркоматом вооружения сроки.

Попутно представители наркомата внешней торговли пожаловались на то, что заказаны очень дорогие станки, а один из них, например, по стоимости равен сумме, получаемой за такое количество экспортируемой пшеницы, которая может занять трюмы большого парохода.

Пример был очень яркий, и он привлек внимание. Помолчав, Сталин сказал:

— Хлеб — это золото... Надо еще раз подумать.

Это замечание противоречило его же собственным прежним настойчивым указаниям, которые мы, вооруженцы, считали совершенно правильными и требующими немедленного выполнения. Поэтому в ходе обсуждения я заметил:

— Если станки не будут своевременно заказаны, то в случае войны золото их не заменит.

Комитет Обороны на этом заседании вновь подтвердил ранее принятое решение и дал наркомату внешней торговли указание обеспечить закупку станков для заводов вооружения.

И все же этот заказ на импортное оборудование содержал ошибки. Что касается специальных станков для производства крупных гребных валов, а также мощной морской и сухопутной артиллерии, то они попросту не понадобились во время войны. Это произошло отчасти из-за того, что военно-морское судостроение тогда, как уже отмечалось, было свернуто. Не потребовалась и сухопутная сверхтяжелая артиллерия, хотя на увеличении ее производства в предвоенный период настаивал наркомат обороны. Военная ситуация оказалась совершенно противоположной той, какая намечалась, и предпочтение было отдано производству артиллерийских систем меньшего калибра. Так выявился очень крупный просчет, нанесший большой ущерб экономике страны.

С неприязнью отнеслись к заказу на специальные станки и на ряде артиллерийских заводов, что было обусловлено трудностями освоения этого оборудования. Сроки на его установку и использование были жесткими. Их подчас срывали, что влекло за собой неприятности для руководства заводов. Наконец, уже смонтировав и начав эксплуатировать импортное оборудование, подчас не оформляли соответствующей документации. Это также имело свою причину. Дело в том, что станки были дорогие, а это заметно увеличивало амортизационные начисления, которые производились на основе документации со дня пуска и соответственно отражались на себестоимости продукции, то есть одном из основных критериев при оценке работы предприятий.

Посыпались жалобы, связанные, по существу, как раз с этими трудностями. Время еще было мирное, и некоторые руководители предприятий, не учитывая потребности в создании резерва мощностей в соответствии с мобилизационным планом, утверждали, что станки не только очень дорогие, но и вообще их не требуется в таком количестве. Комиссии советского и партийного контроля, а также прокуратура, куда поступали эти жалобы, потребовали объяснений от меня, как наркома, от П. Н. Горемыкина, который был тогда первым моим заместителем, и от начальника технического управления наркомата Э. А. Саттеля. В конце концов мы согласились на небольшое уменьшение заказа, но при этом не отказались от большинства нужных станков.

В целом же заказанное в 1939—1940 годах импортное оборудование впоследствии, во время войны, сыграло большую роль. Дело в том, что эти станки поступали и в период военных действий по ленд-лизу. Для их изготовления необходим долгий срок. Очевидно, что если бы они не были заказаны в предвоенные годы, то поступили бы в лучшем случае ко времени окончания войны. А именно в них, особенно в специальных станках для артиллерийского производства, во время войны была наибольшая нужда. Таким образом, в свете обстановки того времени и намечавшихся до войны планов на будущее решение об импорте оборудования было правильным и весьма предусмотрительным.

Значительную роль сыграла и осуществленная еще до войны организация производства станков на предприятиях самых различных отраслей индустрии, в том числе на заводах промышленности вооружения. Дело в том, что положение с импортом из года в год становилось все напряженнее. А заводы промышленности вооружения представляли собою самую подходящую базу для развития

станкостроения, причем не только для удовлетворения своих потребностей, но и для всего народного хозяйства.

Основные предпосылки этого состояли в следующем: текущие заказы на вооружение не полностью загружали имевшиеся и вновь создаваемые по мобилизационному плану производственные мощности, особенно в заготовительных и подсобных цехах; наличие высококвалифицированных кадров позволяло быстро освоить выпуск сложных и точных станков, который, в свою очередь, открывал возможность подготовить значительный резерв опытных специалистов, необходимых для развертывания военного производства по мобилизационному плану; собственное станкостроение способствовало ускоренному оснащению заводов вооружения технологическим оборудованием и пополнению мобилизационного запаса.

Вот почему в промышленности вооружения в больших масштабах развивалось производство металлорежущих и других станков. По выпуску этого оборудования оружейные заводы достигли, а некоторые даже превзошли уровень специальных станкостроительных предприятий. Например, лучшими в стране считались бесцентрово-шлифовальные (ТБШ), горизонтально-фрезерные, токарно-винторезные, зуборезные и многие другие станки, которые изготовлялись заводами вооружения.

Наряду с универсальным технологическим оборудованием здесь же выпускались в большом количестве специальные станки, главным образом для оружейно-пулеметного и патронного производства. На заводах вооружения были созданы крупные цехи режущего и мерительного инструмента высокой точности, которые поставляли свою продукцию не только для текущего производства и в мобилизационный запас, но и для нужд народного хозяйства.

Заложенные до войны в мобилизационный запас станки, инструмент, технологическое оборудование, как и заготовки, поковки, заделы по главным деталям в виде незавершенного производства, и другие материалы обеспечили с первых же дней войны возможность в предельно короткие сроки увеличить производство вооружения на действующих заводах и наладить его изготовление на перебазированных, а также на предприятиях, ранее изготовлявших мирную продукцию.

Как уже сказано, во время войны был создан наркомат минометного вооружения. Он возник на базе среднего и сельскохозяйственного машиностроения, которые имели значительные литейные мощности и по структуре и организации производства могли быть легко использованы для массового изготовления мин и минометов. Тем более что еще до войны на большинстве этих заводов имелись так называемые специальные производства (цехи, участки, и т. п.), на которых отрабатывали технологию и осваивали выпуск данного вооружения и создавалось необходимое для этого ядро кадров.

Нужно ли было в мирное время параллельно с этими заводами создавать такие же мощности специально для производства мин и минометов? Разумеется, нет.

То же самое можно сказать о ряде заводов судостроительной, тракторной и станкостроительной промышленности, потенциально способных производить боевую технику. В мирное время они выпускали тракторы, суда и станки, но было совершенно очевидно, что в случае войны они должны будут свернуть это производство из-за нехватки металла, квалифицированных кадров и вообще рабочей силы. Военная экономика не могла использовать эти заводы для выпуска их обычной продукции в объеме мирного времени.

Следовательно, само собой определялось, что мощности ряда станкостроительных заводов в военное время будут загружены заказами на боевую технику. И действительно, с самого начала войны многие из них были подключены к наркомату танковой промышленности и сыграли значительную роль в увеличении поставок для армии.

Взять, к примеру, Челябинский тракторный завод. Он и построен был с учетом того, чтобы в случае необходимости перевести его на производство танков и артиллерийских тягачей.

Я хорошо это помню, так как во время его строительства на меня постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) была возложена ответственность за оборудование ЧТЗ. Мне же довелось возглавить государственную комиссию по пуску этого предприятия. Естественно, приходилось по вопросам, связанным с сооружением Челябинского тракторного бывать на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), а также совместно с Г. К. Орджоникидзе — у И. В. Сталина. И не раз при этом было сказано, что ЧТЗ должен обладать всем необходимым для перевода его в случае необходимости на военное производство.

Любопытно, что тогда западная печать подняла целую шумиху в связи со строительством Челябинского тракторного, объявив его крупным танковым заводом. Конечно, он таковым не был, но, как и каждое подобное предприятие, мог им стать очень быстро, что и подтвердилось сразу же после нападения гитлеровской Германии на нашу страну. То же самое можно сказать о многих других крупных предприятиях, в том числе Сталинградском тракторном.

Осуществляя такой курс, партия с полным основанием исходила из того, что в современной войне побеждает то государство, которое в процессе вооруженной борьбы может сосредоточить в наиболее короткие сроки все ресурсы, мощности и силы на производстве военной продукции и превзойти в данном отношении противника. Как показал опыт Великой Отечественной войны, именно социалистическая экономика обеспечивает подобное преимущество.

Не последнее место в этом принадлежит тому обстоятельству, что она является общенародным достоянием. Поэтому для нее не существует, например, острой проблемы, названной немецким экономистом Гансом Керлем «одной из важнейших задач руководителей экономики» капиталистических государств и заключающейся в том, чтобы «найти правильный синтез частной инициативы и государственного руководства».

Не решила эту проблему и фашистская Германия. Хотя она и обладала мощной индустрией, но капиталистическая система не могла в нужный момент быстро перестроить экономику, всецело подчинить ее единой цели — нуждам государства. Тормозом явились частные интересы корпораций и фирм, которые не всегда совпадали с интересами общегосударственными.

Коренным образом отличалось положение дел в Советском Союзе, экономической основой которого является социалистическая собственность на средства производства, сосредоточение в руках государства всех сырьевых ресурсов страны. Поэтому, хотя советскому народу пришлось развивать военную экономику в невероятно тяжелых условиях вынужденной эвакуации промышленности на восток и временной потери важнейших индустриальных и сельскохозяйственных районов, положительные результаты все же были достигнуты в самые короткие сроки.

Наряду с другими факторами исключительно важную роль в создании такой мощной военной экономики в СССР сыграло заблаговременное, осуществленное до войны широкое развитие мощностей и передовой техники в промышленности, в первую очередь в оборонной. Уже тогда перед военной индустрией была поставлена глубоко продуманная и четкая мобилизационная задача. Она состояла в том, чтобы создать головные заводы, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, призванные конструировать, а затем осваивать в серийном или массовом производстве новые совершенные образцы вооружения; производить вооружение в размерах, необходимых для снабжения армии в мирное время; обеспечить запасы вооружения в количествах, соответствующих мобилизационным потребностям на случай войны и для восполнения потерь на начальных ее этапах и тем самым дать возможность провести в установленные по мобилизационному плану сроки развертывание мощностей военной и гражданской промышленности до полного обеспечения вооружением потребностей войны.

В число особо важных задач входило и накопление мобилизационных резервов специального металла, металлургических заготовок, полуфабрикатов (заделов) по всем переходам (операциям) технологического процесса на весь производственный цикл. И все это было сделано в мирное время. Трудно переоценить

значение своевременного создания огромного мобилизационного запаса на всех заводах артиллерийского и стрелкового вооружения. Оно сыграло первостепенную роль в ликвидации весьма тяжелого положения, в котором оказалась наша страна в результате военных неудач первых месяцев войны.

Промышленность вооружения в предвоенный период выполнила и другую ответственную задачу — обеспечение мобилизационной подготовки не только собственных заводов, но и предприятий гражданской индустрии, способных при необходимости производить оружие для армии.

Именно этим и объясняется, что производство артиллерийского и стрелкового вооружения, потерявшее в первое полугодие войны значительные мощности и далеко не полностью восстановившее их в 1942 году, смогло, однако, выпустить в течение того же 1942 года такое количество продукции, что ею можно было бы вооружить 535 стрелковых и кавалерийских дивизий, 342 артиллерийских полка и 57 воздушно-десантных частей. Это не только с лихвой обеспечило потребности армии на фронте, но и позволило накопить запасы на базах.

Полностью оправдал себя взятый до войны курс на комплексное развитие промышленности вооружения. В этом отношении она также достигла более высоких результатов, чем другие отрасли военной индустрии и, в частности, имела свою металлургическую базу. Это было мощное и всесторонне развитое производство специальных высококачественных орудийных и пушечных сталей, специального профильного и листового проката, кузнечно-прессовое производство с оборудованием для сложной и ответственной термической обработки. Крупные орудийные и оружейно-пулеметные заводы, по существу, представляли собой мощные комплексные объединения — металлургии и машиностроения. Это стало возможным благодаря тому, что создание прочной базы специальной металлургии для данных предприятий всегда находилось в центре внимания партии и правительства. Для этого выделялись крупные средства, лучшее отечественное и импортное оборудование. Потребности металлургии вооружения удовлетворялись в первую очередь.

Созданная таким образом крупная база производства поковок и штамповок и других металлургических заготовок, являющаяся важнейшей предпосылкой выпуска вооружения, и определила исключительно высокий уровень мобилизационной готовности орудийных, оружейно-пулеметных и других заводов.

Состояние этой базы к началу войны было таково, что даже вывод из строя в 1941 году значительного числа крупных металлургических заводов вооружения на Украине, в Поволжье, Ленинграде и других западных районах не повлек за собой катастрофы. Этот огромный ущерб был компенсирован металлургией вооружения, расположенной на востоке страны. Как эвакуированные орудийные и пулеметно-оружейные заводы, так и привлеченные для изготовления оружия предприятия гражданских отраслей промышленности в короткие сроки начали выпускать винтовки, пулеметы, пушки и другие виды вооружения.

Металлургическая база промышленности вооружения, которая находилась в районах, не затронутых войной, была столь значительной, что смогла полностью обеспечить потребности всех этих заводов.

Конечно, немалая часть ценнейшего оборудования была эвакуирована из прифронтовой полосы в тыл. Но даже те заводы, которые промышленность вооружения в начале войны потеряла в западных районах, в основном специализировались на морской артиллерии. А так как строительство военно-морского флота, как известно, было прекращено в этот период, то ущерб для производства необходимого тогда вооружения оказался несравненно меньшим, чем он мог стать при иной специализации. Наконец, еще в мирное время производство орудий сухопутной артиллерии было сосредоточено главным образом на востоке страны.

Вообще надо сказать, что в западных районах в предвоенные годы не велось строительства новых заводов вооружения. Этот запрет был снят И. В. Сталиным фактически лишь один раз, да и то необоснованно, что и привело в дальнейшем к нежелательным последствиям.

Произошло что так.

В 1940 году И. В. Сталин по телефону предложил мне, как наркому вооружения, подготовить проект постановления ЦК и СНК о строительстве на Украине четырех заводов. Как он сказал, два из них предназначались для производства орудий и должны были иметь собственные мартеновские и кузнечно-прессовые цехи, а два других — для выпуска стрелкового оружия.

Такое задание противоречило прежним строгим установкам о строительстве заводов вооружения только в восточных районах. Кроме того, в сооружении названных предприятий на Украине не было необходимости, так как такие новые заводы сооружались тогда на востоке страны, да и широкая реконструкция и расширение, осуществлявшиеся почти во всей действующей промышленности вооружения, должны были обеспечить полное удовлетворение потребностей на случай войны. Если же возникла необходимость в еще больших резервах, то целесообразнее, эффективнее было вложить средства и материалы в заводы, которые уже строились и реконструировались.

Не отвергая все эти доводы, И. В. Сталин, однако, подтвердил свое указание, заявив, что исходит из необходимости иметь на Украине военную промышленность и лучше использовать для оборонных целей металлургию Юга. Я до сих пор не знаю, насколько важное значение имел этот вопрос. Во всяком случае, война не дала тому подтверждений. Напротив, завезенные на намеченные площадки материалы и оборудование для строительства двух новых заводов вооружения на Украине вошли в число потерь, понесенных страной в первые месяцы войны.

В целом же, как показано выше, было достигнуто благоприятное в стратегическом отношении районирование, а также рациональная специализация заводов и дублирование производства почти всех видов вооружения в разных частях страны, сосредоточение главных металлургических и артиллерийских мощностей на востоке. И это было не случайным явлением, а результатом тщательно продуманных планов, разработанных на основе директив партии. ЦК ВКП(б) рассматривал и утверждал эти планы по каждому заводу вооружения.

Именно в результате осуществления этих директив партии, подкрепленных ее повседневной заботой об укреплении обороноспособности страны, промышленность вооружения выдержала серьезные испытания, вызванные потерей на первом этапе войны значительных металлургических мощностей, не допустила дезорганизации производства в военное время и полностью обеспечила потребности фронта.

* * *

В годы, предшествовавшие второй мировой войне, ни одно государство не избежало ошибок в подготовке вооружения для своих армий. Но в западноевропейских странах, легко побежденных гитлеровским вермахтом, они являлись главным образом следствием антинародной политики правительств, а в самой фашистской Германии были предопределены ее преступными и авантюристическими военными планами.

У нас же ошибки такого рода, по моему глубокому убеждению, были исключительно результатом принятых в спешке решений, подчас продиктованных не знаниями и опытом, а дилетантским верхоглядством. И тот факт, что они все же исправлялись и что в целом советское оружие по своей мощи превзошло военную технику грозного противника, является лучшим свидетельством могучих непреоборимых сил социалистического общества, его превосходства над капиталистическим как в социальной, политической и экономической областях, так и в развитии военной техники.

А. Д. Лизичев,
генерал армии, начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ АРМИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Зима 1918 года была чрезвычайно трудной для новой России. Голод, болезни, разруха, гражданская война, военная интервенция... Все это слилось в неистовый поток, стремящийся смять, поглотить, стереть с лица земли «незаконнорожденное дитё», имя которому было — Советская власть. Сама история испытывала на прочность социалистический строй, не просуществовавший еще и года.

Говорят, что превратность судьбы — пробный камень для мужественного человека. А превратности истории?.. Счастье народа, который в годину особых испытаний находит в себе мужество противостоять злу, принимая решения, которые в главном не расходятся с его идеалами и убеждениями. Наверное, такими решениями были два январских 1918 года Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР: об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии и об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Они положили начало процессу создания регулярной армии, которая, пройдя дорогами испытаний и побед, обретет имя Советской Армии.

Эти решения были революционны.

Исходя из вывода К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что для осуществления победоносной революции и защиты ее завоеваний необходима организованная вооруженная сила, В. И. Ленин разработал военную программу пролетарской революции. В работе, написанной им в сентябре 1916 года, читаем: «Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, такой угнетенный класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами» [1].

Анализируя опыт Коммуны 1871 года и декабрьского восстания 1905 года в России, В. И. Ленин пишет, что даже женщины, пролетарские женщины грядущих революций, никогда не помирятся с позорной ролью только проклинать войну и все военное, только требовать разоружения. Они будут говорить своим сыновьям: «Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как советуют тебе делать изменники социализма,— а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее» [2].

С первых дней существования Советской власти вопрос о защите революционных завоеваний трудящихся из теоретического превратился в практический. Над новой Россией нависла угроза военной интервенции и гражданской войны. Защитить завоевания социалистической революции могла лишь регулярная армия, основанная на классовом принципе. Объявляя беспощадную войну революционной фразе о революционной войне, В. И. Ленин в статье «Тяжелый, но необходимый урок» пишет: «Преступление, с точки зрения защиты отечества,— принимать военную схватку с бесконечно более сильным и готовым неприятелем, когда заведомо не имеешь армии». Он говорит о том, что до сих пор «перед нами стояли мизерные, презренно-жалкие (с точки зрения всемирного империализма) враги, какой-то идиот Романов, хвастунишка Керенский, банды юнкеров и буржуйчиков. Теперь против нас поднялся гигант культурного, технически первоклассно оборудованного, организационно великолепно налаженного всемирного империализма. С ним **надо** бороться. С ним надо **уметь** бороться». Два эти слова подчеркнуты Ильичем. Заключает он статью словами, ставшими лозунгом: «Готовьтесь серьезно, напряженно, неуклонно к защите отечества, к защите социалистической Советской республики!» [1].

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 30, стр. 135.
[2] Там же, стр. 137—138.

Да, создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота в 1918 году — мера, безусловно, исторического значения, призванная обеспечить сохранение и укрепление самого передового общественного строя, отвечающая коренным национальным и интернациональным интересам трудящихся всех стран. Создание РККА — ответный шаг на реакционные действия империалистических стран, стремившихся остановить социализм, задушить его в колыбели.

Контрреволюционные мятежи следовали один за другим — становилась явью гражданская война. Появилась белая гвардия. Еще в конце 1917 года США, Англия, Франция и Япония договорились о военной интервенции против Советской республики и о разделе сфер влияния в России. Три четверти Советской России к этому времени оказалось в огненном кольце фронтов. «Со всех концов блокады кольцо. И пушки смотрят в лицо»,— писал о тех днях В. Маяковский.

Декабрь 1917-го и январь 1918-го были месяцами напряженной борьбы за создание армии принципиально нового типа. В. И. Ленин обратился к политическому опыту, к революционному творчеству рабочего класса, всех трудящихся в решении задачи о конкретных организационных формах новой армии. По его предложению этот вопрос обсуждали армейские и фронтовые съезды по демобилизации царской армии. Принципы военного строительства в те же лихорадочно трудные дни были рассмотрены на совещаниях с участием представителей Наркомвоена, Всеармейского бюро фронтовых и тыловых военных организаций при ЦК РСДРП(б), Главного штаба Красной гвардии Петрограда.

Декреты об организации Красной Армии и Военно-Морского Флота законодательно закрепили разработанные В. И. Лениным, Коммунистической партией основные принципы формирования, комплектования, органы руководства и порядок снабжения РККА. 21 февраля 1918 года Советское правительство обратилось к народу с декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!», подписанным В. И. Лениным. Декрет провозгласил защиту Республики Советов священным делом рабочих и крестьян.

Отсутствие опыта военного строительства, подготовленных командных кадров, необходимой экономической базы для обеспечения армии военной техникой, огромная усталость масс в результате империалистической войны, ожесточенное сопротивление свергнутых эксплуататорских классов внутри страны, подрывная деятельность открытых и скрытых врагов революции — такой была обстановка, в которой рождалась и крепла социалистическая военная организация.

Сначала надо было распустить старую армию. Армия, не принявшая революцию, не могла надежно защищать ее.

Сегодня нам хорошо понятно, каким болезненным, трудным, драматичным был процесс роспуска старой армии. Партию большевиков обвиняли в отсутствии истинного патриотизма, в стремлении предать интересы русского народа, оставить его беззащитным перед иностранной военной интервенцией. Но она прошла и через это. Прошла вместе с истинными патриотами. Вспомним классические произведения советской литературы, правдиво передавшие восприятие

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 35, стр. 395—397.

ими неоднозначных событий времени — хождение по мукам, трагические дни Турбиных, душевные потрясения и скитания Григория Мелехова. Идеи и решения выкристаллизовывались и огранивались в народной толще. В эпических полотнах и небольших рассказах М. Шолохов, А. Серафимович, Д. Фурманов, А. Толстой, И. Бабель, В. Вишневский, К. Федин, Л. Леонов, М. Булгаков и многие другие поведали всю правду о тех неимоверно суровых днях, когда казалось, что мир опрокинулся и вот-вот взорвется.

У ленинской идеи регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии было немало противников не только в стане врагов Советской власти. Они были и в самой партии. Буйствовали троцкисты. Захлестывала партизанщина. Бесконечные митинги, недоверие новым командирам проверяли прочность рождавшегося армейского механизма. И через это нужно было пройти. Новая армия, несмотря ни на что, была создана. О ее существовании возвестили первые победы под Псковом и Нарвой. Это было 23 февраля 1918 года. С тех пор 23 февраля в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил, массового подъема народа на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления первых отрядов советских вооруженных сил германским захватчикам мы ежегодно празднуем как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Первые победы новой армии не означали, что Стране Советов удалось сразу решить все военные вопросы и теперь она маршем пройдет по дорогам революционной борьбы. Каждый час ставил новые вопросы. Партию большевиков, молодую республику, занятую созданием армии, обвиняли в «красном терроре» и «красном милитаризме», уличали в том, что сам факт создания армии противоречит Декрету о мире.

А сколько было сложностей, противоречий, когда на первом этапе создание Красной Армии осуществлялось путем набора добровольцев. Это был идеальный вариант. Такой набор проводили по строго классовому признаку, с обязательными рекомендациями, что обеспечивало приток в ряды Красной Армии, по ленинскому определению, «отборных элементов, сознательных крестьян и рабочих» [1]. Благодаря огромной работе партийных организаций, местных Советов, сформированных партией органов военного управления Красная Армия неуклонно росла и крепла. К маю 1918 года в ее рядах было уже свыше 300 тысяч человек.

Но идеалы не всегда согласуются с реальностями жизни. Привлечение добровольцев не могло обеспечить комплектования массовой армии и регулярного пополнения ее рядов. А против Советской республики действовали хорошо вооруженные и обученные регулярные войска белогвардейцев и интервентов, насчитывавшие к лету 1918 года до 700 тысяч человек.

Партия взяла курс на строительство массовой регулярной армии на основе всеобщей воинской обязанности. Этот курс был одобрен в июле 1918 года V Всероссийским съездом Советов. И к концу октября 1918 года Красная Армия насчитывала почти 800 тысяч человек, а к концу 1919 года — 3 миллиона. Даже злейшие враги были вынуждены открыто признать успехи молодого Советского государства в военном строительстве. В одной из своих работ В. И. Ленин цитирует английскую буржуазную газету «Таймс», которая, в частности, констатировала: «Во всем мире армии разлагаются, но есть только одна страна, где армия строится, и эта страна — Россия» [2].

Между тем новая армия требовала новых военных специалистов. Их не было. И следует, видимо, только восхититься гением В. И. Ленина, политическими и организаторскими талантами его соратников-большевиков, которые сумели блестяще решить в наикратчайший срок многотрудную задачу: обеспечить условия для боевого содружества армейских большевиков-комиссаров с профессиональными военными специалистами старой армии, привлечь их на сторону борьбы за социализм.

Огромную работу проводила партия, создавая систему подготовки командно-политических кадров из рабочих и крестьян, проявивших себя в боях за Советскую власть. Были вновь образованы средние и высшие военно-учебные заведения, курсы.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 37, стр. 76.
[2] Там же, том 38, стр. 49.

С большим трудом удалось оснастить армию необходимым оружием, накормить солдата. В делах военного строительства весь народ поддержал партию большевиков, пошел за ней, сознавая, что создание социалистической армии — в высшей степени необходимая Отечеству мера.

Все важнейшие вопросы военной политики, строительства армии и флота, их организационного и политического укрепления постоянно находились в поле зрения В. И. Ленина, Центрального Комитета партии, выносились на обсуждение партийных съездов, конференций, пленумов ЦК. В течение одного только 1919 года было проведено 14 пленумов ЦК и 40 заседаний Политбюро ЦК РКП(б), в повестке дня которых стояли военные вопросы. Под председательством В. И. Ленина с декабря 1918 года по декабрь 1920 года состоялось 143 заседания Совета обороны.

В принятой на VIII съезде РКП(б) Программе партии были сформулированы важнейшие положения — о строительстве Красной Армии как постоянной, регулярной, строго централизованной военной организации; о классовом характере вооруженных сил социалистического государства; о партийно-политической работе как мощном средстве воспитания личного состава, обеспечения его высокого боевого духа; о подготовке командных кадров, обучении войск на основе военной науки.

Партия укрепляла, цементировала ряды армии и флота. В годы гражданской войны она была поистине сражающейся партией: к лету 1920 года почти половина ее состава — свыше 300 тысяч коммунистов — с оружием в руках защищала социалистическое Отечество. Коммунисты словом и примером увлекали бойцов на подвиги. Боевыми помощниками коммунистов были комсомольцы, которых в рядах армии насчитывалось около 70 тысяч. Постоянно в центре внимания партии были вопросы партийно-политической работы в войсках. В организации и проведении этой работы большую роль играли военные комиссары и политические органы.

Создание регулярной Красной Армии отнюдь не противоречило ленинскому Декрету о мире. Сам Ильич конкретизировал свое отношение к этой проблеме: «Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир... Но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира» [1].

Впервые в мире и в истории была создана армия подлинно гуманистического характера. Она с первых дней встала на защиту интересов трудового народа, утвердив своими действиями факт, который нашел отражение и в литературе: люди перестали бояться человека с ружьем. Классовая по составу и назначению армия формировала тип нового солдата и командира — патриотов, интернационалистов и гуманистов, призванием которых стала борьба за социализм, защита его завоеваний. Иногда говорят, что понятия «армия», «гуманизм» и «демократия» не сочетаются. Это неправда. История нашей армии свидетельствует об ином.

В корне отличаясь от армий эксплуататорского общества, которые были и остаются орудием угнетения, насилия и вражды, орудием господствующих классов, наша армия предназначена и всегда использовалась только для правого дела, то есть для защиты революционных завоеваний всего трудового народа, его интересов. Так было в самом начале, так было позже и остается теперь.

...Три года в стране бушевало пламя гражданской войны и военной интервенции. «Крестовый поход» империалистов в союзе с внутренней контрреволюцией потерпел полный крах. Красная Армия наголову разбила вооруженные силы белогвардейцев и интервентов. Социализм выиграл первую битву с империализмом.

«Вооруженный натиск отечественной и международной реакции бит,— пи-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 40, стр. 152.

сал председатель Реввоенсовета СССР, народный комиссар по военным и морским делам М. В. Фрунзе.— Победы Красной Армии открывают Союзу рабоче-крестьянских республик возможность взяться за дело мирного социалистического строительства. Начинается новая эпоха мирного труда».

Нарва и Псков, Петроград и Царицын, Каховка и Перекоп, Волочаевка и Спасск... Все это с нами: доблесть бойцов Красной Армии и мужество ее командиров, политическая, организаторская хватка военных комиссаров и песни, книги о тех теперь уже далеких грозовых днях. Подвиги молодой Красной Армии живут и будут жить в поколениях советских людей.

В суровые годы гражданской войны выросла замечательная плеяда талантливых полководцев и политических работников, таких, как С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов, С. М. Киров и В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе и М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер и П. П. Постышев, И. Э. Якир и И. П. Уборевич и многие другие. В эти годы сложились основы советского военного искусства и военной науки, родились боевые традиции Советских Вооруженных Сил.

Отразив первое нашествие международного империализма, партия и советский народ сосредоточили усилия на решении главной задачи — строительстве социалистического общества. Однако наши враги не оставляли надежд подорвать или ликвидировать Советскую власть. В декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин говорил: «Не полагаясь на нанесенные уже империализму удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало должны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее боевую способность». Этому ленинскому завету партия всегда была верна. История подтвердила, что Ленин был тысячу раз прав, указывая на постоянно грозящую нам опасность, «которая не прекратится, пока существует мировой империализм...»[1].

Уже летом 1929 года была предпринята попытка втянуть СССР в вооруженный конфликт на Дальнем Востоке. Поощряемые империалистами Запада, отряды гоминьдановцев и белоэмигрантов захватили Китайско-Восточную железную дорогу, нападали на советские пограничные посты, обстреливали советские торговые суда. Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера разгромила захватчиков.

Попытки прощупать прочность наших дальневосточных границ и боеспособность Красной Армии предпринимали и японские милитаристы. Но Красная Армия разгромила агрессоров в августе 1938 года в районе озера Хасан, а через год советские и монгольские войска ликвидировали у реки Халхин-Гол вторгшуюся в пределы Монгольской Народной Республики крупную группировку японских войск. Этот предметный урок в известной мере предостерег японскую военщину от опрометчивого выступления против СССР в 1941 году в союзе с германским фашизмом.

Самым крупным военным столкновением социализма с ударными силами империализма стала наша война с фашистской Германией. «Навязанная нам агрессия,— говорил на торжествах, посвященных 70-летию Великого Октября, Михаил Сергеевич Горбачев,— была беспощадным экзаменом на жизненность социалистического строя, на крепость многонационального Советского государства, на силу патриотического духа советских людей».

В беспримерном по масштабам и напряжению противоборстве с агрессивным блоком фашистских государств наша страна одержала всемирно-историческую победу. Трудным был путь к Победе. Но все превозмог наш народ—главный ее творец, пройдя через 1418 огненных дней и ночей.

В этой войне Коммунистическая партия еще теснее сплотила армию и народ, мобилизовала на разгром фашистских захватчиков все силы страны, превратив ее в единый военный лагерь. Ленинская партия снова стала сражающейся. Четверо из каждых пяти коммунистов находились в войсках или на оборонных предприятиях. Коммунисты шли на самые опасные, самые ответственные участки борьбы.

Сегодня молодой человек, вступающий в жизнь, безусловно, задает себе,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 42, стр. 173.

своим наставникам и товарищам вопрос, как мы смогли выстоять в том величайшем испытании. В чем причины, что нас не согнули, не растоптали? А ведь нас хотели не пригнуть, а уничтожить, сделать рабами, лишить государственности, языка и культуры. Сверхзадача фашистского фюрера состояла в том, чтобы мы канули в историческое небытие.

Но не растоптали и не согнули. Война показала, что советский народ, партия, социализм и Октябрь неразделимы и нет в мире сил, которые могли бы сокрушить это единство. Социализм не только устоял и не просто одержал победу. Он вышел из самой страшной, разрушительной из войн окрепшим морально, политически, укрепил свой авторитет и влияние в мире.

И в минувшей войне, как и со дня рождения Красной Армии, ее во всех боях и походах сопровождала литература, которая просто и честно сказала о войне свое слово.

Говорят, больше тысячи книг написано о Великой Отечественной войне. В них с художественной и документальной точностью рассказано, что истоки Победы надо искать в мобилизующей и организующей роли Коммунистической партии, самой природе социализма, советского образа жизни, всенародном характере войны, патриотизме и интернационализме нашего народа, стойкости и мужестве солдат, таланте полководцев и военачальников, советской экономике, выдержавшей труднейшие испытания, дисциплине и самоотверженности рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции. В войне победили не только наше оружие, экономика и политический строй. Это была победа идей, во имя которых свершилась революция, сражались и умирали советские люди. Это была победа нашей идеологии и морали, несущих высокие принципы гуманизма и справедливости, над человеконенавистнической идеологией фашизма.

Сражалась и литература. Воодушевляли и поднимали людей на яростный бой разящие строки публицистики и яркие образы художественной прозы, патриотические стихи, песни, спектакли. Выступая на собрании писателей в марте 1943 года, Александр Фадеев говорил: «В этой войне миллионы советских людей раскрывают самые сильные, благородные, героические стороны своего характера, встают во весь свой человеческий исполинский рост в боевых делах, в труде, в отношении к Родине, к нации, в мышлении о мире, о человечестве, о чувствах своих к врагу, к товарищам по борьбе, к семье, к любимому человеку... Мне кажется, это и есть то главное, что может и должен увидеть и показать советский художник о современной войне».

К тому времени наша советская литература уже накопила огромный опыт художественного исследования жизни и боевой деятельности Красной Армии. Писатели и поэты по-настоящему любили Красную Армию. «Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей»,— писал Леонид Леонов. Армия платила своим писателям той же искренной ценой — уважением и любовью.

Социалистическая литература сумела понять и в художественной форме представить диалектику становления Советских Вооруженных Сил, воинского характера. История как бы соединила жизнь нашей армии с литературным процессом. Новая армия дала нового героя, новый характер. Они-то и стали предметом честного и глубокого исследования социалистической литературы. Это с одной стороны. С другой — советская литература сыграла свою роль в укреплении нравственного, духовного потенциала армии, который был материализован нашим солдатом в годы гражданской и Великой Отечественной войн, в послевоенный период. Солдата Великой Отечественной помогали духовно формировать произведения М. Горького, М. Шолохова, А. Серафимовича, Д. Фурманова, В. Маяковского, А. Фадеева, К. Федина, Н. Островского, А. Гайдара, Э. Багрицкого, А. Твардовского, М. Светлова, К. Симонова и многих других. Я называю лишь классиков и здесь хочу подчеркнуть: у нас великая литература об армии, великое множество имен. Перечислить их невозможно.

Советская литература, выполняя роль мудрого педагога, не уставала звать солдат и командиров к подвигу во имя счастья и мира на земле, раскрывала перед ними глубину, мощь и всю красоту Родины, Октября, социализма, учила точности классовых критериев. Воины черпали веру в правое дело, бескомпромиссность, жизнелюбие в булатных строках «Железного потока», «Чапаева» и «Разгрома». Как сталь, вместе с Павкой Корчагиным закалялись характеры. Стихами лучших поэтов укреплялись души. В. Маяковский, точно чувствовавший живые токи времени, писал в «Хорошо» — Октябрьской поэме:

...землю,
которую завоевал
И полуживую вынянчил,
Где с пулей
встань,
с винтовкой
ложись,
где каплей
льешься
с массами,—
с такой
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

Литература, на которой было воспитано поколение героев Великой Отечественной, каждой поэтической строфой, песенным куплетом помогала красноармейцу и краснофлотцу добраться в этой жизни, во всем до корня, до самой сути, все понять, додумать до конца, узнать как можно больше о нашем октябрьском первородстве, о классовой борьбе и коммунизме, о наших вечных нравственных ценностях. Узнать, чтобы бороться, действовать, а если надо, погибнуть за святое дело, начатое отцами и дедами в октябрьские дни 1917 года. Аркадий Гайдар сказал однажды: «Нужно объяснить ребятам, как сделан винт или как устроен танк... Но этого мало,— писатель должен объяснить ребятам некоторые слова: «честь», «знамя», «смелость», «правда».

Наши писатели и поэты умели видеть героическое в характерах людей, даже показывая трагедии поражений, они помогали читателю понять, что, например, заключительные слова Левинсона из романа «Разгром» Александра Фадеева — «нужно было жить и исполнять свои обязанности» — обязательно прорастут новыми бойцами и новыми победами.

Социалистическая литература всегда выступала и в роли идеологического бойца, защищая армию от мутного потока буржуазных фальсификаций, помогала преодолеть духовное воздействие на личный состав со стороны свергнутых классов, оберегала от психологических диверсий империализма, просветляла запутанное. Требовала со всей страстью и решительностью бросаться в бой тогда, когда история требует решения борьбой и войной величайших вопросов человечества.

Огромная заслуга нашей литературы в том, что она высветила положительных героев — большевиков-ленинцев, которые, не щадя себя, порой превозмогая лишения, утраты, душевную и физическую боль; создавали и укрепляли Красную Армию, армию нового типа. Сгустком революционного оптимизма, идеалом для подражания и самосовершенствования стал для нас, к примеру, комиссар Федор Клычков в изображении Д. Фурманова — близкий друг и политический руководитель В. И. Чапаева, знаменитого начдива 25-й; комиссар вводил кипучую энергию боевого командира в русло большевистской организованности, расширял политический кругозор Василия Ивановича. «Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои...» А ведь отношения начдива и комиссара строились непросто. Но Клычков смог понять своеобразие характера командира, существо его взаимоотношений с красноармейской средой, а поняв, помочь Чапаеву подняться к новым духовным высотам и военным победам.

А комиссар из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, или Федор Жухрай из «Как закалялась сталь», или главный герой повести А. Гайдара «РВС»? Они живут в нас. В трудные времена мы можем поговорить с ними — только возьми с полки любимый томик,— посоветоваться, поделиться сомнениями. И они помогут, как помог Павел Корчагин своему младшему братишке Алексею Мересьеву преодолеть неимоверные трудности, выжить, выстоять, снова сесть за штурвал боевого истребителя и бить ненавистного врага.

Книги-солдаты и книги-полководцы... Великое достояние нашего общества. Неправда, что тема Великой Отечественной войны исчерпана. Книг о войне становится все больше, строй их полнится.

Большинство произведений о Великой Отечественной войне передали нам — детям и внукам солдат, грядущим поколениям — всю правду о человеческом мужестве и падении, о страданиях и радостях, стойкости и слабоволии, массовом героизме народа и героях-солдатах, героях-офицерах, героях-подпольщиках и партизанах, героях нашего тыла. Это — правда жизни. Она без красивых доспехов, в простой гимнастерке. И какое созвездие имен! В одном строю десятки и десятки писателей, поэтов, драматургов, книги, стихи и пьесы которых, одухотворенные талантом, занимают в наших сердцах и умах наипервейшее место. Сила их влияния необыкновенна. Даже мы — военные профессионалы — осмысливаем сегодня происходившее в Великой Отечественной зачастую не только по документам, но и по художественным произведениям. Книги вселяют бодрость, сыновнюю благодарность к старшему поколению советских людей, желание быть похожими на них.

«Мир процветет еще прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегала от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но, уходя все вперед и вперед, к звездам, и оглядываясь назад, человечество долго еще будет видеть в немеркнущем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!» — восклицал почти полвека назад Леонид Леонов. Как прав был этот большой русский писатель и патриот. Его мысль шла впереди времени. И он из дальнего далека видел, что новые бойцы, которые вырастут для новой борьбы, возьмут себе в пример красноармейцев и маршалов Великой Отечественной. Возьмут из книг советских писателей.

Эти книги — кладезь нашего оптимизма. А геройские люди, воспитанные на них,— соль нынешней Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В послевоенное время Вооруженные Силы СССР развивались вместе со всей страной. Проводилась огромная работа по их качественному усилению. Упорным трудом советского народа, нашими учеными, конструкторами, инженерами, героическим рабочим классом создан мощный ракетно-ядерный потенциал.

Решены и другие важнейшие оборонные проблемы: в частности разработка и развитие реактивной авиации, зенитных управляемых ракет, атомных подводных лодок, радиоэлектронных систем управления и другой принципиально новой боевой техники. Использование достижений научно-технического прогресса помогло качественно изменить материально-техническую базу армии и флота.

На основе обобщения опыта минувшей войны и его учета в подготовке войск, глубокого анализа особенностей и тенденций развития военного дела, творческого применения проверенных жизнью положений и выводов советской военной науки о том, что цели войны достигаются объединенными усилиями всех видов Вооруженных Сил и родов войск, их умелым оперативно-стратегическим использованием, четким взаимодействием, КПСС успешно решила коренные организационные и технические проблемы военного строительства. Непрерывно шло развитие военной науки и военного искусства, совершенствовалась партийно-политическая работа, система подготовки кадров, практика обучения и воспитания личного состава армии и флота.

В результате решена задача исторического масштаба: создан и поддерживается на должном уровне военно-стратегический паритет сил СССР с силами США, сил Варшавского Договора и блока НАТО.

Наша нынешняя армия — плоть от плоти, кровь от крови бойцов и командиров гражданской и Великой Отечественной войн; сегодняшние солдаты и мат-

росы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры, генералы и адмиралы — прямые наследники и продолжатели наших бессмертных революционных и боевых традиций.

...XX съезд комсомола вовсе не всех делегатов, говоривших с трибуны, приветствовал стоя. А вот Игоря Чмурова — Героя Советского Союза, курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, съезд проводил с трибуны именно так.

— Нет,— горячо говорил он,— наши ребята не хуже тех, на примерах жизни которых мы учились и воспитывались, готовили себя к службе в армии. И в сложных условиях Демократической Республики Афганистан зачастую с риском для жизни мои одногодки показывали образцы мужества, которые сродни подвигам Павла Корчагина, Александра Матросова, Зои Космодемьянской... (Какую же силу имеет наша социалистическая литература, если выступающий поставил в один ряд с героями действительными героя литературного!)... О том, что совершил я и за что удостоен звания Героя Советского Союза, хотел бы сказать просто: я выполнял боевой приказ. И еще: когда оставили силы и я потерял сознание, подоспели товарищи; в том, что они выручат, я не сомневался. Верил, что командир роты скорее сам погибнет, чем оставит солдата. Родина высоко оценила мои действия. Но окажись на моем месте любой солдат, сержант, офицер, они поступили бы точно так же.

Биографию Игоря Чмурова можно написать одной фразой: он сражается, пока может, а потом — сколько надо. Солдат-интернационалист беспредельного мужества, он — простой юноша из Подмосковья — геройски действовал в Афганистане, был тяжело ранен, отмечен самыми высокими государственными отличиями. А сегодня, курсант военного училища, он готовится стать офицером-десантником. Нелегко дается наука побеждать. Но, преодолевая физические страдания — рана все-таки дает о себе знать,— Игорь Чмуров упорно идет к своей цели. А цель чиста, как родник,— защита Родины.

Наши нынешние армейские будни не мед. Восемь лет идет война в Афганистане. Многие наши парни там прошли школу мужества в составе ограниченного контингента советских войск. Опасную и трудную школу. Каждый четвертый из них награжден орденами и медалями и около пятидесяти удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Люди несут службу в Арктике и в Каракумах, под толщей океанской воды и в космосе, под землей в ракетных шахтах и за рубежами Родины. При этом они подвергаются огромным физическим и психическим перегрузкам. К примеру, наши подводники от 150 до 200 суток в году проводят под водой. И моряки, безусловно, лучше других понимают, что мир безмолвия, который их окружает, таит немало опасностей.

А служба воинов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)? На солдат, офицеров и генералов этих войск легла особая, небывалая ранее ответственность за судьбу Родины в условиях атомной угрозы, в эпоху чрезвычайного по напряженности и характеру ракетно-ядерного противостояния возможному агрессору. В октябрьские предъюбилейные дни 1987 года вместе с Министром обороны СССР генералом армии Д. Т. Язовым мы посетили несколько ракетных частей, встречались с личным составом, спускались глубоко под землю, наблюдали боевую работу солдат и офицеров. Трудная служба — многосуточное боевое дежурство. Люди привязаны к своим рабочим местам, словно цепями. Но это не цепи, а высоты долга. Ракетчик не имеет права ни при каких обстоятельствах покинуть кресло перед пультом управления без разрешения старшего. Бдительность не вообще, а каждое мгновение. Психологические нагрузки огромны. Но люди, выполняющие задачи боевого дежурства, жизнелюбивы, искренни, социально и политически активны, им интересно все, что происходит в мире, они читают хорошие книжки и поют наши славные песни. Что же дает этим людям силу и стойкость, как они выдерживают перегрузки, сохраняя оптимизм и душевное спокойствие? Нам отвечали по-разному. Но почти все говорили о Родине, партии, народе, чувстве долга и ответственности за мир и счастье советских людей.

Армия помогает строить БАМ. Именно армейцы приняли на себя главную тяжесть при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, да и сейчас продолжают эту важную работу. И с каким благородством! Недавно мне рассказывали, что старший лейтенант А. Тильченко, возглавив подразделение, занятое очисткой территории от радиоактивного заражения, по собственной инициативе выявил на ней все памятники воинской доблести и братские могилы. В недолгие часы досуга воины-комсомольцы поправили их, укрепили, привели в порядок. Люди вернутся к родным очагам и увидят, что все священное для их памяти, все сокровенное сохранено.

Познав за годы службы армейскую жизнь, что называется, вдоль и поперек, не перестаю восхищаться нашими солдатами и матросами, офицерами, генералами и адмиралами. Их беспокойной мыслью, душевной энергией, каждодневной сосредоточенностью на главном. Они считают ленинский завет «учиться военному делу настоящим образом» своим святым делом. Если угодно, это смысл их существования, форма самовыражения. Мне думается, что некоторые современные писатели этого еще не разглядели в нынешней армии.

К сожалению, армию и флот в последние годы не минули многие из проблем, названных в апреле 1985 года, затем на XXVII съезде партии и последующих пленумах ЦК КПСС. Появились застойные явления в боевой и политической подготовке, в воспитании командно-политических кадров. Серьезные недостатки были допущены в области боевой готовности, управлении войсками и силами флота. Снижение уровня ответственности у отдельных руководителей повлекло за собой факты очковтирательства, стремление небольшие, а то и весьма сомнительные успехи выдать за крупные достижения. В некоторых частях понизился уровень воинской дисциплины, наши главные нравственные ценности — боевое товарищество, воинское братство — подтачиваются так называемыми неуставными взаимоотношениями между воинами различных сроков службы.

Центральный Комитет КПСС всем этим явлениям дал острую и верную оценку, назвал виновников упущений и недостатков, которые своевременно не анализировали назревшие проблемы, обходили острые углы, а там, где требовались смелые и твердые шаги, нередко топтались на месте.

Все это обязало военные советы, политорганы, партийные организации, офицерские кадры армии и флота решительно переложить на язык практики в военной области партийные директивы, разработать и планомерно осуществлять программу коренной перестройки деятельности Вооруженных Сил. В первую голову — хоть камни с неба — реализовать полной мерой известный принцип — учить войска тому, что необходимо на войне. Поднять политико-моральное состояние войск и сил флота, коренным образом укрепить дисциплину, внести элементы демократизма в жизнь армейских и флотских коллективов, дать простор служебной и общественной активности воинов, критически оценивать достигнутое, проявлять непримиримость к любым недостаткам, наносящим ущерб боеготовности. Сблизить и в деле и по духу солдата и офицера. Строго следовать требованиям воинских уставов — это гарантия безусловного движения вперед во всех областях воинской жизни. Решительно повернуться к военной науке. Непременным критерием оценки политической и деловой зрелости каждого командира и политработника, каждого офицера и генерала становится умение создавать благоприятные условия для службы, боевой учебы, жизни и быта личного состава.

Важнейшая цель перестройки в Вооруженных Силах — еще выше поднять боевую готовность войск и сил флота в интересах социалистического Отечества, рожденного Октябрем, наших союзников и братьев по Варшавскому Договору.

Сообщество социалистических стран, объединенное Организацией Варшавского Договора,— это тоже объект чрезвычайного внимания советской литературы, тема, мало еще исследованная, хотя здесь столько граней, столько нового, что с избытком хватит на множество интереснейших произведений.

Процесс перестройки в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, как и в стране в целом, развертывается и углубляется. Инициативнее действуют мно-

гне военные советы, командиры, политорганы, партийные и комсомольские организации, которые глубоко понимают свою ответственность перед партией и народом за реализацию новых сложных задач по боевой готовности и подготовке войск и снл флота. Это позволяет уверенио проводить в жизнь требования ЦК КПСС и Советского правительства, принимать решения, продиктованные жизнью. Все более зримо и активно стало влиять на общую атмосферу нашей жизни общественное мнение коллективов воинских частей и кораблей. Возросла забота о качестве боевой и политической подготовки, люди лучше осваивают современную боевую технику и оружие. В 1987 году многие военнослужащие за ратные подвиги, высокие показатели в боевой готовности и воинской выучке награждены орденами и медалями СССР. Важный показатель хода перестройки в армии и на флоте — возросшая общественно-политическая и служебная активность личного состава. Здоровый нравственный климат теперь доминирует в солдатской казарме и матросском кубрике.

Идет процесс перестройки и партийно-политической работы в армии и на флоте. Сложность, острота, масштабность перестройки ломают привычные, устоявшиеся годами стереотипы мышления, психологии, идеологические и организационные формы работы политорганов, партийных и комсомольских организаций. Смещены акценты в деятельности партполитаппарата. Она ориентирована на конкретную работу с людьми, на близость к солдатской массе. Вчера еще мы вели речь только о недостатках, усваивая и применяя к своим делам съездовский урок правды, а сегодня уже увидели, даже, как говорится, пощупали первые ростки перестройки. Растет поколение политработников, которые отказываются от всех атрибутов формализма — бумажной круговерти, заседательской суеты. Их методы — общение с людьми, компетентность, забота о кадрах; они стремятся работать непосредственно в подразделениях.

Первая и наивысшая радость для партийного работника, писал в свое время Валентин Овечкин, «видеть рост людей вокруг себя, расцвет человеческих талантов во всем их многообразии. И от него требуется умение так руководить этими талантами, этими людьми, чтобы каждый работал в полную силу, вдохновенно, с зорким видением наших больших и дальних великих целей». Ленин, победные десятилетия Октября, XXVII съезд партии, пленумы ЦК КПСС вооружают армейские и флотские политорганы, партийные и комсомольские организации новым видением, обогащают новым опытом борьбы. Перестройка, перепахивая толщу нашей жизни, и в армии точно нацелена на человека, на личность. Она выдвигает новых людей, у которых в крови чувство переднего края.

Но старое, к сожалению, цепляет за ноги. Партполитработе иногда не хватает целенаправленности, четкости, завершенности. Не будем упрощать. Есть и другие ошибки, упущения, проблемы. Есть слабости. Их не должно быть.

Внешнеполитические реалии сегодня таковы, что они не только не дают нам права на какие-то самоуспокоенность, послабление. Напротив — требуют новых и новых усилий в борьбе за высокую боевую готовность армии и флота.

В политике США и других стран НАТО не снижаются агрессивные тенденции. Они рассчитывают, что в условиях действительно возникших экономических трудностей в СССР и у его союзников их нажим может привести к серьезным уступкам с нашей стороны. Напрасные расчеты. Но, как и раньше, свои главные цели США и НАТО связывают главным образом с военными планами, с попытками за счет технологического прорыва опередить нас в создании новых систем оружия, достичь военного превосходства, изменить в свою пользу военно-стратегический паритет сил и заставить нас подчиниться диктату.

Принятые советским политическим руководством и записанные в соответствующих партийных документах обязательства ни при каких обстоятельствах не начинать войну против любого государства, если мы сами не станем объектом нападения, не применять первыми ядерного оружия (а ведь ни США, ни блок НАТО таких обязательств, как известно, не взяли), принятая на Берлинском совещании Политического консультативного комитета стран — участниц Варшавского Договора оборонительная военная доктрина предъявляют более высокие требования к боевой готовности Вооруженных Сил, обязывают нас найти, освоить новые способы решения задач в более сложной обстановке. «Вся система оборонной готовности Варшавского Договора,— писал в связи с новой военной доктриной в газете «Правда» Министр обороны СССР генерал армии Д. Т. Язов,— строится таким образом, чтобы остановить агрессора, сорвать его преступные замыслы, а если агрессия против любого государства — участника Варшавского Договора по вине империалистов станет фактом, решительно отразить ее. Всякие рассуждения о том, что агрессор может оказаться безнаказанным, беспочвенны». Для этого, безусловно, нужны прежде всего высокая подготовка войск и сил флота, отлаженное мастерство военных кадров, четкое управление. Командиры, политорганы, партийные и комсомольские организации армии и флота, единодушно поддерживая линию ЦК КПСС на повышение ответственности, исполнительности, организованности и дисциплины, активно повели поиск таких методов и средств, которые позволят поднять уровень боевой готовности войск и сил флота до современных требований партии.

Наше время — время удивительных свершений и человеческих судеб. Но не все, к сожалению, имеют ясное представление о людях нынешних Вооруженных Сил СССР. Не потому, что Советская Армия и Военно-Морской Флот якобы являются «закрытой зоной», как кое-кто пытается утверждать. Закрытая для чужих недобрых глаз — это правильно. В условиях сохраняющейся военной опасности не пристало нам раскрывать секреты; гайдаровские мальчишки и те понимали, что существует военная тайна, которую надо свято хранить. Для советской литературы наша армия всегда была открыта, как добрая душа, нараспашку.

Армия и флот по-прежнему любят свою литературу. Побывайте в армейских библиотеках даже самых отдаленных гарнизонов, и вы увидите, что солдаты и офицеры внимательно следят за литературным процессом, читают и художественные произведения, и мемуары, и политическую публицистику.

Солдаты и генералы признательны и благодарны нашей литературе прежде всего за то, что она сумела достаточно точно, объективно, с классовых позиций и художественно достоверно представить историю нашей страны и армии. Это имеет большое значение для подготовки войск и сил флота. Мы рассматриваем социалистическую литературу как «артиллерию поддержки» в наступлении на бездуховность, как «полководца» нашей нравственности, мощное воспитательное средство, находящееся на вооружении армии и флота.

Личный состав ценит в нашей социалистической литературе то, что она всегда была исполнена достоинства, утверждала наше революционное первородство, была требовательна в выборе художественных средств, партийна, патриотична и интернациональна по духу и содержанию, сверяла каждый свой шаг с интересами страны, ее политикой, тактикой и стратегией. Она умела сопереживать человеку, преодолевающему трудности, боль и радость людей становились болью и радостью художника. Литературные работы в своем большинстве были отнюдь не «плодами сердечной пустоты», если вспомнить слова А. С. Пушкина. Литератор — художник, а не «игрушечных дел» мастер — знал свое место в строю борцов за социализм, хорошо понимал, что его задача — формировать духовный мир советского человека и «жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, не имеет оправдания». Литература была нацелена в будущее, думала о победе, звала вперед. Она была по-настоящему одухотворена, умело работала на перспективу нашей страны и ее Вооруженных Сил, формировала у воинов социальный оптимизм, не коллекционировала наши промахи и недостатки, не смеялась над ними, а по-доброму помогала их преодолевать.

Литература сумела понять советского солдата как человека, который в лихую годину первым идет в бой и последним покидает поле брани. Ей был чужд фотографический подход к армейской жизни. Она не удовлетворялась и ролью художника, творчески отражающего события армейской жизни. Она стремилась быть архитектором, своеобразным ваятелем нравственности, характера воинов.

Правда такой литературы сурова. Именно такая литература помогает молодым армейцам понять чрезвычайно важную мысль, сформулированную в поэтических строчках:

На жизненном кругу, сегодня и вчера,
Мы у тебя в долгу, свет Вечного огня.

Настоящая большая литература о войне, армии, художественно анализируя реальную жизнь, никогда не была высокомерной, неправдивой по отношению к воину нашей армии. Она вырастала на материале, взятом из армейской жизни. Ее произведения выходили из-под пера людей, знающих армию. Комиссары Дмитрий Фурманов и Александр Фадеев, корреспонденты армейских газет Константин Федин и Леонид Леонов, боец продотряда, а затем полковой комиссар Михаил Шолохов, военмор Всеволод Вишневский, боец Конармии Буденного Николай Островский, журналисты-фронтовики Александр Твардовский, Константин Симонов и многие другие — все они знали армейскую жизнь не понаслышке. Вот почему их книги насыщены атмосферой суровой борьбы, правдиво отражают типичное в жизни армии. Верные лучшим традициям русской классической литературы, они обращаются к сильным, большим характерам военных людей. С книг, написанных этими писателями, наши юноши делают свою жизнь. Благодаря им ощущают отечественную историю не только как цепь связанных во времени событий, а как романтическую эстафету героизма, мужества, благородства, истинной человечности. Герои их книг становятся нашими друзьями. А недругов ненавидим вместе.

Воины армии и флота сердечно признательны писателям и за то, что многие из них своим профессиональным пером помогли нашим маршалам и солдатам написать мемуары о минувшей войне. Отложив на какое-то время собственные заботы, они подолгу трудились вместе с героями своих книг, верша дело большой социальной значимости. Целые поколения воинов, всех советских людей скажут работникам нашего литературного цеха огромное спасибо за мемуары Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского, И. Конева, И. Баграмяна... Только Воениздатом за последние тридцать лет выпущено в свет 429 книг-воспоминаний и более 100 сборников. В их подготовке участвовало около трехсот профессиональных литераторов.

Но, к сожалению, у нас мало книг, написанных простыми солдатами, великими тружениками, которые вынесли главную тяжесть войны. Здесь сказались недальновидность Воениздата и других издательств и то, что солдатской книжке в свое время было гораздо труднее пробиться. Надо исправить это дело. Все больше солдат-ветеранов уходит из жизни. И здесь свое слово должен сказать Союз писателей СССР.

Одновременно хотелось бы в эти юбилейные для армии и флота дни затронуть ряд, на мой взгляд, принципиальных вопросов развития литературы о наших Вооруженных Силах. Солдаты и офицеры спрашивают: когда появятся новые крупные произведения о современной армии? Почему некоторые писатели, знающие лишь понаслышке армейскую жизнь, неверно изображают ее? Почему в последнее время на страницы журналов и газет в тех или иных дозах просачиваются идеи абстрактного пацифизма? Почему столь настойчиво, с пробивной силой, достойной лучшего применения, навязывают читателям повести и статьи только о негативных сторонах воинской службы? Есть и другие большие и малые вопросы, которые ставит жизнь и на которые следует дать ответы.

Вполне отдаю себе отчет в том, что могу судить о состоянии литературного процесса не так глубоко и обстоятельно, как это сделал бы профессионал. Не претендуя на истину в последней инстанции, хотел бы, однако, сказать о том, что меня волнует лично, чем озабочены многие в армии и на флоте. Отмечая 70-летие нашей социалистической армии, живя в гуще ее сложных, далеко не однозначных проблем, видя основные линии влияния литературы на армейские массы, нельзя даже невооруженным глазом не заметить некоторого ослабления связей между армией и литературой.

Прежде всего я имею в виду известное снижение интереса значительной части писателей и поэтов к жизни армии. Причин здесь, видимо, несколько. Первая — трудность художественного исследования армейской жизни, развивающейся несколько иначе, чем прежде, по специфическим законам, понять которые можно, лишь прожив армейскую жизнь, побывав в армейской среде, пройдя трудными солдатскими дорогами. Но эта причина не главная, и лежит она, как говорится, на поверхности. Другая причина, она серьезнее, коренится в том, что некоторые писатели — их немного пока, но они все настойчивее заявляют о себе со страниц периодики — саму армию стали рассматривать как социальный организм, который если не в ближайшем будущем, то в уже обозримом изживет себя. Кое-кто из них эту позицию объясняет тем, что-де характер нынешнего оружия не оставляет ни одному государству надежды защитить себя только военно-техническими средствами, скажем, созданием даже самой мощной обороны. Спрашивают поэтому: нужна ли в этой связи армия? Вопрос, мягко говоря, слишком преждевременный.

В народе и армии хорошо понимают смысл ленинских слов: «Наш идеал — мир без оружия!». А значит, и без армии. Люди согласны с поэтом и вместе с ним считают:

Будь на свете проклят трижды
Всяк, кто спор ведет к войне!

Мы за мир. Мы понимаем, что только он нужен планете. Вместе с тем наивно, безосновательно не считаться с реальностями современного мира, бежать от жизни, в упор не видеть враждебных глаз, недооценивать существование сил, ненавидящих наш строй и держащих в руках самые зловещие средства вооруженной борьбы.

Вот почему партия в новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом, вновь подтвердила, что «пока существует опасность развязывания империализмом агрессивных войн и военных конфликтов, партия будет уделять неослабное внимание усилению оборонного могущества СССР, укреплению его безопасности, готовности Вооруженных Сил к разгрому любого агрессора».

Советский читатель всегда понимал литературу, которая стоит на страже социализма. В свою очередь, настоящая, большая социалистическая литература по «камертону» душевного состояния советского патриота сверяла свой путь. В последнее же время мы не без горечи и сожаления встретились в нашей литературе с тенденцией умаления патриотических начал. Нередко даже талантливые писатели вопреки своему литературному дарованию и боевому прошлому стали поучать нынешнюю молодежь лоскутному, затасканному, не раз битому жизнью абстрактному пацифизму. Ну, а молодые люди, еще не совсем оперившиеся, верящие писателям как друзьям, недоуменно спрашивают своих командиров: как же так человек, видевший лицо ненавистного врага, сегодня доверяется идее пацифизма? Как можно не считаться с тем, что в Вашингтоне взяли на вооружение «новую военную стратегию», охарактеризованную как стратегию «прямого противоборства» США и СССР в глобальном и региональном масштабах! И в «Руководстве по обороне на 1984—1988 годы» (США) говорится: «Новая ядерная стратегия состоит в том, чтобы американские вооруженные силы были в состоянии устранить всю советскую (и связанную с Советским Союзом) военную и политическую систему». Есть ли смысл комментировать эту позицию?

Однако хочу оговорить. Наш подход, когда идет речь о пацифизме, вполне конкретен. Мы считаем, что доброе дело делают люди, которые главную цель своего существования видят в отстаивании мира. Мы солидарны с ними. Нам, военным, пожалуй, как никому другому, дорог мир, поскольку мы лучше всех представляем разрушительную силу современного оружия. Именно поэтому мы приветствуем также заключение Договора о ликвидации РСД и РМД, оценивая этот факт как событие огромного исторического значения. Такой подход не противоречит, а вполне согласуется с ленинским отношением к проблеме обеспечения мира. В. И. Ленин писал: «...требование разоружения является самым

ясным, самым решительным, самым последовательным выражением борьбы против всякого милитаризма и против всякой войны»[1].

Вместе с тем в условиях, когда империализм «в силу своей общественной природы постоянно генерирует агрессивную, авантюристическую политику», как говорилось на XXVII съезде КПСС, когда имперская идеология еще не сдана в архив истории, трудно принять и тем более разделить идеи абстрактного пацифизма. По крайней мере недальновидна позиция тех людей, которые уже сегодня настаивают, что пришла пора чуть ли не одностороннего разоружения.

Мы знаем, писателям свойстаенно опережать время. Это всегда было сильной стороной большой литературы. Однако литература не должна отрываться от реальных процессов жизни. А именно это происходит, по нашему мнению, с теми писателями, которые сегодня исповедуют пацифизм. Словом, надо исходить из противоречий и явных опасностей современного мира, а в нем, к сожалению, еще есть не эфемерные, а реальные силы, нацеленные на войну. Поэтому позицию тех, кто не замечает этого, сбивается к идее абстрактного пацифизма, нельзя назвать безошибочной, полностью отражающей народные интересы.

Мы ни на кого не собираемся нападать. Наша страна занята мирным трудом. Мы не бряцаем оружием — это не наша политика и это не входит в наши обычаи. Но мы ничего не забыли. Ни бесчисленных жертв, ни опустошенных городов, ни сожженных дотла деревень, ни исковерканных судеб. Мы внимательно должны следить за теми, в чьем безумном представлении история движется лишь по одному порочному кругу: война — поражение — собирание сил — новая война. Семьдесят лет Октября и 70 лет Советских Вооруженных Сил учат бдительности. Есть сторонники и противники исторических параллелей. Но без истории не может быть настоящего и будущего. Она наш союзник и факел в пути. А еще говорят, что в истории есть голос крови. Этот голос набатом бьет в сердце и мозг: будьте бдительны. Нас — советских — еще не перестали рассматривать через прорези прицелов.

Центральный Комитет КПСС призывает деятелей литературы, искусства, средств массовой информации решительно разоблачать агрессивную сущность империализма, антисоветскую, антисоциалистическую направленность его политики, его стремление использовать пацифистские настроения в своих целях. Уделять больше внимания патриотическому воспитанию советских людей, повышению уровня их политической бдительности.

М. И. Калинин как-то сказал, что хорошая книга та, в которой под обложкой жизнь пульсирует, как кровь под кожей. Как мы мечтаем о книгах, где бы пульсировала воинская жизнь!

...Всерьез беспокоит, что сегодня множатся литературные работы об армии, из которых начал фактически исчезать положительный герой. Никто никого не принуждает изображать армейскую жизнь бесконфликтной, без противоречий. Наша армейская читательская аудитория также против невысокого качества сочинений, в которых положительным героем выступает только старший по воинскому званию и должности начальник. Это противоречит духу демократизации армейской жизни, живительный импульс которой сообщила перестройка. Но ведь нельзя и порочно было бы согласиться с тем, что в сегодняшней армии нет настоящего положительного героя. Конечно, изменяется жизнь, изменяется и представление о положительном герое. Но посмотрите: какие звездные россыпи характеров, какое мужество, благородство, профессионализм, чувство долга перед страной и миром, какие драматические коллизии! Слепой, конечно, не увидит. А зрячий, думающий увидит и поймет — новые люди, новые личности, новые характеры.

Моральный капитал армии и флота, как и нашего народа, громаден. Думаю, что задача писательского сообщества СССР состоит сегодня как раз в том, чтобы раскрыть его во всей полноте, смелее утверждать красоту души советского воина, силу его разума, волю патриота и интернационалиста. Другое дело, об этом

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 30, стр. 131.

сегодня следует рассказывать, может быть, не так, как вчера. Открыть новые яркие грани жизни героя — это уже забота литератора-профессионала.

Одно скажу, армия и флот будут чрезвычайно признательны писателям, которые обратятся к исследованию поистине богатой и мужественной жизни современных армейцев. Думаю, что магистральной линией развития литературы об армии должна стать выработка методологии формирования положительного героя. И тут нужна сопричастность армейской жизни, нужно понять ее глубинные пласты, постичь всю философию отношений в воинской среде. Задача эта, на мой взгляд, выполнима.

Положительный герой... Он среди наших славных командных кадров. Командир сегодня — что сгусток воли, энергии, профессионализма, первый ответчик за Родину. По душе, по долгу и призванию взваливает он на свои плечи груз нелегких забот: сформироаать защитника Отчизны, воспитать бойца, героя, чтобы никто не свернул в сторону, если придет черед и их атаки.

Положительный герой — среди политсостава армии и флота. Как в песне: замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары... Сегодня политработник — это должность и долг, это постоянный бой за незамутненное социалистическое сознание советского воина — патриота и интернационалиста.

А сколько героев повседневно рождают наши солдатские и матросские коллективы... Солдат сегодня — это верность воинскому долгу, слиток мужества, благородства и самоотверженности. Присягнув однажды священной клятвой своему Отечеству, он взял на себя ответственность за судьбу всеобщего мира. И это не слова, это в крови. Наш солдат взращен всей 70-летней послеоктябрьской историей страны.

Думается, проблему положительного героя современной армии правильно разрабатывает, к примеру, Александр Проханов, сумевший найти героев для своих литературных произведений и в дальних гарнизонах, и за рубежами нашей Родины, среди испытанных командиров и преждевременно поседевших солдат, которым еще нет двадцати лет от роду. Писатель не прошел равнодушно мимо «дерева в центре Кабула», правдиво рассказал о буднях службы советского солдата, о его патриотизме, интернационализме, о его бескорыстной душе.

Старая мудрость говорит: «Сложивши крылья, трудно лететь и самому орлу». Не складывать, а распрямлять крылья — вот в чем должна помогать нам литература, тем более что восемьдесят процентов личного состава армии и флота — молодежь 18—22 лет, а на одном негативном материале настоящего патриота, сознательного защитника Родины не воспитаешь.

Словом, мы ждем от литературы полноценных работ об армии, художественными средствами глубоко исследующих армейскую жизнь, обобщающих все передовое, творческое, могущих дать верное направление поступкам солдат нашей армии, решительно влиять на их мировоззрение.

В этом контексте хотелось бы обратить внимание и на деформации в литературе о Великой Отечественной войне. От минувшей войны нас отделяют уже не годы, а десятилетия. Но, повторяю, тема эта справедливо не уходит в прошлое потому, что речь идет о неслыханном испытании, в котором беспощадной проверке подвергалось все: основы нашего общественного бытия и нравственности, личная жизнь, образ действий, наши любовь, дружба и привязанности. В этом испытании раскрылась глубинная сила народного духа. И неверно мнение, что все страницы книги о войне уже прочитаны.

Волнует другое: в последние годы в подходе к военной теме проявилось много субъективизма, упрощенных, поверхностных оценок, претендующих на роль мировоззренческих установок. Это создает легкое отношение к минувшей войне у людей, которые ее не пережили. Нельзя принять субъективизм, выраженный пусть даже талантливым автором, как нельзя принять и неправду о войне. Познание прошлого — это основание для правильных действий в настоящем, для ясного взгляда в будущее.

Никак нельзя согласиться и с тем, что в литературе о Великой Отечественной войне все не утихают споры о «генеральской правде», о «штабной правде»,

о «солдатской (окопной) правде». Думается, для большой литературы, для большого писателя была, есть и будет одна правда — правда о войне. Как не вспомнить мудрую поэтическую строку: «Но двух истин не бывает, облик истины таков». И полководец Иван Черняховский, и солдат Александр Матросов, и разведчик Николай Кузнецов — из одной правды. М. Пришвин как-то сказал: «Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте...» Все они, солдаты и генералы той войны, стояли за правду, и всем им, как поется в песне, была нужна одна победа, одна на всех. Стремление к ней и было правдой их жизни, правдой о войне на тех пространствах — окоп, траншея, позиция, поле боя, операционное направление,— которые доверила им Родина-мать.

Несколько слов хотелось бы сказать и о литературном языке произведений о современной армии. Тенденция к натурализации языка нередко приводит к потере ощущения художественности, а наряду с этим в других произведениях ощущаешь стремление некоторых авторов писать как можно более мудрено, пользоваться «языком авгуров».

Размышляя, надеюсь, в духе сотрудничества с нашей литературой, о некоторых ее проблемах, хотелось бы посоветоваться по поводу детской и юношеской литературы. Ее успехи общепризнанны. Эти произведения читают и перечитывают. Но я о своем. Назовите два-три десятка книг последних лет, которые бы заставляли наших мальчишек всерьез думать о предстоящей воинской службе! Вряд ли найдете. Их ничтожно мало, они капля в книжном море. Опять вспоминаю слова А. Гайдара: «Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию». Наверное, есть смысл сызнова прислушаться к писателю, который сам участвовал в нескольких войнах, почти мальчишкой был командиром полка и в минувшей войне погиб с оружием в руках.

И последнее. В армии есть свой большой отряд литераторов, которые, пройдя ее школу, написали о том, что видели сами, пережили, прочувствовали. В их книгах — дыхание жизни, движение сердец, страсти и вдохновение. Перечислять не буду, список выйдет большой, и в нем появились недавно новые имена. У многих из наших товарищей на плечах армейские или флотские погоны. Иные из них опубликовали первые свои романы, повести, рассказы. Скажу откровенно, кому-то из молодых армейских писателей еще не хватает подлинного мастерства, четких позиций и ориентиров, глубокого проникновения в жизнь. Те или другие герои новых книжек словно бы поставлены на ходули—вымученны их движения, неестественны чувства и слова. Думается, причина «ходульности», во-первых, в нехватке профессионализма, во-вторых, в перестраховке (чего бы не вышло) и боязни жизненных конфликтов. От всего этого следует решительно избавляться. А писательские организации просто обязаны оказать посильную помощь новым собратьям по перу. И литературная критика не должна стоять в стороне. Литература об армии имеет сегодня, мягко говоря, слабую прессу. Не проявляя должного интереса к военной теме, критика только обедняет себя, так как теряет один из интереснейших источников человековедения. Посудите сами: ведь почти все мужское население страны проходит армейскую службу...

Сегодня в стране идет перестройка. Этот революционный процесс захватил все слои общества, все сферы нашей жизни, в том числе и жизни Вооруженных Сил. На передний край вышли вопросы нравственности. Ответственность, честь, совесть, скромность, доступность, справедливость, искренность, правдивость... Гласность и демократизация раскрепощают ум, люди обретают новые радости бытия. Обновляется и весь литературный процесс в стране. Нельзя не воспользоваться этим, укрепляя братский союз нашей армии с нашей литературой. Это боевое взаимодействие умножает нашу силу, в нем выражается наша общая ответственность за оборонную мощь страны и за мир во всем мире.

Отто Лацис

ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ

НЕВИДИМАЯ ОЧЕРЕДЬ

Из Гамбурга я привез домой большую буханку ржаного хлеба. Отдал за нее десять марок — три рубля на наши деньги. Правда, это был не какой-нибудь хлеб — настоящий Vollkornbrot, что означает дословно — хлеб цельного зерна. Хороший хлеб. Продавщица долго не могла понять, чего я хочу, все спрашивала: сколько отрезать. Там не берут хлеб буханками — обычно просят отрезать несколько кусков, их тут же кладут в целлофановый пакетик.

Еще рубашку привез, такой мягкий трикотаж, чистый хлопок. Тоже десять марок. Вот такие цены. Рубашка, правда, полиняла после первой стирки— от синего воротника на белую спину потянулись пятна. Предупреждали меня опытные люди — дешевое не бери.

Не верьте разговорам, будто «у них там все это ничего не стоит». Нет, я не собираюсь пускаться в подсчеты стоимости жизни в капиталистических странах и не стану называть умопомрачительные цифры платы за квартиру, за электроэнергию или за проезд любым видом транспорта, хотя они и в самом деле умопомрачительные. Хочу разобраться, что же это такое — цена в том мире, где любая фирма очень хорошо считает деньги, потому что она не Госбанк СССР, она прогореть может. Почему в том же Гамбурге в тот же день, когда была куплена рубашка за десять марок, я видел трикотажную рубашку за сто двадцать? А кассетный магнитофон — за семьдесят. И проигрыватель — за две тысячи. И приличный подержанный «мерседес» — за двадцать тысяч. И шубу — за сорок пять тысяч.

Не ставлю задачу показывать, как «они там» морально загнивают. Это было бы очень легко сделать, описав хотя бы гамбургскую Репербан, где в сверкании огней с вечера до утра торгуют человечьим телом, где пожилой продавец секс-шопа спросил нас: «Ну как вам наш свинячий свободный мир?» — и где за калиткой с надписью «Женщинам и лицам до 18 лет вход запрещен» — целая улица окон-витрин с «живым товаром».

Хочу разобраться в другом — в деловой стороне цены. Секретов фирм не знаю — ни одна не раскроет той настоящей цены, ниже которой отдавать товар не может. Остается наблюдать технику ценообразования прямо в торговле, насколько может ее наблюдать покупатель. И лучше всего для этого пойти на гамбургский Фишмаркт — Рыбный рынок в гавани.

Рыбный — это его старинное название. Сейчас там торгуют чем угодно, а больше всего — фруктами и цветами. Торгуют и рыбой. Рынок открыт раз в неделю, по воскресеньям, с шести утра до одиннадцати. Для покупателей это не столько торговля, сколько развлечение. У причала два-три суденышка, рыбаки прямо с палубы продают ночной улов — это и есть, видимо, то, что осталось от былого Рыбного рынка. Сейчас основное действо не здесь, а на прилегающем к причалу пространстве.

Вот толпа на небольшой площадке наслаждается соревнованием двух торговцев, которые оглушительным ревом перекрывают хохот и выкрики публики, зазывая покупателей. Если отвлечься от театрализованной части их действий,

можно сказать, что они просто очень быстро расфасовывают и продают товар. Но как раз от этой части отвлечься нельзя — в соседних лавках, где нет спектакля, нет и толпы покупателей. Здесь же каждое движение, как на сцене. Рыбник, ухватив за голову копченого угря, выдергивает его из ящика, на секунду показывает толпе, затем картинным жестом швыряет на лист бумаги, который держит на левой ладони. Следом шлепается второй угорь, потом кусок копченой лососины. Торговец мгновенно завертывает рыбу в бумагу и все это время не перестает реветь:

— Глядите, какие жирные угри! В магазине это стоит сорок пять марок. Отдаю за сорок!.. Тридцать!.. Двадцать!

— Беру! — кричит стоящий рядом парень, явно опасающийся, что при такой цене появится много желающих. Вся операция заняла секунд пять, и продавец тут же показывает следующего угря. Упаковка стандартная, но текст не повторяется, хотя повторяется точно рассчитанная игра с ценой.

Идем фруктовыми рядами. Персики по пять марок за десяток. Персики по семь марок за два десятка. Здесь ни театра, ни толпы, но покупатели подходят довольно часто. А дальше — снова торговля с грузовика и снова крик:

— Пять марок за ящик!

Считаем: в ящике сорок персиков. Черт возьми, это же вчетверо дешевле, чем у первого прилавка. Не могу удержаться от выгодной покупки — взял и стою с ящиком в руках. Куда же теперь с ним? Местные жители бодро шагают с ящиками к ближним домам или к автомобилям, но я собирался еще походить по рынку. Мне бы полиэтиленовую сумку вроде тех, что дают каждому покупателю там, у прилавков. Но у грузовика продавец небрежно отмахивается: здесь сумок не дают. Пять марок за ящик, чего вам еще? Кое-как перераспределяю прежние покупки, высвобождаю сумку и складываю туда персики. Тут и обнаруживается, что два из них порченые, а еще несколько — совсем мягкие, надо съесть немедля.

Столь же необъяснимым на первый взгляд может показаться поведение торговцев промышленными товарами. Вблизи гавани Гамбурга есть магазины, где товары в несколько раз дешевле таких же (на мой, например, взгляд) товаров в универмагах на центральных улицах. На дверях одного из этих магазинов надпись «вход» на нескольких языках, включая русский и польский. Есть и продавцы, понимающие по-русски и по-польски.

Ах эти гамбургские купцы! Заподозрить ли их в особой благосклонности к советским и польским морякам? Повременим. Вспомним хотя бы эпизод, относящийся к началу двадцатых годов, когда через Гамбург проезжал, направляясь в Америку, В. П. Ногин. Председатель Всесоюзного текстильного синдиката собирался наладить импорт хлопка из США, а по пути пытался узнать, почему тонна американского хлопка в Гамбурге сто́ит дешевле, чем в США. Купцы старейшего ганзейского города секрета не раскрыли: клялись, что из любви к клиенту торгуют себе в убыток. Ногин не поверил, поехал дальше, в Америке ему разъяснили: в пути через океан хлопок вбирает влагу, становится тяжелее, так что в Гамбурге совсем другая тонна, чем в Новом Орлеане. Купцы не прогадывали на «низкой» цене.

Купец не прогадывает, если хочет оставаться купцом. Чтобы понять причуды цен в сегодняшнем Гамбурге, надо представить основные принципы извлечения прибыли. Предположим, себестоимость товара десять рублей. При какой цене этот товар даст больше прибыли — одиннадцать рублей или пятнадцать? Казалось бы, ответ очевиден, но настоящий купец ответит: не знаю. Все зависит от ситуации на рынке. Предположим, ситуация такова, что при первой цене я распродам партию товара за месяц, а при второй — за год. Выходит, при меньшей цене капитал обернется за год двенадцать раз, в итоге десять процентов на каждой сделке принесут сто двадцать процентов прибыли на вложенный капитал. А при большей цене капитал обернется один раз и прибыли за тот же срок будет всего пятьдесят процентов.

Купец считает прибыль не от отдельной сделки, а от вложенного капитала. Эта прибыль решающим образом зависит от быстроты оборота. Цена — гибкий инструмент, который позволяет находить оптимальное сочетание рентабельности отдельной сделки и быстроты оборота, чтобы получить максимальную прибыль на капитал. С учетом этого можно представить себе и такую ситуацию, когда целесообразно установить цену ниже себестоимости: если залежался явно неходовой товар, лучше сбыть его поскорее даже в убыток, чтобы высвободить капитал для нового, более удачного оборота.

Теперь мы можем строить правдоподобную гипотезу о той стратегии гамбургских купцов, которая делает их «благодетелями» моряков. К началу очередного сезона крупная швейная, к примеру, фирма выбрасывает на рынок, скажем, партию рубашек новой модели. Искусство плановиков фирмы заключается в том, чтобы точно рассчитать, сколько этих рубашек поглотит рынок за сезон. Предложить меньше возможного—значит упустить часть прибыли, предложить больше — возиться с нераспроданными остатками, которые в следующий сезон никто не возьмет, поскольку появится товар помоднее. Пожалуй, самое опасное — предложить меньше, ведь брешь на рынке заполнят конкуренты. Перед концом каждого сезона во всех крупных магазинах — распродажа остатков по сниженной цене. Но и после распродажи могут заваляться остатки остатков. Их-то, видимо, и продают припортовым магазинчикам, поскольку большим универмагам они только мешают, занимая высокоценимую площадь.

Вот висят в припортовом магазинчике очень хорошие рубашки, просят за них недорого, но все одного размера и как раз не моего. Явный остаток распроданной где-то партии. Вот куртка, одна-единственная. Это другой случай: приглядевшись, можно увидеть следы выведенного пятна, которое посадил неаккуратный покупатель в универмаге. Это уж уцененный товар в чистом виде. Но почему же магазины эти близ порта и зачем здесь говорят по-русски и по-польски? Потому что рынок находит всякому товару то место, где он будет двигаться. В Гамбурге массовый покупатель с небольшими деньгами — это иностранный моряк. В гамбургском порту иностранный клиент номер один, которого более всего ценит весь морской бизнес — от ремонтных доков до припортовых магазинов ширпотреба,— это советский клиент, поскольку советских судов здесь бывает больше, чем любых других. Немало и польских моряков.

Еще более жестки законы ценообразования для такого товара, как фрукты и рыба: промедление грозит не только замораживанием капитала, но и порчей товара, и переплатой за хранение в холодильнике. Но и товар непортящийся и несезонный подвержен тем же законам. Упоминавшийся магнитофон за семьдесят марок — вариант простейшего «кассетника», бывшего новинкой лет двадцать назад. Кассетный проигрыватель с наушниками еще дешевле. А рядом на витрине — проигрыватель с лазерным лучом вместо иголки, с гибким диском размером не шире ладони. Это последнее слово технического прогресса стоит более полутора тысяч марок.

Итак, цена в руках гамбургских купцов — инструмент необычайно гибкий и подвижный. Она постоянно информирует производителя, какую сумму готов выложить покупатель за тот или иной товар и, следовательно, какой товар и в каком объеме нужно производить, а какой не нужно. Это не значит, что цена — продукт «свободной» стихии рынка. И крупные фирмы, и государство стараются регулировать движение цен. Государство, например, обязывается скупать у крестьян по твердой цене столько молока, сколько они пожелают продать, не допуская падения цен. Впрочем, не только западногерманское государство — все западноевропейское экономическое сообщество озабочено поддержанием высоких цен на сельскохозяйственную продукцию — в границах «Общего рынка» они в целом значительно выше, чем за его пределами. Но под воздействием на цену здесь не разумеют прямое административное предписание государства промышленности или торговле — такому-то товару стоить столько-то марок. На цену воздействуют экономическими ресурсами, товарными и финансовыми. Хотите снизить цену — выбросьте на рынок больше товара. Хотите удержать ее на высоком уровне — направьте финансовые ресурсы на скупку товара, не давая ему деше-

веть. Конкретная же цена всегда близка к уровню, обеспечивающему равновесие рыночного спроса и предложения.

Капитал не терпит очередей в магазинах: очередь — это неудовлетворенная потребность, непокрытый спрос, неиспользованная возможность сбыта, неполученная прибыль. При всякой возможности расширения спроса он выбрасывает на рынок дополнительные партии товара или повышает цену. Для таких маневров нужны резервы — товаров, производственных мощностей, рабочей силы. Два первых рода запасов обходятся предпринимателю дорого, это неподвижный капитал, его должно быть как можно меньше. И существует множество самых прогрессивных приемов, с применением компьютерной техники, позволяющих обходиться минимальными запасами материальных ресурсов. Третий род резервов — рабочая сила — особенно дорого обходится обществу, но ничего не стоит предпринимателю. Этот товар здесь в избытке. Два с лишним миллиона человек — такова очередь ожидающих работы в ФРГ. Еще миллион с лишним — не зарегистрированные, но заинтересованные в работе, так называемый скрытый резерв. Невидимая взгляду постороннего очередь в три с половиной миллиона человек.

— Мы не любим собирать безработных вместе,— пояснял нам президент земельной биржи труда земли Северный Рейн-Вестфалия господин Зунд.— Поэтому стараемся без необходимости не вызывать их на биржу. Извещения посылаем по почте, пособия по безработице переводим в банк по месту жительства. Отсюда, кстати, легенда о безработных, имеющих счет в банке. Не верьте легендам — ни об их материальном благополучии, ни о людях, будто бы не желающих работать и безбедно живущих на пособие. Около трети зарегистрированных безработных не получают пособия. Само пособие в два-три раза ниже средней зарплаты рабочего. И оно никак не решает моральную проблему. Безработица разрезает общество. Тот, кто несколько месяцев остается без работы, погибает и психически, и физически. В зависимости от перспективы граница необратимых изменений колеблется в пределах шести месяцев. Люди меняются во всех отношениях. Медленнее ходят, медленнее разговаривают, теряют интерес к обучению. Одна из главных задач для нас — создать мотивацию, поддержать их в нормальном психологическом состоянии. С молодыми это иногда удается, но кому за пятьдесят — перспективы не видят. Я надеюсь,— продолжает господин Зунд,— что когда-нибудь удастся увольнение компенсировать предложением о повышении квалификации. Обучение имеет такой же общественный ранг, как работа, люди не чувствуют себя отверженными. Но в обществе есть тенденция отталкивать безработного и убеждать его, что он сам виноват, ибо кто хочет работать, тот найдет место, а это не так, это пожизненная ложь имеющих работу. Усиливается индивидуализм, слабеет солидарность. Здесь должен быть центральный вопрос политической дискуссии профсоюзов, но они беспомощны. Члены профсоюза — это те, кто еще имеет работу, им трудно принять в расчет тех, кто должен к ней пробиваться. Я считаю, что издержки вашего общества, связанные с дефицитом товаров,— меньшее зло, чем издержки нашего общества, связанные с дефицитом рабочих мест.

Как видно, наш собеседник разделяет распространенную на Западе концепцию, согласно которой надо выбирать одно из этих двух зол, а потому известные недостатки социалистической экономики последних десятилетий — будто бы необходимая плата за отсутствие безработицы. Дискуссии не входили в нашу задачу — мы старались как можно больше услышать и понять. Но здесь пришлось заметить, что в Советском Союзе мы хотим добиться, чтобы рабочее место по-настоящему ценилось, не допуская вместе с тем безработицы. По мнению наших экономистов и социологов, безработица не нужна для повышения ценности рабочего места — достаточно поддерживать примерное равновесие между потребностью в рабочих местах и их наличием.

— Это было бы идеальное общество,— вдруг с энтузиазмом произнесла дотоле молчавшая супруга президента земельной биржи труда.

Мы знали, что наш собеседник, социал-демократ, как и его товарищи по партии,— сторонник политики, уменьшающей безработицу, вплоть до законодательного сокращения рабочей недели. Но правящие буржуазные партии не допускают этого. Возможно ли вообще капиталистическое производство без резервной армии труда, мы обсуждать не стали.

ВИДИМАЯ ОЧЕРЕДЬ

Цифра из газеты: на приобретение покупок население Советского Союза тратит 65 миллиардов человеко-часов в год. Это не считая потерь времени на поиски нужного товара. Ясно, что на оформление самой покупки уходит не так уж много времени, главное — стояние в очередях. Если пересчитать на годовой фонд рабочего времени, получается, что 35 миллионов человек у нас постоянно «работают» в очередях. С чем сопоставить затраты трудовых ресурсов на эту «отрасль» народного хозяйства? Заглянем в справочник. Наука и научное обслуживание — 4,5 миллиона человек. Не потянет. Строительство — 11,6 миллиона, транспорт — 10,8 миллиона, сельское хозяйство — 12,0 миллиона. Даже все три отрасли вместе не занимают столько людей, как очереди. Промышленность — только она сопоставима: 38 миллионов. Из них рабочих — 31,3 миллиона.

Такая вот сложилась пропорция: тридцать один миллион стоит у станка, тридцать пять миллионов — в очереди. Одной этой потери достаточно, чтобы объявить очереди всенародную войну. Однако из-за очередей и неразрывно связанных с ними товарных дефицитов мы теряем гораздо больше. Часть потребностей не удается удовлетворить вообще, даже с очередью — эта потеря ощущается людьми еще острее, чем излишняя потеря времени на покупку. Ведь есть немало потребностей совершенно неотложных, будь то лекарство или квартира, обувь или учебник. При достигнутом у нас уровне жизни многие люди остро воспринимают и невозможность удовлетворить потребности непервостепенные или даже мнимые — в этот разряд в разное время попадали автомобили и дубленки, телевизоры и мебельные «стенки», книги и джинсы, модные диски и ковры — таким потребностям нет предела.

Из дефицитности, как бабочка из куколки, неотвратимо вылезает спекулянт и взяточник. Цена, которую он способен заломить, не знает предела, и немало людей идет на преступление, чтобы добыть деньги для приобретения желанной вещи у спекулянта. Ну а сам спекулянт вместе с торговыми и иными деятелями, поставляющими ему товар,— это носители капиталистических отношений в их самой откровенной и примитивной форме, и к ним в полной мере относится рассуждение, цитированное еще К. Марксом: о том, что нет такого преступления, на которое не пойдут они ради стольких-то процентов прибыли. «Дела» последних лет — узбекские, ростовские, мосглавторговские и иные — вновь напомнили нам об этом.

Эти «дела» показали и другое: для сохранения власти над «дефицитом» (а иногда и для создания дефицитности при достаточности товара) спекулянты и взяточники нуждаются в аппарате насилия, а потому нередко стремятся купить работников государственного и даже партийного аппарата, делясь с ними доходами и переводя их в один разряд с собою.

Взятый партией курс на очищение смел эту нечисть. Но тут же ясно стало, что надо уничтожить и почву, на которой она расцвела, экономическую почву. Вспомним серию репортажей в «Известиях», показавших, что трезвому клиенту по-прежнему опасно настаивать на защите своих прав в московских ресторанах, поскольку ресторанные дельцы связаны с коррумпированными работниками милиции. И это было уже п о с л е трегубовского дела!

На все эти «дела» можно и нужно взглянуть не только с узкоправовой или экономической стороны, но и с социально-политической. Раз не всякий товар можно купить за деньги, значит, законное распределение по заработанным

деньгам разрушается. Это подрывает и саму оплату по труду. Теряет смысл общепринятое понятие реального дохода. Ведь этот доход статистика исчисляет, сопоставляя номинальные доходы с официально установленными ценами «потребительской корзины» основных товаров и услуг. Реальный доход как статистическая величина перестает совпадать с доходом, реальным в житейском практическом смысле: тем доходом, который можно реализовать. Поскольку реальны в конечном счете нужные нам вещи, а не дензнаки, подлинное распределение доходов при дефицитности складывается не по зарплате, а по доступу к вещам, следовательно,— не по труду. Здесь уже начинается подрыв главного принципа социалистического производства, подрыв социалистических производственных отношений. Спекулянты, взяточники и казнокрады, вполне справедливо осужденные по статьям уголовного кодекса, в смысле социально-экономическом являются еще носителями отношений эксплуатации, в смысле политическом — носителями контрреволюции. Именно так определял им подобных Ленин. Воевать с ними нужно всеми средствами, и самое главное — отнять у них экономическую почву.

Для этого недостаточно обладать честностью, смелостью, решительностью, настойчивостью. Кроме этих совершенно необходимых качеств, требуется еще понимание экономических и социальных процессов, механизм их взаимосвязей.

Знаем ли мы, что такое дефицит? Как и почему возникает очередь? Случай не такой уж редкий в общественной жизни: то, что, кажется, известно всем, с чем повседневно сталкивается каждый из нас, укрыто толщей предрассудков массового сознания, и эта толща искажает реальные явления и их взаимосвязи. Бывает, менее всего известно то, что известно всем.

Старшие поколения родились и вырастали с карточками: гражданская война, первая и начало второй пятилеток, Отечественная война и два с половиной года после нее. Тогда сложилось в массовом сознании и отвердело представление о товарном дефиците как о нехватке абсолютной: предметов первой необходимости, вплоть до хлеба, было не только меньше платежеспособного спроса, но и меньше физиологической потребности. В войну потеря карточек могла означать голодную смерть. Дефицитной в абсолютном смысле была и вся последующая цепочка воспроизводственных связей: предметов потребления не хватало потому, что не хватало средств производства для их выпуска. Видя сегодня на поверхности явлений как будто бы то же самое — отсутствие искомого товара на прилавке,— мы редко задумываемся над тем, что дефицит черной икры или даже мяса — не то же самое, что отсутствие куска хлеба, а дефицит автомобилей или хороших цветных телевизоров — нечто иное, чем отсутствие галош и школьных тетрадей. Как и в прошлом, сознание выстраивает от привычного явления жизни к его первопричинам примерно такую логическую цепь: одна из главных наших неприятностей — очередь, причина очереди — дефицит товаров, причина дефицита — недостаточное производство, причина недостаточного производства — ограниченность ресурсов, а уж эта ограниченность объясняется какими-нибудь объективными социально-экономическими, а то и политическими обстоятельствами. При таком рассуждении дефицит и очередь если и не оправдываются, то признаются объективно обусловленными самой нашей жизнью.

И хотя все больше фактов вступает в противоречие с этой некогда верной схемой, она сохраняется и поныне, причем не только на бытовом уровне,— на нее в большой степени опирается хозяйственная практика, от нее не вполне отказалась и экономическая теория.

Попытаюсь показать, во-первых, что очередь во многих случаях не связана с дефицитом, и если вдруг все дефициты будут преодолены, но существующие экономические отношения сохранятся, очередь не исчезнет из нашей жизни; во-вторых, что дефицитность сегодня мало связана с недостаточным производством: некоторые дефициты могут быть преодолены без расширения производства, а иные, напротив, нельзя преодолеть никаким реально мыслимым расширением производства — нужны и другие меры.

МАГАЗИН ВОЗЛЕ ДОМА

— Зачем же пан купил масло в другом магазине, ведь оно есть у нас?

Все ясно. Пока я укладывал в портфель только что купленную корзиночку клубники, продавщица заметила там бутылку подсолнечного масла. Зеленную лавку я миную каждый день по дороге домой, мы знакомы уже года два, и только поэтому продавщица позволила себе мягко попенять на мое непостоянство — как своему клиенту. Да, неудобно, но я же не знал, что так получится. Мой путь с работы — от центра пражского района Дейвице к его окраине — пролегает сначала мимо большого магазина самообслуживания, где выбор простой, но самый универсальный. Туда я захожу непременно, потому что там можно сделать покупку быстрее всего. В зеленную я сегодня не собирался заходить, потому и взял масло в «самообслуге» (так это именуется по-чешски). Да вот соблазнился увиденными на витрине ягодами и забежал. Специализированные магазины — хлебный, мясной, рыбный, зеленной, молочный — выстроились на протяжении двух кварталов, примыкающих к самообслуге. В этих магазинчиках на каждую покупку расходуется чуть больше времени, потому что самообслуживания нет. Но зато здесь мной займутся, могу выбрать кусок по вкусу и любого размера. В рыбной, скажем, лавке могу взять карпа целиком — его при мне выловят живого из садка. Могу попросить тушку — это обойдется подороже. Могу взять одно филе — это еще дороже, зато дома останется только бросить его на сковородку. А могу купить карпьи головы — цена их почти символическая, на сковородку бросать нечего, но отменная уха получится почти задаром.

В специализированные я захожу не каждый день. Но, пробегая мимо, бросаю взгляд на витрины. Они здесь не для украшения, а для информации, и я, не заходя в магазин, знаю, что сегодня в мясном и что в зеленном.

А возле самого нашего дома в тихом переулке — последний магазин на ежедневном пути. Я стараюсь все покупки сделать до него, потому что в пиковое время, после работы, здесь я рискую простоять минут пятнадцать в очереди. Сюда больше ходят пенсионеры и домохозяйки из окрестных домов. Я захожу в него разве что по субботам, а если в рабочий день, то рано утром, до завтрака, если вдруг обнаружу, что накануне забыл что-то купить. Здесь ни специализации, ни самообслуживания, и я поначалу не понимал, почему здесь не выстраивается длинная очередь. Потом понял: дело не в одном этом магазинчике, а во всей совокупности торговых заведений района, в их размещении и распределении функций между ними. Большие самообслуги — ближе к центру района, где станция метро, пересечение трамвайных и автобусных путей. На лучах главных магистралей — специализированные магазины. А в глубине кварталов, в тихих переулках — магазинчики, подобные тому, что возле нашего дома. Самообслуга в центре принимает на себя главный поток покупателей, едущих с работы, и выпускает успокоенными ручейками: у кого сделаны главные покупки на сегодня, у кого — все. В итоге за повседневным товаром не приходится ходить специально, его легко купить между делом, попутно.

Магазинчик возле дома открывается в шесть часов утра. Но уже в пять там движение: перед открытием непременно привозят свежее молоко и хлеб. Часам к одиннадцати молока здесь, пожалуй, уже не возьмешь: маленький магазин не рискует заказывать много. Молоко, не распроданное сегодня, завтра можно будет отпускать только с уценкой. Так что если вы припозднились, идите чуть дальше, в молочную лавку. После обеда молока и там может не быть — тогда идите до большой самообслуги. Она держит молоко весь день, и уж обязательно — вечером, когда люди идут с работы.

Многое нравилось мне в чехословацкой торговле — и продуманное размещение магазинов, и специализация, удобная для покупателей, а не для торгового ведомства, и богатый выбор товаров. Но чаще всего вспоминаю продавщицу из зеленной лавки, которая сожалела, что я сделал покупку не у нее. Пражский

продавец ждет покупателя, хочет видеть его у себя, хочет обслужить — вот чему я не уставал удивляться. Все прочее — и внимательность, и терпение даже при капризах покупателя, и высокая квалификация — лишь следствия этого главного обстоятельства. Покупатель нужен продавцу, а не наоборот. В Праге (впрочем, и в Будапеште, и в Берлине, и в Белграде) приезжему при незнании языка труднее всего заходить в маленькие магазины, где оказываешься один на один с продавцом. Не умея объясниться, хочешь сначала высмотреть нужный товар, чтобы потом ткнуть в него пальцем, но тамошний продавец не дает осмотреться. Вскакивает, как заведенный, летит навстречу покупателю — он к вашим услугам, говорите, что вам угодно.

Но вот:

— Что это сегодня покупателей так много? И когда им конец будет?

Эту реплику я услышал тоже в магазине возле дома. Только не в Праге, а у нас в Москве. Если сделать замечание милой девушке, сидящей за кассой универсама, она удивится и даже обидится. Разве она вам нагрубила? Она вам вообще ни слова не сказала. Ее громкие слова были обращены к подруге у соседней кассы, и она ни секунды не задумывалась о том, что их слышит вся очередь — десятки людей разных возрастов и положения. Она их искренне не замечает. Так она приучена, такая у нее привычная ориентация.

Не одна эта продавщица, вся торговая система выработала стойкую исходную позицию — спиной к покупателю.

На юго-западе Москвы — там, где от Севастопольского проспекта отходит Болотниковская улица,— года три назад вырос универсам «Диета». Это строение невозможно описать без превосходных степеней: не магазин — завод, во всей Праге подобного гиганта не найти. Я шагами мерил: добрая треть гектара под основным зданием да еще второй этаж, еще технический корпус, набитый оборудованием, хозяйственный двор, подъездные пути. Тринадцать касс только в основном зале самообслуживания, еще три рабочих места в зале овощных товаров, не менее шести — в залах второго этажа да там же — просторное кафе. Подарок покупателю — так это именуется в иных парадных реляциях.

А мне, покупателю, досадно. Еще со школы помню, что социалистическое государство по самой своей природе не делает подарков трудящимся. Не может делать, потому что наше государство — это мы и есть. Оно, государство, само никаких материальных благ не производит, оно только более или менее рационально распоряжается тем, что производят трудящиеся. В данном случае огромные деньги, вложенные в этот торговый дредноут, по сути, выброшены на ветер. Спросили бы покупателей — они наверняка распорядились бы этими деньгами лучше.

В Москве ведь в целом не хватает торговых площадей — это тоже один из дефицитов. Чтобы устранить его быстрее, надо разумно использовать имеющиеся площади и деньги на постройку новых. Большие магазины самообслуживания — самые дорогие постройки — окупаются лишь там, где можно использовать их огромную пропускную способность, прежде всего у станций метро. Но в этом, например, районе у всех окрестных станций — «Профсоюзная», «Новые Черемушки», «Калужская», «Нахимовская» — покупателей встречают небольшие или средние магазины без самообслуживания, а кое-где и вовсе никаких магазинов нет. А грандиозная «Диета» поставлена в глубине жилых кварталов, на максимальном удалении от всех этих станций метро. Покупки между делом, по пути домой с работы, здесь уже исключаются. Двигаясь от метро, покупатель зайдет в первый магазин на пути к дому и не рискнет отложить покупку до последнего, даже очень удобного: а вдруг там не окажется нужного товара?

Из имеющихся касс в главном зале новой «Диеты» обычно действуют три. Ради такого результата можно было построить магазин вчетверо меньше, а то и вовсе ничего не строить: в двухстах шагах, на Севастопольском проспекте, давно стоит магазин самообслуживания поскромнее, там обычно работают две кассы, хотя есть и третья; а в Праге в магазине такой площади наверняка разместили бы все шесть.

Равнодушие к использованию торговых площадей — самый наглядный обвинительный акт экономическому механизму торговли. Два года был закрыт на ремонт универмаг на улице Гарибальди. Два года был закрыт «Колобок», некогда прекрасный фирменный магазин объединения «Молоко» на Профсоюзной улице с кафе-молочной на втором этаже. Закрыт якобы на ремонт, но когда бы я ни проходил мимо — не видно было внутри ни души. А после «ремонта» на месте торгового зала, где можно было купить молочные продукты, обнаружилось кафе-мороженое. Неторопливые ремонты — тайна торговой сети. Ведь каждый день тысячи людей несут в магазин свои деньги. Значит, день простоя — потеря тысячных доходов для торговли. Но вот магазин закрыт не день, не месяц — год, другой. Может быть, он не нужен? Но тогда зачем строят еще и еще? Может быть, больше нечего строить?

А неподалеку, на Нахимовском проспекте, снова загадка. В большом магазине хозтоваров один зал из двух закрыт уже несколько лет просто так. Закрыт, и все. «Ничего не поделаешь,— объясняет мне всезнающий знакомый,— некому торговать, не хватает людей». Но нашлись же люди, чтобы построить, скажем, полупустую «Диету». Не один, не два — десятки людей с зарплатой повыше, чем у продавца. И еще сотни людей снабжали их материалами, механизмами.

«Нечем торговать, нет товаров»,— толкует другой всезнающий. Куда же они подевались, ведь года три назад полны были оба зала? Засуха пала на хозтовары посреди нашего индустриального города? Впрочем, в магазинах сантехники, стройматериалов и сейчас не протолкнуться. Товаров там не избыток, но еще острее не хватает торговых площадей. А здесь эта самая площадь пустует. Зато торжествует специализация. Сантехникой торгуют на всю Москву четыре магазина. По расчету на количество обслуживаемых жителей (даже не считая миллионов приезжих) это все равно, что четыре магазина на всю Болгарию или два на всю Норвегию... Сантехника и прочие хозтовары принадлежат одному торговому ведомству. Почему в одних густо, а в других пусто,— еще одна загадка.

На что же ориентированы планирование и организация торговли? На то, чтобы преодолевать, смягчать объективные нехватки, или на то, чтобы усугублять их? На то, чтобы лучше использовать имеющиеся немалые ресурсы, или на то, чтобы требовать все больше у государства, не заботясь об отдаче?

О часах работы магазинов и говорить нечего. Продовольственные открываются в девять, в лучшем случае — в восемь. А ведь было время, когда молочные открывались в семь и можно было забежать туда до работы. А обеденные перерывы! Это не только не используемые в самый горячий час площади, но издерганные нервы покупателей и продавцов. При желании вполне можно устроить скользящий график для обеденного времени продавцов, и не закрывать весь магазин. Но нет желания...

НУЖЕН ЛИ УЧЕТЧИК СБОКУ?

Шандора Дэмиана мне удалось увидеть за несколько месяцев до того, как он покинул свою торговую «империю». Осенью 1986 года он стал директором одного из только что созданных в Венгрии коммерческих банков, а мы встретились весной, когда он еще был генеральным директором кооперативного объединения «Шкалакооп». Лет за десять до того две сотни кооперативов — в основном потребительских, а также производственных — сложились и создали паевое торговое объединение «Шкалакооп». Оно построило универмаг в столице — один из крупнейших и, на мой взгляд, лучший в Будапеште. Сейчас объединение имеет около семи десятков универмагов по всей стране, в Будапеште построило второй универмаг, создало систему магазинов модных товаров «Ш-модель», а в те дни, когда мы встретились с Дэмианом, завершало покупку прогоревшей столичной фирмы, торгующей овощами, и одновременно вело нашумевшую в прессе

«помидорную войну» — импортировав партию тепличных помидоров, сбивало цены на них, вздутые зимой перекупщиками.

— Вы что думаете, у капиталистов не бывает перебоев в торговле? — напористо говорил Дэмиан.— Бывают. Но они устраняют дефицит за месяц-другой, а у нас, в социалистическом плановом хозяйстве, для этого требуется год.

«Год? Ну и оптимист»,— подумал я. Наверно, сомнение отразилось на моем лице, но Дэмиан истолковал мою реакцию превратно и принялся горячо убеждать во вредоносности дефицита. Что ж, ему, видевшему прилавки многих советских магазинов, легко было составить самое нелестное представление об уровне экономического мышления в нашей стране. Скоро я заметил, что он пересказывает основные тезисы «Экономики дефицита» — книги академика Яноша Корнаи о закономерностях нехозрасчетного варианта социалистического хозяйственного механизма, написанной в 1970 году, переведенной на многие языки, но в Советском Союзе пока, к сожалению, не изданной. Что было делать? Пришлось сказать, что я совершенно согласен с высказанными мыслями и что они вполне соответствуют тому, что писал профессор В. В. Новожилов в статье «Недостаток товаров», опубликованной в Советском Союзе впервые в 1926 году.

Дэмиан выхватил ручку:

— Как вы сказали? Новожилов? Найду.

После этого стали обсуждать торговую ситуацию. Дэмиан был встревожен: в ассортименте универмагов «Шкалы» сейчас «всего» 79 тысяч товарных позиций. В лучшие времена, в семидесятые годы, бывало 113 тысяч. Сказывается ограниченность импорта, вызванная внешней задолженностью страны. И снова загорячился:

— Почему у вас такая неповоротливость? Приезжаю в Кишинев, иду в универмаг — затоварены холодильниками, а у нас их как раз не хватает. Мы же затоварены кожей, дубленками. Предлагаю директору универмага обмен — я могу, он не может.

Мне нечего сказать. Приоритет советской экономической науки в разработке теории вопроса я еще могу отстоять, но как быть с практикой? Как быть с укоренившейся у нас незыблемой уверенностью в том, что торговля не виновата, если нет товара? Виновата: надо уметь искать. Например, тысячи видов промышленных отходов, выбрасываемых на свалку или отправляемых в утиль,— на самом деле нужные людям товары. Тысячи других изделий промышленность может без особых трудностей произвести, но не получает заявок торговли.

Впрочем, сами-то торговые работники прекрасно знают, что их ссылка на недостатки производства — всего лишь отговорка. Сколько бывает случаев, когда производство предлагает товар, нужный покупателю, а торговля его не берет. Вспомним хотя бы сообщения «Известий» в конце минувшего лета о том, как московская торговля отказывалась принимать отборную морковь у подмосковных колхозов, а в магазинах хорошей моркови не было, на рынках запрашивали втридорога.

В недавно ушедшие времена иному читателю, пожалуй, нелегко было разобраться в причинах прохладного к нему отношения промышленности и торговли. Добрую четверть века наша публицистика пыталась выполнять непосильную для нее задачу: конструировать рациональный хозяйственный механизм.

Обстановка гласности в корне изменила ситуацию, а июньский Пленум, приняв основные документы реформы, снял саму проблему. Публицистика возвращается к своему прямому делу: показывать обществу картину его собственной жизни, будить общественную мысль, ставить новые вопросы, разъяснять найденные наукой решения. Благодаря этому мы можем не возвращаться здесь ко многим спорам, занимавшим публицистов-экономистов долгие годы. Нет больше вопроса о приемлемости товарно-денежных отношений при социализме, послужившего в свое время поводом для стольких политических ярлыков. Не надо доказывать необходимость коллективного подряда, из-за приверженности которому в семидесятые годы умер в тюрьме казахстанский новатор Худенко. Нет больше спора о необходимости в колхозах подсобных промыслов — тех самых,

из-за которых многие талантливые председатели колхозов лишались должностей, партбилетов, а порой и свободы. Признана законами индивидуальная и кооперативная трудовая деятельность, за которую, бывало, и ратовать не удавалось: не печатали.

Конкретно-экономические споры отходят на задний план нашей публицистики. Зато социально-политические становятся, как никогда, актуальными. Именно с этой, социально-политической точки зрения хочется подвести итог и принятым за последние два года экономическим решениям. Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что из производственных отношений решено устранить фигуру, которой еще Чернышевский дал замечательное по точности наименование: сторонний ценовщик.

Десятилетия были отданы безнадежным попыткам вдохнуть жизнь в систему, рассчитанную на то, что плановик «сверху» запланирует, учетчик «сбоку» строго проверит, а сам труженик (и тот, который производит, и тот, который покупает произведенное) остается лишь старательным исполнителем, не проявляющим инициативы и свободным от собственных интересов. Сколько чернил изведено в одной только борьбе за «самые лучшие» показатели плана, «спускаемого» предприятию «сторонним ценовщиком»! Одних стоимостных показателей объема продукции использовалось и предлагалось столько, что не упомнить: валовая, товарная, реализованная, чистая, условно-чистая, нормативная чистая, нормативная стоимость обработки и др. Рождались удивительные монстры, например, показатель человеко-фондо-продукция или совсем недавний — КЭР (коэффициент эффективности работы). При всех видимых различиях неизменным предполагалось основное производственное отношение: плановое решение принимает и исполнение его оценивает административный орган (тот самый «сторонний ценовщик»), а трудовой коллектив-производитель и труженик-потребитель остаются лишь исполнителями. Предлагалось только усовершенствовать измерительные инструменты бюрократического контроля, но сам принцип контроля «со стороны» оставался незыблемым.

Экспериментально доказанная непригодность новоизбранных показателей не смущала сторонников такого подхода — изобретались сверхновые. Вынужденная замена научного исследования публицистическим наряду с положительной стороной — демократизмом — имела и отрицательную: неизбежное проникновение дилетантизма. Не того счастливого дилетантизма, который присущ людям разносторонних способностей, свободным от устаревших знаний,— нет, унылого дилетантизма людей, может быть, и обладающих дипломами о специальном образовании и учеными степенями, но не умеющих понять реальный механизм экономической и социальной жизни. Точнее, не желающих его понимать, потому что понимание потребовало бы отказа и от научных догм, на которых построены тома прежних трудов, и от некоторых жизненных удобств. Это не дилетантизм незнания, а дилетантизм нежелания знать, подменяющий подлинные механизмы упрощенными схемами.

Один из любимых приемов ученых дилетантов такого рода — изобразить хозяйственную жизнь чем-то якобы примитивно простым, поддающимся управлению прямому, как поворот руля в шлюпке: повернул направо — поехало направо. Так родилась и знаменитая концепция «натурального» планирования: «сторонний ценовщик» решил, что нужна такая-то вещь,— предпишем предприятию выпускать вещь, и никаких стоимостных показателей. О непригодности этой концепции написано много, в том числе и автором этих строк,— повторяться не стоит. Время от времени оживает еще и другая идея: создавать план предприятия в «трудовых единицах», непосредственно измерять трудовые затраты. Опять главный вопрос: к т о и з а ч е м планирует — подменяется придаточным: к а к планировать. И снова игнорируется реальный опыт.

Ведь было и есть планирование, по своей сущности очень близкое к «трудовому». Когда, скажем, вертолетчикам дают план по налету часов: чем больше висел в воздухе, тем лучше, а сколько работы выполнил — не имеет значения. Такое же «планирование» выгоняет на улицу поливальные машины в дождли-

вые дни. А для снегоуборочных придуман усовершенствованный вариант: максимальный километраж пробега при минимальном расходе горючего. Такой результат можно получить лишь в одном режиме: катаясь по чистым тротуарам. Вот почему уборщики так усердно доводят зимние тротуары до зеркального блеска.

Здесь вполне очевидно сходство с принципами «трудового планирования»: планируются, стимулируются и учитываются не результаты труда, а его затраты. Эта самая тяжелая и опасная ошибка экономистов — смешение затрат и результатов — распространена гораздо шире, чем принято думать. В таком направлении работает не только ведомственное мышление экономистов коммунального хозяйства. На том же принципе строится и планирование громадных отраслей производственной сферы. Не случайно, например, подвергается в последние годы такой дружной общественной критике Минводхоз, и не случайно работники этого ведомства столь ожесточенно сопротивляются переменам и защищают наиболее расточительные проекты. То, что для общества — затраты, для этих ведомств — результат, и чем больше средств получили они и израсходовали, тем больше им ведомственного почета и вознаграждения. В этой системе экономических координат не кажется странным поощрять за количество израсходованной воды, а не за полученный урожай; за размеры каналов для переброски вод, а не за экономию воды и т. п.

Принципу поощрения затрат, а не результатов подчинены все детали хозяйственного механизма отрасли: бесплатная (не для народного хозяйства, а для ведомства) вода, бесплатная (не для народа, а для ведомства) земля, оценка объемов работы по «освоенным» (израсходованным) деньгам, сосредоточение в руках одного ведомства проектирования, экспертизы, строительства и приемки объектов.

Последнее обстоятельство руководители ведомства оспаривают. Упирают на то, что в приемке водохозяйственных объектов непременно участвуют представители колхозов или совхозов, для которых они построены. Верно, участвуют. Но так ли, как положено настоящим хозяевам, выкладывающим за предлагаемый товар свои кровные, свои трудовые деньги? Нет, ничего они не выкладывают. Не только земля и вода — строительство оросительных систем тоже бесплатно. Бесплатно для колхозов и совхозов, которые получают эти системы. Вот и представьте себе эту приемку, где представитель мелиораторов выступает щедрым дарителем, а представитель хозяйства — скромно принимающим дар. Легко ли ему смотреть в зубы дареному коню, когда к тому же сверху подгоняют: не срывай, мол, важное государственное дело — выполнение плана великих мелиоративных работ! За свои деньги не стали бы этот канал строить, а задаром почему бы не принять?

В действиях Минводхоза слишком очевидно проглядывают интересы ведомства, десятилетиями привыкавшего работать так, а не иначе и справедливо опасающегося, что делать работу эффективную и общественно полезную будет труднее, а иным работникам и вовсе не по плечу. Значит ли это, что, одолев сопротивление ведомств (до чего еще ох, как далеко!), общество решит свои экономические проблемы? Нет, задачи наши в перестройке гораздо сложнее. Переделывать и преодолевать потребуется и каждому из нас — самого себя. То же смешение затрат и результатов — отнюдь не только ведомственный грех. Взять хотя бы уверенность нашей политэкономии и статистики в том, что лишь буржуазная статистика способна облыжно зачислять в актив общественного производства услуги отраслей нематериальной сферы. И что мы безусловно правы, засчитывая в национальный доход лишь плоды производства материального. Эффект производства и продажи водки и табака зачисляется в национальный доход, а услуги просвещения и здравоохранения — в бюджетный расход. Не в этих ли представлениях кроются и научные корни пресловутого «остаточного» подхода к финансированию социально-культурной сферы?

Двадцать седьмой съезд партии дал новое направление поискам. На основе его решений июньский Пленум выработал каркас системы, в которой решения будет принимать трудовой коллектив, а качество исполнения контролировать по-

требитель. Сохранится и плановик, ведущий централизованное планирование, но работа его изменится в корне. Это будет уже не «сторонний ценовщик», а, скажем так, совокупный хозяин общественного богатства, отстаивающий наши о б щ н е интересы перед нашими же ч а с т н ы м и.

От выработки и принятия основных положений такой системы к ее воплощению — долгий путь. На этом пути немало задач, объективно трудных по самой своей сущности — например, построение системы действительно полного хозрасчета. Есть задачи, еще не вполне ясные, требующие поисков научных и практических, например, надежное материальное обеспечение в условиях оптовой торговли. Есть задачи, решение которых вызывает сопротивление определенных категорий работников, например, сокращение численности аппарата хозяйственного управления и изменение его функций. Все это вопросы, о которых много написано и еще немало нужно будет писать. Мы их минуем. Здесь хочу коснуться более болезненного — того, о чем пока не хотят и слышать многие честные люди, может быть, даже большинство.

Существуют ли действительно необходимые «неудобные решения»? Обозначим хотя бы пунктиром звенья логической цепи, ведущей к ним.

Итак, предприятия должны будут не «сверху» получать планы по объему и номенклатуре продукции, а сами их составлять. Предполагается, что при этом экономические нормативы побудят их не бегать от работы, а искать ее: чем больше продукции или услуг продаст коллектив, тем больше его хозрасчетный доход, тем выше материальное благополучие каждого. А контролером качества и количества продукции, ее соответствия цене станет сам потребитель. Плохую или чрезмерно дорогую он не возьмет, ненужную не оплатит — вот и весь контроль, «сторонний ценовщик» не нужен.

По общей схеме это выглядит неплохо. Но все ли слагаемые схемы наличествуют в реальной жизни? Предполагается, например, бюрократический контроль за качеством, ассортиментом, ценой продукции заменить контролем со стороны потребителя. Но для этого потребителю нужна реальная власть — не административная власть чиновника, а экономическая власть покупателя, который может отдать свои деньги за товар, а может и не отдать. Нужна ситуация, которую экономисты именуют «рынком потребителя». А у нас сейчас ситуация, как правило, обратная: командует поставщик. Командует не по законному праву, а по экономической реальности: у потребителя нет выбора. Не нравится вам, к примеру, ростсельмашевский комбайн? Ну и будьте здоровы, можете жать серпом, другого комбайна наш рынок не предлагает. «Ростсельмаш» — фактический монополист.

Монополизм отравляет и губит самые благие начинания. Помню замечательное рождение ВАЗа два десятилетия назад. Как прекрасно все было задумано, как счастливо начиналось! Специалисты признали его лучшим автозаводом в Европе. По высокой производительности труда, по низкой себестоимости, по техническому уровню и качеству автомобиля завод не знал в стране конкурентов. Не знает и сейчас — в этом несчастье и его, и автолюбителей. Правда, немалая доля машин идет на экспорт, в том числе и на капиталистический рынок, а там конкуренция вполне реальная. Это заставляет вазовских конструкторов вертеться, создавать новые модели, обеспечивающие позиции на том рынке. Но внутри-то страны бояться некого. Это сказывается и на качестве изготовления машины, и, главное, на уровне сервиса, который компрометирует прославленный завод ежедневно и ежечасно во всех уголках Отечества.

С таким зверем, как монополизм, не справиться одним решением и каким-то одним видом оружия — нужно преследовать его всегда, везде и всеми средствами. Самое трудное препятствие в этой борьбе — дефицитность. Дефицит обеспечивает монопольную позицию всем поставщикам, даже если одну и ту же продукцию поставляют многие предприятия. Когда товара не хватает, потребитель закроет глаза и на низкое качество, и на безумную цену, и на нарушения условий поставки, лишь бы получить необходимое.

Ну-ка посмотрим, как теперь выглядит наша логическая цепь. Чтобы

обеспечить достаток товаров, надо активизировать производство. Чтобы активизировать производство, надо изменить систему планирования и стимулирования, вместо планов «сверху» применить заказ потребителя. Чтобы заказ потребителя был действенным, надо уничтожить монополию производителя. Чтобы уничтожить монополию производителя, надо уничтожить дефицит. Круг замкнулся: чтобы уничтожить дефицит, надо уничтожить дефицит. Порочный круг — бегать по нему бесполезно, его надо рвать.

Экономисты кое-что знают о том, как рвать этот круг в сфере обращения товаров производственного назначения. Доказано, что здесь реальных дефицитов не так много, как кажется. В большинстве случаев беда наша — не слишком маленькое производство, а слишком большой спрос. Искусственно завышенный спрос. Не хватает и той продукции, которой производим больше всех в мире,— металла, нефти, цемента, удобрений, древесины и т. п. Не хватает, потому что расточительно используем, а расточительство идет оттого, что многие покупатели платят, в сущности, не своими деньгами, а полученными от государства без серьезного экономического контроля. На миллиарды рублей продукции не хватает — и на сотни миллиардов лишней лежит на складах. Нужны финансовые меры, снимающие неоправданный спрос,— и многих искусственных дефицитов не станет.

Так обстоит дело с товарами производственного назначения. А с потребительскими? И здесь дефицит можно устранить двумя основными средствами: расширением производства или сокращением спроса. Но выбор способов сокращения спроса здесь гораздо меньше. Основной способ один: повышать цены. Долгое время наша наука и пропаганда утверждали, что можно обойтись одним средством преодоления дефицита: расширением производства. Стабильность розничных цен объявлялась неотъемлемым преимуществом социализма. Сегодня становится все очевиднее, что необходимо действовать обоими средствами: и расширять производство, и повышать цены. Но массовое сознание не приемлет второй путь. Крепко держатся следующие стереотипы: во-первых, все дефициты можно преодолеть, расширяя производство; во-вторых, повышение розничных цен в любом случае противоречит интересам покупателей, в особенности низкооплачиваемых. На самом деле то и другое неверно. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим для примера самый длительный и наиболее детально описанный из товарных дефицитов нашего времени: книжный.

ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ

Все-таки в удивительное время мы живем. События грандиозных масштабов проходят почти незамеченными широкой публикой. Надо бы всем остановиться, разинув рот, онеметь от удивления,— а тут в лучшем случае газетная информация в несколько строк, не всеми замеченная. Вот, например, про «Гойю» не было, кажется, даже информации. «Гойя» Фейхтвангера в «макулатурном» издании вышел тиражом три миллиона экземпляров. Три миллиона человек отдали по 2 р. 90 коп. за скромно выпущенное издание (газетная бумага, картонная обложка) старого переводного романа — одной из многих книг одного из многих заслуживающих внимания писателей — хорошего писателя, но не Шекспира же в конце концов. Отдали, совершенно не задумываясь об этих самых 2 руб. 90 коп. Для них гораздо важнее было, что пришлось добывать и тащить 20 кг макулатуры, стоять с ней в очереди, и хорошо еще, что талон достался,— другим не хватило.

Между прочим, в мои студенческие годы, в начале пятидесятых, нынешние 2 руб. 90 коп. составляли ровно десять процентов месячной стипендии первокурсника Московского университета, иначе говоря, пропитание на три дня. Некоторые мои однокурсники жили на эти 29 рублей в месяц. Лично я в те годы о такой трате даже ради уважаемого мной Фейхтвангера крепко бы задумался. А «макулатурных» изданий тогда не было. Не требовалось. Книга не была дефицитом. То есть отдельные дефицитные издания существовали. Западных авторов издавали маловато, некоторых советских знать не хотели. Но Книга как таковая в торговле имелась. Купить русскую классику не было проблемой. Сегодняшнему молодому книголюбу, пожалуй, трудно поверить, но у меня есть вещественные доказательства. Стоят на полке купленные в те времена по номинальной цене — есть пометки букинистических магазинов — гослитовский шеститомник Пушкина 1949—1950 годов, «огоньковский» одиннадцатитомный Тургенев 1949 года, двенадцатитомный Чехов 1950-го, Щедрин — 1951-го. Все это можно было купить без очереди и без спекулянтов, со средними студенческими возможностями — финансовыми и организационными. Стало быть, рынок был насыщен этими книгами. «Огоньковский» Лев Толстой 1948 года по 75 копеек за том тиражом 75 тысяч экземпляров удовлетворил публику. А через тридцать лет сенсационная юбилейная подписка на один миллион экземпляров 22-томника прошла, как всякая современная подписка: словно корова языком слизнула тираж общей ценой около 45 миллионов рублей.

Какой же ураган пронесся над книжным рынком? Что уничтожило книжную торговлю (потому что это ведь не торговля уже, если почти ничего из того, что хотелось бы, что нужно, купить нельзя)?

Почти все ответы на этот вопрос нельзя читать без улыбки. Кто-то нашел причину в гражданах, скупающих книги для украшения интерьера. Но такие были и в девятнадцатом веке, а дефициту Книги нет еще и тридцати лет. И главное, разве существование таких покупателей может объяснить чудовищный обвал спроса? Другие видят причину в спекулянтах, скупающих книги для перепродажи. Но ведь сначала возникает дефицит — потом появляется спекулянт. Он, конечно, усугубляет дефицитность, но первопричина не в нем. Третьи корят читателей за нежелание будто бы пользоваться библиотеками. Но как ими пользоваться, если при сложившихся масштабах дефицита библиотечное дело дезорганизовано так же, как книжная торговля? На иную книгу или журнал и в библиотеке немыслимая очередь, а кроме того, «дефицит» из библиотеки крадут практически безнаказанно, потому что замена «утерянной» книги другой, менее дефицитной, или даже уплата библиотеке пятикратной стоимости вполне окупается для вора, который продаст ее за десятикратную цену.

Нет, истинные причины проще и грандиознее. Период разрушения книжной торговли (в основном в 60—70-е годы) включал несколько важных событий. Во-первых, переход на всеобщее среднее образование. Как сообщала статистика, за 1966—1977 годы среднее образование получили 45 миллионов человек — больше, чем за все предыдущие годы Советской власти. Ясно, что более грамотные люди больше читают. Во-вторых, после 1957 года развернулось массовое жилищное строительство, и постепенно отдельная квартира превратилась из редчайшего исключения в преобладающую норму. Теперь есть куда поставить собственную книгу. И, наконец, теперь есть на что ее купить.

Поинтересуемся: как изменился платежеспособный спрос? Вот данные статистики. Средняя месячная зарплата рабочих и служащих составляла в 1940 году около 33 рублей, в 1950-м — 64, в 1960-м — 80, в 1970-м — 122, в 1987-м — 200 рублей. Выходит, с 1950 года (когда Книга в обычной продаже еще была) по сегодня средняя денежная зарплата возросла примерно втрое. Население страны увеличилось немногим более чем в полтора раза. А производство бумаги — в пять раз. Годовой тираж книг, если считать по количеству экземпляров, увеличен более чем в два с половиной раза, а по объему (в печатных листах-оттисках) — почти в три с половиной. Тираж журналов возрос более чем в восемнадцать раз (в экземплярах) или почти в двадцать три раза (в печатных листах-оттисках). Если еще учесть, что цены на книжную продукцию возросли как минимум вдвое, то и приведенные цифры надо удвоить, чтобы представить, во сколько раз больше этого товара (по общей стоимости) поглощает теперь рынок. Ясно, что в расчете на рубль зарплаты книг и журналов стало не меньше (по

стоимости), а больше, чем тридцать—сорок лет назад. Конечно, есть за что критиковать бумажную и полиграфическую промышленность, они могли бы и быстрее увеличивать производство. Но эта критика не объясняет нашей загадки: меньше было книг — хватало, больше стало — не хватает.

Кстати: а сколько именно не хватает? Попыток хотя бы приблизительного счета в публикациях о книжном дефиците не видно. Ведь нужно знать — пять процентов не хватает до полного удовлетворения спроса или пятьдесят. Или девяносто девять? Можно ли это подсчитать? И как считать? Спрашиваю знакомого: предположим, в торговле имеется какого-то товара на девяносто пять процентов по отношению к спросу, то есть до насыщения рынка не хватает пяти процентов. В скольких магазинах из каждой сотни этот товар исчезнет с полок? Отвечает не задумываясь: в пяти магазинах исчезнет, в девяноста пяти останется. Говорю: не спеши, подумай, представь себе реально хотя бы собственное поведение после того, как ты обнаружишь отсутствие товара хоть в одном магазине. Подумал и говорит: во всех ста исчезнет.

Правильно: почуяв неустойчивость снабжения, покупатель начинает хватать товар про запас везде, где только встретит его, да и не всякий продавец поспешит выставить на прилавок то, что перешло в разряд «дефицита». Будь нехватка хоть пять процентов, хоть пятьдесят — товар исчезнет с полок повсюду, разве что случайно попадешь к моменту привоза. Значит, рассчитать размеры дефицита по частоте встречи с товаром невозможно. С точки зрения покупателя — а он судит по внешнему виду прилавка,— дефицит любого масштаба выглядит как абсолютное отсутствие товара. Не понимая, что сам своим естественным поведением создал эту абсолютность, покупатель обычно уверен в том, что товар именно полностью исчез. И начинает сочинять самые фантастические объяснения этой внезапной катастрофы (вроде сказки о том, что зубную пасту выпили). Когда ему приводят данные статистики, показывающие, что товара стало не меньше, а больше, он, конечно, подозревает статистику во лжи, ибо не может не верить своим глазам: товар был — товара нет. Однако экономические процессы не всегда видны невооруженным глазом. На «простой» взгляд ведь и Солнце вращается вокруг Земли.

Между тем методы оценки емкости рынка, хотя бы приблизительной, существуют. А что касается рынка книжного, то в последние годы промышленность и торговля предприняли несколько героических попыток нащупать дно образовавшейся бездны спроса. И вот она пришла и дала ответ на многие вопросы, самая большая книготорговая сенсация — безлимитная подписка на трехтомник Пушкина. Настоящий экономический эксперимент в отличие от многих зряшных, когда «выясняют» то, что и так очевидно. Здесь узнавали действительно неведомое: как глубок океан спроса? Наконец, лот достиг дна: 10 миллионов 700 тысяч экземпляров. Цена всего тиража — под сотню миллионов рублей. Мой гослитовский шеститомник Пушкина 1949—1950 годов (весь 200-тысячный тираж) стоил 1,8 миллиона. Вот теперь мы можем подсчитать (поделив сто миллионов на 1,8 миллиона), во сколько раз возрос платежеспособный спрос на Пушкина. Выходит, примерно в 55 раз — это после ряда многотомных изданий, вышедших за последние десятилетия солидными тиражами.

Постоим минуту в немом изумлении перед этой цифрой: в 55 раз! А потом подумаем, что она означает. Вывод очевиден: нет такого мыслимого увеличения производства (бумаги и книг), которое перекрыло бы подобный рост спроса. Даже превратив в бумагу все леса планеты, мы ее в 55 раз больше не получим. Значит, привычная логика (не хватает — произведем больше) в данном случае уже не работает. Можно произвести больше вдвое, впятеро, но не в 55 раз. Производство тут не догонит спрос никогда.

А теперь вернемся к поставленному раньше вопросу: почему прежде, когда на каждый рубль нашей зарплаты книг приходилось меньше, их хватало, а сейчас, когда стало больше, не хватает? Значит, население в целом готово более значительную долю этого рубля отдать за книги, отказавшись от других товаров. Иначе говоря, по мере роста доходов не только увеличивается объем

наших покупок, но и меняется их структура. Причем изменение структуры может гораздо сильнее, чем общий рост доходов, сдвинуть спрос на отдельные товары. Повторим цифры из уже приведенных: средняя зарплата с 1950 года возросла втрое, спрос на книги — в десятки раз. Именно в этот период, особенно в 50—60-х годах, наше потребление пережило революционные изменения, последствия которых далеко еще не осознаны.

В 1950 году, напомним, средняя зарплата рабочих и служащих составляла 64 рубля в месяц. В расчете на члена семьи это означало не более сорока рублей. Это в среднем — в десятках миллионов семей было по 30 рублей и меньше. Заметим, что существующая структура розничных цен на товары первой необходимости тогда уже в основном сложилась. Нынешняя квартирная плата была введена в конце двадцатых годов, цена хлеба была установлена в 1947 году, не менялись с тех пор государственные цены на сахар, крупы и прочую бакалею, на картофель. Самым существенным изменением было повышение цен на мясо и молочные продукты в начале шестидесятых годов, но при доходах ниже сорока рублей в месяц на человека, пожалуй, мясо не входило в ежедневный рацион.

При таких доходах имели жизненное значение и копейки, уплачиваемые за хлеб, картошку и крупу, а уж сладкое было роскошью. Тем, кто того времени не знает по молодости или не помнит по слабости памяти, стоит перечитать распутинские «Уроки французского» — там картина точная. Распутинский герой, добыв лишнюю копейку, расходовал ее на увеличение потребления тех же самых товаров: хлеба, картошки, молока. Его образованной благодетельнице пришлось поучиться у него точности знания структуры народного потребления: с макаронами и гематогеном она дала явную промашку.

Нынешнего потребителя (более ста рублей в месяц в среднем на человека во многих семьях), напротив, мало беспокоит цена хлеба и картошки. Хоть озолоти — он не увеличит потребление этих продуктов. Если при низких доходах рост спроса идет в неизменной структуре, то для высоких доходов характерна, напротив, резкая подвижность структуры спроса.

Представим себе трех потребителей — с доходами 25, 50 и 100 рублей в месяц. Пусть каждый из них стал получать на пять рублей больше, чем прежде. Первый обратит прибавку на увеличение потребления все тех же простейших товаров, которых он потребляет еще недостаточно: хлеба, картофеля, дешевой одежды. Второй уже насытился простейшими товарами и свою пятерку обратит, скажем, на рост потребления мяса и на покупку книг. Предположим, он раньше покупал мяса на три рубля в месяц — теперь купит на шесть, а книг не покупал вовсе — теперь купит на два рубля. Третий уже и мяса, и книг покупает для себя достаточно — он копит на автомобиль и всякий лишний рубль кладет на сберкнижку.

Как же эти три дополнительные пятерки изменят спрос на отдельные товары? Первая, означающая для своего владельца увеличение доходов на двадцать процентов, увеличит спрос на потребляемые им товары на те же двадцать процентов. Вторая (прирост доходов только на десять процентов) увеличит спрос своего владельца на один товар (мясо) на сто процентов, а прирост его спроса на другой товар (книги) математически можно выразить как бесконечный (по сравнению с нулем любая сумма больше в бесконечное число раз). У третьего прирост доходов (всего на пять процентов) будет полностью обращен на прирост спроса, обозначаемый бесконечностью, то есть спроса на новые для него товары.

Вот и ответ на нашу загадку. При неподвижной структуре спроса потребность во всех товарах увеличивается равномерно, в соответствии с ростом средних реальных доходов. Такое увеличение спроса может быть покрыто увеличением производства практически в любой отрасли. Но при структурных сдвигах спрос на отдельные товары может меняться так резко, что не всякое производство успеет за ним. Тогда для сохранения рыночного равновесия необходимо менять структуру цен. В частности, цены на книги давно уже следовало бы под-

нять так, чтобы уравновесить спрос и предложение при тех тиражах, которые возможны сегодня. Но такое решение, очевидное и осуществимое в любой день, большинство покупателей встречает в штыки. Основной аргумент — пострадают-де низкооплачиваемые. На высказанные в 1986 году суждения академика Т. И. Заславской о необходимости повысить цены на ряд товаров одна читательница ответила в письме крайне рассерженно: Заславской легко говорить, у академиков денег полно, а как быть простым людям?

Но сдержим эмоции, обратимся к фактам. Что касается академиков, то как раз их «Академкнига» кое-как обеспечивает. Вряд ли кто-нибудь оспорит целесообразность такой привилегии для ученых — можно только пожалеть, что она доступна лишь немногим научным работникам. Стало быть, если предложение Т. И. Заславской осуществится, лично она как раз проиграет материально и, в частности, станет платить дорого за книги, которые сейчас может покупать дешево. Ну, а низкооплачиваемые покупатели, если уж очень нужно, свободно приобретут книгу, которую сейчас могут достать разве что у спекулянта.

В двадцатые годы большинство советских людей надо было учить грамоте, приучать к книге. А средний уровень доходов был столь низким, что и дешевую книгу покупали немногие. Тогда социальная оправданность низкой цены на книги была очевидна. А какова ее социальная функция сейчас?

Лет двадцать назад была объявлена подписка на уникальное издание — двухсоттомную Библиотеку всемирной литературы. Общая цена — около 412 рублей за комплект. Вскоре после завершения издания изменились правила у букинистов, они смогли и на подписные издания последних лет устанавливать реальную цену, и в магазинах появились комплекты БВЛ ценою по 3500 рублей — такова была цена равновесия в тот момент. Можно было открыто, на законных основаниях продать Библиотеку по цене, в восемь с половиной раз большей, чем за нее уплачено, и даже за вычетом комиссионных получить легальный нетрудовой доход свыше двух с половиной тысяч рублей.

Нет, конечно, подписчики БВЛ не к этому стремились и в большинстве своем продавать Библиотеку не стали. Поэтому точнее будет сказать так: по сравнению со сложившейся ценой равновесия каждый из 300 тысяч подписчиков сэкономил более трех тысяч рублей. Без каких-либо обсуждений и решений на политическом уровне, простым рабочим решением о назначении подписной цены покупателям БВЛ был подарен государством без малого миллиард рублей. За одно только это издание, а ведь ежегодно выходят десятки других подписных изданий на подобных же условиях. Можно было бы только порадоваться за подписчиков БВЛ, если бы у общества не было иных забот, кроме обеспечения экономии денег для данной группы книголюбов. Увы, забот еще много, и потому приходится выбирать первостепенные. Легко сообразить, что среди людей, решившихся на двухсоттомную покупку, крайне мало низкооплачиваемых. Отказавшись от продажи БВЛ по цене равновесия, государство отказалось от дохода в сотни миллионов рублей ради того, чтобы несомненно обеспеченные люди потратили меньше денег на покупку, удовлетворяющую далеко не первостепенную жизненную потребность. Прошу не ловить меня на слове. Беспрепятственный доступ к чтению безусловно входит в число первостепенных потребностей современного человека, а потому нам необходимо гораздо лучше, чем сейчас, поставленное библиотечное дело. Можно отнести к первостепенным потребностям желание иметь дома несколько десятков наиболее читаемых книг и, конечно, детские книги и учебники. Но стремление иметь дома обширную библиотеку, многотомные собрания, книги по искусству и т. п.— благородная страсть, не относящаяся к потребностям первостепенным, за нее можно платить обществу полную цену. Заниженные цены на художественную литературу (за исключением детской и учебной) давно утратили первоначальную социальную функцию, они не служат интересам необеспеченных и стремящихся к овладению грамотой, как было когда-то.

Пример книготорговый не самый важный в жизни, но самый наглядный.

Он нужен нам, чтобы убедиться в двух фактах: во-первых, не всегда можно решить проблему дефицита без повышения цен; во-вторых, не всегда низкие цены служат интересам низкооплачиваемых. А теперь попробуем подойти с аналогичной меркой к ценам на продовольствие и квартирной плате. Попробуем отвлечься от давних представлений, диктуемых нашими добрыми намерениями, и понять реальные процессы.

Начнем с квартплаты. Большинство семей в стране имеют отдельные квартиры или индивидуальные дома. Обладатели государственных квартир при этом вносят почти символическую квартплату, не покрывающую затрат не только на строительство домов, но даже на их эксплуатацию: чем больше жилья строится, тем больше дотации государства на содержание уже построенного. Миллиарды рублей теряет на этом государственный бюджет. Откуда они берутся? Оттуда же, откуда и все прочие ресурсы: из плодов нашего общего труда. Общего и тех, у кого государственные квартиры, и тех, кто вынужден пока снимать комнату или жить в общежитии. Стало быть, люди, не имеющие квартиры, своим трудом участвуют в создании ресурсов, необходимых для того, чтобы те, кто квартиру имеет, платили дешевле, чем она стоит. Нет надобности пояснять, что не имеют квартиры обычно не самые обеспеченные семьи. Первоначальная социальная функция низкой квартплаты за шестьдесят лет действия изменилась, превратилась в свою противоположность, в явную несправедливость. Конечно, главная проблема в том, что жилья вообще еще недостает, что надо строить побольше. Но и справедливо распределять имеющееся — тоже немаловажное дело. Да и на строительство жилья было бы больше средств при справедливой квартплате.

Нечто подобное произошло и с ценами на продовольствие, особенно на мясо. Двадцать с лишним лет назад, когда мяса производилось около 40 килограммов на душу населения в год, его было в торговле достаточно, даже случались трудности сбыта. Сейчас производится около 60 килограммов на душу, но в большинстве районов страны нет мяса в свободной продаже по государственной цене. Конечно, надо производить больше. Но мы уже убедились, что это задача на годы. Почему же надо откладывать справедливое распределение? Государство расходует десятки миллиардов рублей в год на дотации к ценам на мясо. Кому достается больше выгод от этих громадных сумм? Тем, у кого есть возможность покупать мясо по государственной цене. Обследования семейных бюджетов показывают, что низкооплачиваемые в среднем покупают мясо по более высокой цене, чем высокооплачиваемые.

Капиталистические монополии обычно стремятся продавать свою продукцию по цене выше цены равновесия спроса и предложения. Снижение такой цены реально расширяет потребление. До какого же предела? До тех пор, пока не сравняются спрос и предложение. При цене равновесия весь наличный товар будет распродан. Дальнейшее удешевление уже не расширит потребления, ведь от снижения цен товаров не станет больше. Цена ниже равновесной только дезорганизует рынок, так как дефицитные товары будут распределяться, по меткому выражению В. В. Новожилова, «в порядке общей свалки».

В последние годы почти все социалистические страны отказались от поддержания неизменной структуры и стабильного уровня розничных цен и тарифов. Наша партия тоже ставит задачу провести изменение структуры цен, притом так, чтобы общий уровень жизни людей не снизился. Это возможно лишь в одном случае: если повышение цен компенсируется повышением доходов трудящихся. В ряде стран накоплен немалый опыт компенсированного повышения цен. Речь не о той слабой компенсации, при которой повышаются цены на одни товары и понижаются на другие. Речь о прямом повышении зарплаты, пенсий, стипендий, выплат на детей в связи с повышением цен. Так, при первом обширном централизованном повышении цен в конце семидесятых годов в Венгрии общая стоимость приобретаемых населением товаров возросла в годовом исчислении на десять процентов, а доходы населения были повышены в связи с этим на шесть процентов. Компенсация была, таким образом, неполной. Но повышены были

прежде всего заработки низкооплачиваемых, а также среднеоплачиваемых граждан, выплаты на детей и малые пенсии. В итоге проиграли в основном высокооплачиваемые и бездетные, а низкооплачиваемые и многодетные выиграли даже больше, чем потеряли.

К сожалению, в той же Венгрии приходилось позднее проводить повышения цен и без компенсации — так сложилась экономическая обстановка. Но нам важно установить, что компенсированное повышение вообще возможно. Люди не склонны верить этому, поскольку не видят тут экономического смысла для государства. Но смысл есть. Повышение цен может способствовать нормализации рынка и при полной компенсации. Ведь она будет полной только для всех потребителей, вместе взятых, но не для каждого в отдельности. Все получат в этом случае равную сумму компенсации, рассчитанную на среднюю норму потребления, но ведь не у всех она на самом деле средняя. Кто потреблял больше, тот полной компенсации не получит. Не будет, разумеется, компенсирован и рост затрат на расточительное потребление. Скажем, если повысить цены на хлеб, дав всем равную прибавку к зарплате, то не получит полной компенсации тот, кто выбрасывает хлеб на помойку или скармливает скоту.

Казалось бы, целесообразность и очевидность предлагаемого пересмотра структуры цен ясна всем. Однако письма в редакции газет и журналов показывают обратное: большинство против. Почему? Мне кажется, главная причина в том, что ложную догму (о стабильности цен как преимуществе социализма и средстве защиты интересов трудящихся во всех случаях) вдалбливали людям в головы десятки лет весьма настойчиво, а о реальных экономических и социальных процессах начали рассказывать совсем недавно, и притом так вяло и неумело, что рассказы эти скорее вызывают новые недоумения, чем разрешают старые. Грамотные выступления журналистов на эту тему встречаются редко. Но иные экономисты запутывают вопрос еще успешнее, чем журналисты.

Один доктор экономических наук в большой центральной газете писал: «В печати высказываются различные подходы к решению проблемы розничных цен и ослабления дефицитной ситуации. Но бесспорно общее мнение о том, что нынешняя «затратная» система ценообразования в сфере производства должна быть в корне изменена. Многие экономисты резонно считают, что в ходе перестройки ценообразующей основой должны стать не индивидуальные расходы того или иного производителя, а общественно необходимые затраты. Иначе говоря, усредненные затраты предприятий, выпускающих конкретный товар». Тройная путаница в одном абзаце. Во-первых, система ценообразования в сфере производства во многом отличается от системы установления розничных цен, так что предлагаемый «ответ вообще» не имеет отношения к вопросу о ценах потребительского рынка. Во-вторых, общественно необходимые затраты — это отнюдь не усредненные фактические затраты. И в-третьих, модный выпад против «затратной» системы вызывает лишь недоумение, когда тут же в качестве основы цены предлагаются опять-таки затраты, и весь «прогресс» экономической мысли сводится к отрицанию затрат индивидуальных, которые и раньше в теории никто не признавал основой цен. Автор не решился додумать до конца: если основа ценообразования не затратная, то, стало быть, рыночная. Общественно необходимые затраты не имеют отношения ни к каким фактическим затратам — ни к индивидуальным, ни к средним, ни к высоким, ни к низким. Это признанная обществом в лице покупателя предельно приемлемая норма, выявляемая рынком: вот по этой цене пойдет, а если выше — ваш товар не нужен.

А как же наше привычно негативное отношение к рыночной стихии? Оно справедливо до тех пор, пока мы отвергаем стихийность, а не сам рынок. Выявление воли общества через рынок — дело не столь простое, как взвешивание товара на электронных весах. Рынок — сложный социальный организм, и выявление общественно необходимых затрат на нем подвержено многим искажающим влияниям. Очистить цену от этих влияний — задача планового регулирования рынка. Но сам план не должен превращаться в источник новых деформаций, а это сплошь и рядом случается.

Мы отвыкли воспринимать цену как неотъемлемую объективную характеристику товара и о самой нужности или ненужности товара стремимся судить в отрыве от цены. Спросите, к примеру, у прохожего: «Курага нужна?» Девять из десяти закричат: «Где дают?» Ответьте: «На Черемушкинском рынке, по десять рублей». «А-а, по десять. Нет, не нужна». Оказывается, товар нужен не вообще, а по цене, приемлемой лишь до определенной границы. Мы все реже ощущаем эту границу недоступности в нормальной форме цены, чаще она предстает в виде очереди или отсутствия товара. Это мышление из бытовой сферы переместилось в плановую. Или наоборот? Так или иначе, плановики тоже забывают спросить, почем товар. Не потому ли сплошь и рядом возникают фантастические проекты, реальные лишь в одном: в истреблении народного достояния. Деятельность мелиораторов, о которой здесь упоминалось,— лишь вопиющий, но далеко не единственный пример такого рода. Сейчас Минводхоз критикуют за низкое качество оросительных систем: не дают должного прироста урожайности. А если бы они не обманули, дали обещанное — стоило ли приобретать их услуги за такую цену? Известен пример: для увеличения сбора зерна на один миллион тонн за счет орошения Минводхоз требует два миллиарда рублей. За счет оптимального насыщения почвы органическими удобрениями можно получить тот же результат по цене, в сорок раз меньшей. Кто же избрал наибольшую цену? Неизвестно. Покупателя нет, Минводхоз получил «ничьи» деньги, то есть наши общие. Не было акта «общественного учета», каковым, по Ленину, является акт купли-продажи. Когда покупатель согласился отдать из своего кармана некую сумму за данный товар — это и есть общественный учет, это и есть признание общественной необходимости затрат производителя. Какие они там на самом деле — это его, производителя, забота. Не уложился в эти затраты — значит, не нужен его товар. В самом деле, будь услуги Минводхоза даже вполне доброкачественные — нужны ли они нам за девять миллиардов рублей в год? За две с небольшим пятилетки — сто миллиардов одному этому ведомству! Да за такие деньги можно было настроить дорог в несчастном нашем Нечерноземье, построить по дворцу каждой крестьянской семье в «неперспективных» деревнях и сделать их перспективными, дать вволю удобрений и не только возродить земледелие в этой зоне гарантированного увлажнения, но и собирать... ну пусть не по пятьдесят — семьдесят центнеров зерна с гектара, как в Англии да Голландии. Пусть под тридцать, как в Эстонии, и то было бы чуть не вдвое выше среднего по стране.

Да всякий ли экономист и публицист, с жаром рассуждающий ныне о цене, задумался для начала: а что такое цена? Судя по дружной критике ими Госкомитета цен, совсем не задумывались. Они явно уверены, что цена — это то, что Госкомцен пишет в прейскуранте. И всего-то, выходит, делов — уговорить его писать что-нибудь поприятнее. Если же понять, что цена — это сумма, за которую товар можно реально купить всегда и везде, то придется признать, что Госкомцен в состоянии повлиять на нее немногим более, чем Гидрометслужба на погоду (хотя в самом Госкомцен это не всегда понимали). Цена зависит прежде всего от того, как мы все работаем и как нашей работой руководят Госплан, Минфин, Госснаб и прочие центральные ведомства.

Конечно, нечего и думать объяснить людям реальные процессы при засекречивании многих фактов повседневной жизни. Попробуйте найти в сотнях страниц статистического ежегодника: чему равен наш с вами, читатель, прожиточный минимум? Секрет. О чем говорят регулярно проводимые обследования семейных бюджетов? Неизвестно. Сколько зерна импортирует наша страна и по какой цене? Некоторые сведения об этом появились впервые лишь в статистическом справочнике «Народное хозяйство СССР за 70 лет». (Заметим кстати, что Госкомстат СССР второй год расширяет объем публикуемых сведений.) Сколько нефти мы продали, чтобы окупить импорт зерна? По какой цене? Сколько потратили на добычу этой нефти? Какова бюджетная эффективность этих продаж и покупок? Каковы экономические перспективы обмена наших невоспроизводимых природных запасов на зерно? Как упала наша валютная выручка из-

за падения мировых цен на нефть? Все это только сейчас постепенно перестает быть секретом. Так почему же я, рядовой гражданин, должен поверить в необходимость вполне реального повышения цен из-за неведомых мне проблем?

Чтобы объяснять людям серьезные вещи, надо научиться всерьез с ними разговаривать. В частности, отрешиться от привычки обещать завтра же златые горы и голубое небо. Люди прекрасно видят недостатки предлагаемых решений, и бесполезно отрицать эти недостатки. Убедить можно только одним: сказать правду о нынешнем положении дел. Показать, что издержки, которые возможны в новой системе, гораздо меньше тех, которые мы сейчас терпим. Не может быть скачка от нетерпимого положения к идеальному, и не нужно обещать это. Но возможен переход от нетерпимого положения к лучшему, с терпимыми и преодолимыми недостатками. Если печать научится так разговаривать с людьми, это будет шаг к ее реальной перестройке.

Есть и еще одна причина, по которой читателям трудно понять пропагандистов в данном случае. Десятки лет пропаганда злоупотребляла изречениями типа: «государство заботится», «государство предоставляет», «государство дает» и т. д. Люди поверили и привыкли требовать от государства: заботься, предоставляй, давай. Между тем суровая правда заключается в том, что наше государство — это мы. Только трудящиеся могут что-либо дать государству своим трудом, государство же само по себе ничего не производит и ничего давать не может. И те же, к примеру, 57 миллиардов рублей ежегодной дотации, позволяющей сохранять низкие цены на продовольствие,— это никакой не подарок государства трудящимся, никакое не приобретение для них. Это просто один из возможных способов получения ими своих доходов — в данном случае нерациональный (по-русски говоря, глупый) способ. Вопрос не о том, получать нам или не получать эти деньги. Вопрос — получать ли через дотации к ценам или через прибавку к зарплате и пенсии. Второе — справедливее.

Можно привести и другие примеры догм, от которых пора отказаться, которые мешают нам жить. Это очень болезненное дело — отказ от стереотипов мышления. Вроде хирургической операции. Но нужное, неизбежное дело.

Не хотелось бы, однако, создавать впечатление, будто вся беда в неумелой пропаганде. Будь она трижды смелой и умелой — проблемы наши станут яснее, но не станут легче. Пропаганда еще не все умеет объяснить — это верно. Но и мы не все хотим понимать, что нам объясняют. Есть колючие, неудобные истины, и перестройка требует взглянуть им в глаза. Много пишут сейчас об отказе от привилегий, но редко вспоминают, что привилегиями (то есть правом пользоваться благами не по труду) обладают почти все. Льготы в снабжении товарами, в приобретении путевок, в медицинском обеспечении, в получении квартир — все это привилегии, далеко не всем доступные. Но возможность приобретать многие товары по цене ниже себестоимости, возможность сохранять рабочее место, толком не работая, право рассчитывать на жизненный успех, не утруждая себя серьезной учебой и освоением квалификации,— все это тоже привилегии, и они распространены очень широко. Привилегии распределяются крайне неравномерно, различия в привилегиях гораздо больше различий в оплате по труду — это верно. Но хоть маленькая привилегия есть почти у каждого, и свою привилегию каждый хочет сохранить. А это невозможно, если мы хотим существенно улучшить нашу жизнь. Надо вспомнить старый лозунг: привилегированным классом у нас могут быть только дети (как раз это последние десятилетия не всегда получалось). Кто может трудиться, тот должен получать все блага по труду.

Игорь Дедков

ХОЖДЕНИЕ ЗА ПРАВДОЙ, ИЛИ ВЗЫСКУЮЩИЕ НОВОГО ГРАДА

Вместо эпиграфа

Перечитывая года два назад «За живой и мертвой водой» Александра Воронского [1], я почему-то особенным образом воспринял и запомнил один из описанных там разговоров. Словно он был предназначен и для нас, нынешних. Разговаривали сельский священник отец Николай и его племянник, молодой революционер-подпольщик. Шли через двор, где в пыли голова к голове спали у конуры цепная собака и поросенок, и племянник заметил: «Какое корытное счастье!» Отец Николай, «полный, спокойный, рассудительный», улыбнулся, поправил серебряный крест на груди, молча прошел мимо. А когда стояли на высоком берегу реки и над заречными деревеньками и полями плыл медный «далекий благовест», сказал, что счастье, может быть, «и корытное, да настоящее», потому что все на свете: «трава, деревья, скот всякий, хаты, мужики, птицы, мы с тобой,..— все создано произрастанием, корытным счастьем, по-твоему». «Люди,— добавил он,— люди устраивают бунты, революции, мечтают о вселенском счастье, но никогда на земле ничего не созидалось бунтами и революциями. Миллионы людей... живут законом произрастания, не вашим законом. Чудо чудеснейшее окрест, а вы говорите: корытное счастье».

«Величайшее чудо»,— возразил племянник,— «человек со своей творческой мыслью и руками. Величайшее чудо, дядя, когда из темного хаоса, из недр бытия, из косной материи через кусок протоплазмы возник сложный организм и вспыхнула смутная, непокорная творческая мысль... Человеку нужно не произрастание, а творчество. Петух, собака, свинья, колос ржи, пшеницы, овса, лук, редиска — все сотворено в известном смысле человеком, создано им, отобрано, взлелеяно».

На это отец Николай ответил: **«Вы, взыскующие нового града, не знаете и не чувствуете радость хозяина, когда он видит выводок цыплят, заботу его, когда он окучивает дерево или делает прививки яблоне. Вы полагаете — он о барышах думает. Не только о барышах, а иногда и совсем о них он не думает: он радость произрастания испытывает, он видит плоды трудов своих, он радуется живому. В России иначе нельзя. В России вон сколько земли. Она зовет к себе. Она у нас не прощает измен. А вы забываете об этом, не так живете да еще надсмехаетесь над этой жизнью, называя ее корытным счастьем»** (выделены строки, сокращенные в издании 1976 года.— И. Д.).

«Может быть, останешься с нами? — сказал дядя племяннику.— Ты поразмысли хорошенько. Велика жизнь, она, как гора, ее не сдвинешь с места».

«Мы будем пробивать, дядя, туннели»,— последовал ответ.

«Ты думаешь, по ту сторону другая жизнь? Та же самая, та же самая...»

И, сказав это, отец Николай «уверенно зашагал по тропе к большаку».

Так какая же жизнь по ту сторону туннеля?

Та же самая или другая? И сколько в ней произрастания, сколько творчества и сколько прочих, посредничающих сил? Как соизмерить и как ответить?

Слова о «корытном счастье» были насмешливы, но и печальны. Накануне молодой революционер навестил сестру, сгорающую в чахотке. Он впервые открыл для себя ее ум, смятенный и богатый внутренний мир. Ему стало не по себе, он вдруг понял, что многое в жизни, в людях не замечал, пропускал, не ценил: «Ведь так можно дойти, пожалуй, до того, что будешь устраивать это самое вселенское братство и мять, топтать безжалостно и холодно, не замечая вокруг

[1] А. К. Воронский (1884—1943) — видный деятель большевистской партии, участник Пражской конференции РСДРП(б), член ВЦИК трех созывов, первый редактор журнала «Красная новь», «один из образованнейших и наиболее глубоких представителей нашего художественного или научно-художественного коммунистического мира» (А. В. Луначарский). Незаконно репрессирован. Автобиографическая книга «За живой и мертвой водой» (М., 1927, 1929) переиздана (с сокращениями) в 1976 году (М., «Художественная литература»).

себя не только явных врагов, а вообще живую жизнь, детей, братьев, сестер! Или, возможно, это пока так и нужно, и иначе не побеждают, как со сжатыми зубами, со сталью в сердце и с холодной ясностью в голове! Как же это?»

Александр Воронский не боялся помнить и обдумывать жизнь полностью, не облегчал себе работу мысли и совести, не упрощал ни задач, ни трудностей революции. Зато полвека (!) спустя наш современник, редактор, подчиняясь веяниям опасливого времени (а может, и прямым инструкциям), вычеркивал рассуждения отца Николая (как и кое-что другое), полагая их, видимо, чересчур вредными для нестойких читательских умов. Ни Воронский, ни герой его книги подобного страха не ведали. Не знали они и той, позднейшего происхождения мудрости, которая будет заключаться в том, чтобы делать вид, будто чего-то (каких-то аргументов, идей, альтернатив, фактов и т. п.) нет и не было никогда, хотя оно было и продолжало быть...

Так какая все-таки жизнь по ту сторону туннеля?

Другая? Та же самая? Точно ли другая?

Наверное, это прежде всего *наша* жизнь. На нее еще взглянут из будущего, на нее — хотя бы в нашем воображении, через нас, через нашу память и наши знания — смотрят из прошлого; она попрежнему разная, произрастающая и творящая, нерассоединимая, та же самая и уже иная. Но забыть ли, сколько человеческих надежд и воль сошлось на том, чтобы она стала поистине другой и скорее?! Сколько жизней отдано?..

Оглянемся на минувший год — непростое и долгожданное время. Разве не освещено, не одухотворено оно высвобождением правды другой жизни, той самой правды, что с семнадцатого года не рассеялась, не сошла на нет, а осталась нравственной и социальной опорой народного существования?

Осталась — наперекор всем бедам и преступлениям.

Я не хочу сказать, что спор, о котором рассказал Воронский, разрешен. Пока живы люди, ему нет конца. Произрастание, фатализм, покорность судьбе и — социальное творчество, революционный вызов обстоятельствам; интересы и права человека с его единственной жизнью и — «вселенское счастье», требующее своего... И много еще другого, что продолжает противостоять и бороться, переплетаясь, сживаясь, но оставаясь непримиримым: разум и низкие инстинкты, знания и невежество, демократия и произвол, человечность и жестокость, чудо чудеснейшее природы и насилие над ней... Не потому ли так трудно дается правда о жизни,— о той, что есть, и о той, желанной, другой, за которую шла и продолжается борьба?

Поистине хождение за правдой за три моря — забвения, лжи, несправедливости.

1

Умом понимаешь, да и только что сам ведь в сущности написал, что жизнь — другая и та же самая (не изменилась же природа человека!) одновременно, что борьба и компромисс — нормальные ее состояния, но доходит дело до литературных впечатлений — и вдруг, наблюдая ту же самую борьбу и компромиссы, ты говоришь себе: странно как-то все, странно...

Словно ты неожиданно для себя поверил, что с такого-то числа началась неслыханно праведная, единодушная жизнь, общий праздник, торжество разума и совести, явление достойных, воздаяние виновным, и тут взгляд твой наткнулся на кислые лица, скорбно поджатые губы, и в уши твои ударили раздраженные, остерегающие, угрожающие, негодующие голоса...

Странно. Странно как-то все...

Впрочем, растерянно твердя про «странность», я поддаюсь впечатлениям не вполне литературным. Есть романы-повести, стихи-поэмы, их, скажем, журнальное бытие и есть окольное, резонирующее пространство, именуемое обычно литературно-критическим, что не совсем точно. Не раз в течение года это пространство заполнялось шумом писательских заседаний: то секретариатов, то пленумов, то «круглых столов»... Жанр речи «по текущему моменту» — первейший жанр демократии! — оказался весьма удобным, и главное удобство: доказательствами можно пренебречь (регламент!). Можно даже ударить в рельс, не предъявляя ни дыма, ни огня. То-то и разносилось по стране дивившее народ самовитое писательское слово! Помните ли про угрозу, равную сорок первому году, нависшую над нашей российской литературой? Про нашествие варваров, лжедемократов и фальшивых якобинцев? Помните ли про «запашок некоего литературного некрофильства», привносимого в здоровую отечественную словесность некоторыми журнальными редакторами? А разве не предлагали нам ужаснуться от того, что из нашей истории вычеркивается «все героическое» и скоро молодые люди не найдут ответа на вопрос «как жить дальше?» Еще страшнее и неуютнее на этом свете должно было нам стать от предположения, что нет в мире другой такой страны, где бы, как у нас, «так очерняли, так односторонне трактовали, так, если хотите, втаптывали в грязь свою историю». А разве не вызвало у нас оторопи и замешательства хмурое предостережение в одной из статей, что «не следует идти с огнеметом по хронике наших семидесятилетних свершений» и что вообще «огнемет — никудышное средство для историографа». И всего лишь интеллигентски мягко и вполне либерально звучал рядом с этой военно-полевой патетикой знакомый, едва ли не тридцатилетней давности призыв не подменять абсолютизацию «позитива» абсолютиза-

цией «негатива», или не путать отдельно взятый факт со всею правдой. Наконец, явилось профилактическое соображение повышенной теоретической сложности: чтобы «осмыслить» принятое сравнение перестройки с революцией, «необходима глубина диалектического мышления, иначе возможны крайности».

Поневоле задумаешься: а все ли благополучно у нас в народе с «глубиной диалектического мышления»? Хватит ли сил «осмыслить»? Вроде бы народ за перестройку, да не за какую-нибудь — за революционную, и «взрыв духовной активности», надо думать, отмечен недаром, но следует проверить: как там с диалектикой у тетки Дарьи, не впадет ли в крайности Михаил Пряслин? Да и братья-писатели в ладах ли с диаматом?

Оказывается, проверка проста: если поддался человек метафизике, то это немедля сказывается на его «гражданском лице»: флюс правый («замшелый рутинер»!), флюс левый (ум, замутненный «разлившейся желчью», критикан!)... И никаких проблем, между нами, диалектиками, говоря...

Поистине странно...

А я ведь только-только обозначил возникшее умонастроение, коснулся всего лишь вершинных его проявлений. Но и того, думаю, хватит. Оно не блещет новизной, скажут те, кто помнит 60-е годы, и будут правы. Осталось выяснить, какая конкретная литературная, историческая, политическая реальность стала поводом для этой предостерегающей, раздраженной и отвлеченной риторики? Какая художественная конкретность вызвала вдруг в высоких писательских умах прямо-таки кричащие образы тотальной опасности, гнусных извращений, отступничества? Какая именно? И что значит она сама по себе? Каков ее собственный смысл? И повинна ли в чем?

Помилуй бог, повинна? Стоит на миг принять правила чужой игры, и себя не узнать! Оправдываешь то, что не нуждается в оправдании, защищаешь то, что защиты не требует. «Странно,— я повторял,— странно», а почему повторял? Не потому ли, что не хотел поддаваться недовольным голосам, той наизусть выученной старой игре и старался сберечь, не разрушить ощущение праздника, сбывающихся надежд, возвращение правды,— было же это ощущение с самого начала года, и даже раньше, с романа Александра Бека,— было и крепло и никуда не пропало, и вот, выходит, именно оно и вынуждено отгораживаться и защищаться... От тех кислых лиц и скорбно поджатых губ... (Отчего скорбь? — хотелось спросить. Кого хоронят? Какого императора? Хоронят «ту же самую жизнь» во имя все той же «другой жизни». Обычное дело революционных эпох.)

Не повинны ни романы, ни повести, ни стихи, ни поэмы. У них схожее прошлое и разная будущая судьба. Я не берусь ее угадывать. Более всего хотелось бы засвидетельствовать их сегодняшнее значение. То, что они принесли нам, будущим читателям они не принесут; почему бы не оценить то, что они принесли нам? Да, именно людям восемьдесят седьмого. Разумеется, и сегодня читают разные люди, и я этого не обошел: некоторые голоса уже здесь прозвучали, голоса тех, кто предпочел бы иную литературную картину: вчерашнюю. Ну, а многие предпочитают сегодняшнюю, и зачем делать вид, что ты ни с ними, ни с теми, а пребываешь где-то посредине в роли беспристрастного судьи? Ты не судья, а российский закаленный читатель, пожиратель толстых журналов, у тебя тьма предшественников, и это про них, про тебя, про нас писано в 1873-м, а может, в 1973-м, 63-м, 53-м: «Общество постоянно ждало от нее (литературы.— **И. Д.**) новых слов и в этом ожидании книжки журналов перечитывались от доски до доски». Сальная ли свеча, воткнутая в бутылку, смотрится в самовар, керосиновая ли лампа коптит потолок, электрический ли свет заливает стол,— шелестят и шелестят журнальные страницы: наша старая гражданская утеха... Стыдиться ли ее, открещиваться ли?

2

Кажется, весной разглядывал в «Природе» любительские фотографии полноватого, спокойного человека с какими-то нетвердыми чертами лица: и это Зубр?!

Поистине гранинский герой («Зубр», «Новый мир», 1987, № 1) словно выламывался из вековой, дремучей чащи, из бурелома, из тьмы, его отлавливали, заваливали, клеймили, а он поднимался, отряхивал путы и упрямо шел к неведомой цели.

Что стало самым важным в гранинском портрете реального человека — Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, краткую справку о котором дает каждому Энциклопедический словарь?

Упрямое, то есть независимое духовное существо и движение, развитие, борьба этого существа, его «самостояние».

То был случай, когда судьбу крупного, признанного ученого нельзя было показать через восхождение: к степеням, званиям, наградам, чинам, почестям. Такого восхождения вообще не было. Не вышло бы и реставрировать повседневную умственную работу: ни записок, ни дневников. Жизнь, ускользающая от правильного порядка в беспорядок.

Как и профессор Любищев из Ульяновска («Эта странная жизнь»), так и Тимофеев-Ресовский привлекли Даниила Гранина своим несовпадением с упомянутым порядком-распорядком должных и целесообразных решений, поступков, идей, всего образа жизни, то есть духовной независимостью и свободой.

«Почему мы не такие?» — спрашивал Гранин, и, думаю, многие честные люди включали себя в это «мы».— «Скованные, зажатые, контролируем себя». Почему?

Почему даже судьбу Зубра мы воспринимаем, как именно такие, «зажатые», люди?

Наш ум, приученный к категорическому «или — или», плохо справляется с ней, а по временам почти пугается ее сложности. И писатель не скрыл, что эта растерянность знакома и ему.

А разве не явил минувший год — и не только литературный — неподготовленность или, скажем, слабую подготовленность многих из нас к восприятию и пониманию действительных сложностей и противоречий нашего исторического пути? Речь об отношении к фактам и событиям, но еще более — к их участникам. Вот тут-то — то фанатического, раболепного преклонения переизбыток, то подозрительности и враждебности, то слепой предубежденности...

Даниил Гранин знал, что для большинства читателей имя Ресовского будет внове и что предубеждение исключено. Но потом, потом-то всплывут невозвращение этого человека на родину («невозвращенец»!), его работа в фашистской Германии,— попробуй объяснись! Попробуй объясни! Тут-то и сработает в читателе чуткий механизм защиты от нездоровых веяний, тут-то он и припомнит, что неспроста не нашел на страницах повести должного почтения к авторитетам (к Лысенко, к Сталину), и тогда-то он встрепенется и встанет на страже... И нет у художника другого средства пробиться к сердцу и здравому смыслу такого (или иного) читателя, как в полную меру таланта приблизить к нему живое существование своего героя, его характер, боль, страсть, пульсацию крови, биение мысли... Против затверженных, вбитых схем и стереотипов сильнейший из аргументов — аргумент жизни, аргумент человека. Э т о г о человека. Э т о й жизни.

Была ли задача: вывести героя из-под клейма, ярлыка, политического прозвища, из клеточки, уготованной классификаторами человеков?.. Может быть, и была, но оказалась отодвинутой, отстраненной им, Зубром. Освобожденный писателем из тенет недомолвок, клеветы, замалчивания, он продрался к нам всем своим крупным, уникальным духовным существом, и вдруг стало ясно: ни в оправдании, ни в оправданиях он не нуждается. Он в тех клеточках и графах не помещался. Ученый с мировым авторитетом, он всеми изломами своей судьбы, характером, воззрениями, принципами принадлежал, казалось, к неуправляемой стихии, к «беспорядку», к сфере «неправильного», но писатель убеждал нас в существовании высшего порядка, берущего верх над низшим и временным, и вот этот-то порядок жил и побеждал в Зубре.

На упомянутой мной фотографии «высший порядок» не запечатлен. Как водится, он невидим и неосязаем, но Гранин позволил нам ощутить его присутствие. Я сознаю, что «присутствие» — поэтический образ, поэтическое утешение; жизнь Зубра изобиловала непоэтическим и сталкивала к низшему порядку. После публикации дополнительных материалов о судьбе Н. В. Тимофеева-Ресовского и его близких (Д. Гранин. Эхо дальнее и близкое. «Литературная газета», 27 мая 1987 года) стало еще понятнее, почему Зубр не искал оправданий, почему не прикрывался гибелью сына в застенках гестапо и т. д. Оправдания ему были не нужны. «Фома (сын Зубра.— И. Д.) — не индульгенция. Хотите украсить меня? — говорил он «зло», обращаясь к писателю.— Венец терновый... Оправдание... Все ваши сюжеты — вранье. Жизнь бессюжетна...»

Если же оправдания продолжают нас волновать, то это наши волнения и наши проблемы: инерционное мышление, крепко разогнанное в тридцатые годы, еще не истощило своей силы, его скрежещущие, проржавевшие сюжеты все еще пытаются навязывать себя жизни и человеку... Кто-то рвется сказать, что лучше, патриотичнее вел бы себя на месте Зубра? И, кстати, на месте Ф. Ф. Раскольникова, оказавшегося в сходном положении? И был бы вознагражден?! То-то и оно, что вся надежда этих современных гипотетических героев — на отеческую ласку, на чудесное вознаграждение, а сорвись оно, и пополни они число негипотетических жертв (родная плаха-колода мягче иноземной подушки!),— так ведь всего-навсего в воображении, под мерцание телевизора, в мягком кресле, вытянувши ноги в теплых шлепанцах... Да и то надо учесть, что фантастическая эта подмена тем более фантастична, что по всякому ли Сеньке та шапка, что берутся примерять?! По Сеньке мичманка Раскольникова?!

У независимости Зубра были «скрытые опоры, глубокие корни»: его родословная уходила в восемнадцатый век русской истории. Наверное, это придавало ему уверенности. Он явился как бы издалека, как продолжение, а не начало. Он словно выломался из реликтовой чащи на вольную волю, но каким раскаленным оказалось историческое пространство, которое пришлось пересечь! Как оно жгло! Гранин убедил нас, что у сильных натур после таких испытаний независимость не пропадает, а укрепляется. Но какова — не забыть бы! — плата. Сколько потерь, утрат, сколько выжженного! Сильные натуры, сильные, редкостные характеры, личности, полуископаемая порода, но и они — всего лишь люди, только люди... Будь они из какой-нибудь другой — огнеупорной, пуленепробиваемой, не испепеляемой — глины, мы бы сказали: не наша доля. Но та же, та же беззащитная, слабая глина, и можно почувствовать, как тяжело ей было сохранять свою форму, свой смысл и призвание, наперекор трамбующим, выравнивающим каткам исторических обстоятельств. Спасибо писателю, это на самом деле можно почувствовать; это вдохновляющий пример.

Наверное, Фазиль Искандер, исследовавший диковинный симбиоз кроликов и удавов («Кролики и удавы». «Юность», 1987, № 9), не нашел бы ничего удивительного в том, что Зубр не поддался удавьему гипнозу: не та масса, не та косматость... Но в том-то и драматизм ситуации, что Зубр, перефразируя поэта, вполне мог бы сказать, что все мы немножко кролики, каждый из нас по-своему кролик... И, если Зубр куда-то загнал своего кролика, чтобы он не высовывался, то это было, надо думать, не очень-то легким делом...

Реальная жизнь, реальная судьба не в первый раз оказываются ярче и значительнее вымысла, художественнее намеренного художества. Проницательность и ум художника не просто соединились с документом, заполняя пустоты и образуя нечто «художественно-документальное»,— они предстали наилучшим средством постижения и воссоздания образа реального человека. Это похоже на портрет в живописи; никто не говорит: документ, говорят: образ. Образ вобрал в себя «документальность» (сходство внешнего), но дал выход внутреннему, «недокументированному» человеку. Не так ли и в «Зубре» — в портрете Н. В. Тимофеева-Ресовского работы Даниила Гранина? Жесткая правда документа, и — прорыв «недокументированного» человека, его живого, непокорного духовного существа? Того самого, что останется теперь жить с нами дальше.

Зубр — из новых героев литературы, таких мы не знали. Они не входили в состав жизни, которой занималась литература. Литература чаще предпочитала «проверенных» героев, хотя, вероятно, помнила, что художественные открытия связаны с новыми героями, недостаточно проверенными. Не было, допустим, Авдия Каллистратова, странника, отщепенца, одинокого врачевателя заблудших душ,— не было нигде: ни в газетах, ни в кино, ни на сцене, ни в прозе, ни в поэзии,— и вдруг явился и заставил взглянуть на мир со своей якобы отсутствующей точки зрения, утвердив ее как неотъемлемо присутствующую, равноправную с другими и необходимую. Новый герой — это неизбежно новый угол зрения, поворот многогранника жизни новой, неизвестной или боязливо пропущенной гранью, новый оттенок народной и общечеловеческой судьбы.

Иногда угол зрения, точка отсчета недооцениваются. Беремся рассуждать, к примеру, об исторических событиях, великих, величественных, говорим уверенно, громко, прямо грохочем, и вдруг представится, как внутри события сидят съежившиеся от нашего грохота люди и пытаются что-то сказать... А их для нас как бы нет — нам достаточно абстракций, с абстракциями много проще...

Вся надежда, что литература туда вернется и взглянет их глазами, перескажет их речи...

Случайно нарушив привычку, пойти по другой стороне улицы, и мир будто дрогнет: что-то неизвестное, пропущенное приоткроется в его примелькавшемся облике.

В старом провинциальном городе забрести во дворик, где тропинки, трава-мурава, сараи, поленницы, присесть на скамейку, услышать запах подгнивающего ветхого деревянного жилья и взглянуть оттуда... А если здесь прожита жизнь?

Когда заезжий сочинитель жалеет одинокую старуху в заброшенной, опустевшей деревне, а потом рассказывает, как вздыхал-печалился, как сокрушался о судьбах крестьянства, то это лишь малая толика правды. Взглянуть бы глазами той старухи, как умел Федор Абрамов... Что видно ей за этим запустением, чем заполнено оно для нее, какой памятью, каким смыслом, какой надеждой?

Разные углы зрения, разное ощущение времени, разная оценка и разные ценности... Живая коррекция безоглядных категорических обобщений... Для кого-то она пустячная, бесконечно малыми величинами можно пренебречь, но для художника это пренебрежение мучительно и нестерпимо.

Некто Вощев из платоновского «Котлована» («Новый мир», 1987, № 6), неприкаянный «мелкий пролетарий», самодельный философ, взыскующий «всемирного устава», вдруг прячет в мешок, в «тайное отделение», где сберегал «предметы несчастья и безвестности»,— не безумец ли?! — палый, отсохший лист. И не безумец ли,— приговаривает: «Ты не имел смысла жизни... лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всякого мира, то я тебя буду хранить и помнить».

В сумрачном косноязычии Вощева — просвет: «я узна́ю, за что ты жил и погиб». Ум перестает плутать, натыкаясь на что-то сильно задевающее и тревожное: «за что?» Не может же быть, чтобы совсем без смысла? И надо попытаться у з н а т ь, как-то объяснить...

Но не сгребать же здравомыслящей литературе вороха опавших, засохших листьев?

Тем более что существует вполне здравый ответ: ни за что. И вовсе не погиб, а просто жил, родился и жил — и все, и никаких смыслов, и отстаньте.

Охотно отстанем. Но заметим, что пытливый Вощев почему-то ни для кого не сделал исключений. Он почему-то — или все-таки несомненный безумец?! — был уверен, что про всякий живой предмет можно узнать-выяснить: за что?

«Историки — посредники погибших, всех без исключения,— сказал в интервью журналу «Век XX и мир» (1987, № 8) советский историк М. Гефтер.— Мы их переводчики, без историка никто не узнает их предсмертного опыта».

А без художника узнает? Пока историческая наука обещает, литература уже

«посредничает» и «переводит»: тот опыт, тот выбор, ту правду, воспроизводит, воскрешает тот угол зрения... И, значит, вводит в наше воображение и сознание нового, отсутствовавшего героя. И хотя вряд ли она сочтет вопрос «за что?» центральным для себя, не держать его в уме и совести она не сможет.

Обновление и расширение круга героев в прозе прошлого года не только факт литературы, но факт и аргумент жизни, осознавшей неполноту своих представлений о самой себе, неполноту достигнутой справедливости, неполноту и ограниченность своих художественных отражений.

Пренебречь бесконечно малым... Или как еще говорят: погрешности, помарки в историческом правописании, издержки прогресса... Но во всех случаях речь идет об одном и том же. Может быть, о потерях в производстве чугуна и стали? Об отставании легкой промышленности? Нет, только о людях, о погрешностях и помарках, выраженных в человеческих жизнях и судьбах.

Выходит, литература предлагает нам угол зрения погрешности?

Не здесь ли абсолютизация «негатива» и «втаптывание в грязь» нашей истории?

Я-то, признаться, думаю, что литература предлагает нам угол зрения «другой жизни», и вопрос «за что?» становится действительно важным и неизбежным.

Но вглядимся получше: так ли это? Или вправду новые герои притащили на своих подошвах пуды грязи, оскорбив чьи-то вылизанные паркеты?

3

Понимаю, не про капитана Дикштейна Игоря Ивановича надо бы мне сейчас говорить, но ничего поделать с собой не могу. Человек моет бутылки, бежит их сдавать, стоит в очереди, сдает, покупает пиво и падает на снег мертвый. И это — обещанный новый герой? И это — «фантастическое повествование», как именует своего «Капитана Дикштейна» («Новый мир», 1987, № 9) неведомый широкой публике М. Кураев? Конечно, я упрощаю, и в повествовании есть немало другого, историко-познавательного и действительно фантастического, но сюжет-то именно таков! И тем не менее вслед за Зубром я вспоминаю капитана Дикштейна, его безвестную и вместе с тем примечательную судьбу, проступившую в паузах того обыденно-печального сюжета. Впрочем, насчет обыденности и, если угодно, вульгарности — неправда: для капитана Дикштейна не было «иной жизни, чем вот в эту минуту», и он умел дорожить ею и ее несомненным смыслом.

Отмыть пять бутылок из-под олифы (примут или нет?), мысленно приплюсовать к ним 37 сбереженных копеек, да попросить еще у жены (так, 57 копеек!), и в результате всей операции выставить к праздничному обеду в честь приезда племянника сколько-то бутылок пива (смотря какое будут давать!)... Чем не жизнь, если ко всему относиться серьезно, чем не жизнь, если только она и есть?..

Боже, и это изящная словесность! — скажет взыскательный и благоустроенный гражданин наших дней.— То заставляют входить в положение современных могильщиков (Сергей Каледин. Смиренное кладбище. «Новый мир», 1987, № 5), то погружают в какие-то малопригладные копеечные расчеты!

Но в том-то и дело, отвечу я воображаемому взыскательному гражданину, что сочинения неведомых доселе публике М. Кураева и того же С. Каледина и есть изящная словесность, говорящая о неизящных вещах с благородством и состраданием искусства.

Читатель, надеюсь, припомнит обаяние и серьезность дикштейновского существования и, может быть,— если оно возникало,— ощущение тонкослойности героя, что ли. И тогда следом, возможно, опять придет на ум образ исторического катка или какого-то гигантского утюга, способных добиться такого и даже более тонкого слоя...

Он был очень сосредоточен, капитан Дикштейн, который, как постепенно откроется, не был ни Дикштейном, ни капитаном. Он дикштейнствовал долгие годы, но, к счастью, его история развивалась не по законам детективного жанра. Автор нас не обманул, он предложил нам фантастику в ее высшем роде: фантастику реальности. Спасение и переименование залыгинского приват-доцента Корнилова («После бури») тоже принадлежит к фантастическому или абсурдному элементу жизни, но сам по себе в отдельности этот элемент Залыгина не интересовал. Переименование и перевоплощение чубатого корабельного кочегара в некоего Дикштейна, вольноопределяющегося из студентов,— той же природы, и автор задумался именно над ней. Он постарался прояснить нелепый, абсурдный рисунок, проступающий в судьбе его героя. И вот ведь что: никакого участия потусторонних сил, все — посюсторонние с их фантастическими вывертами и могуществом.

Со школьных, с пионерских лет многие из нас искали и находили высшую логику в происходящем, старались вникать, разбираться, отчего и почему, получали чеканные твердые ответы. Мы купались в море ясности, а фантастика абсурда уже проступала в писаниях историков, философов, инженеров человеческих душ, в формулировках здравиц и обвинительных заключений, в перепоручении своей мысли, своих прав и свобод одному человеку, в нарастающем запугивании, укрощении и упрощении жизни...

У Ф. Искандера фантастика такого рода преломилась сатирической мифоло-

гией безумной кооперации кроликов и удавов. У М. Кураева она исторически конкретна, и оттеняет ее чаще всего элементарный здравый смысл, его неуместный, внеисторический смешок.

Оказывается, никакого капитана Дикштейна не было бы, не случись Кронштадтский мятеж 1921 года. Но его не было бы даже в случае мятежа, если б барон фон Вилькен, бывший командир линкора «Севастополь», едва не угодивший за борт в семнадцатом, а теперь срочно прибывший из Финляндии, не вздумал одаривать серебряными рублями наконец-то потрафивших ему матросиков (об этом см. также: Елизавета Драбкина. Кронштадт, год 1921. «Юность». 1987, № 10). Его не было бы, если б не «бравый вид и дерзкий взгляд» чубатого кочегара, в чьи неотмытые руки тоже легла тяжелая монета Вилькена... (Никаких других заслуг, кроме «вида», да умения в четыре пальца освистывать большевистских ораторов, чубатый перед мятежом не имел.) Капитана Дикштейна, несомненно, не было бы, если б не решили владельцев серебряных рублей пустить в расход... И жил бы поживал на белом свете просто Дикштейн, недоучившийся студент, который обязательно бы доучился, если б не его «изрядные сапоги», полюбившиеся конвоиру с первого взгляда... Пока кочегар сквозь сон пытался сообразить, не его ли имя выкликают, конвоир уже тащил к выходу просто Дикштейна, то есть того, кого сподручнее и — с сапогами... Какая, в сущности, разница!..

Чубатому осталось переименоваться, превратиться, сосредоточиться на «как бы одолженной жизни» и тихо в ней существовать. Без четырехпалого свиста. Невыводимая морская татуировка обеспечила ему прозвище «капитан».

Случайности, нагромождаясь, образуют нечто фантастическое, но не стоит чрезмерно упирать на их неизбежность. Не случайности бывают виноваты в своих фантастических последствиях. Не винить же сапоги за то, что они «изрядны» и кто-то положил на них глаз...

Ах, перешагнуть бы державным, молодцеватым, гулливеровским шагом все эти случаи и случайности, сапоги, рубли, свисты, все эти чепуховые, копошащиеся жизни!..

Но, может быть, не следует спешить «хотя бы из уважения к тем, у кого не было и не будет иной жизни, кроме той, что досталась»?

Так советует автор, имея в виду, возможно, многие, разные, плохо защищенные судьбы, но прежде всего судьбу и жизнь своего героя.

Чубатый жил вне бумаг, но его не было. Дикштейн жил в бумагах, но его тоже не было. Герой повести жил какой-то третьей жизнью: не своей (опасно!) и не чужой (недостижимо!), а какого-то нового человека, почти незаметного, как бы утончившегося в желании занять наименьшее место, но все равно живого и по-своему даже прекрасного!

Что-то гоголевское витает или мерещится в пространстве этой повести. То украсит любезную беседу капитана Дикштейна со своей Настей интонация, залетевшая из «Старосветских помещиков», то вдруг грустный и забытый мотив «Шинели» поразит нас своим возрождением. Описание главных и даже основополагающих предметов гардероба капитана Дикштейна — ватника, керосиновой куртки (на нее опрокинулся керогаз) и пальто — заслуживало бы подробного воспроизведения, но ограничим себя лишь некоторыми особо памятными штрихами. Поскольку предметы различались главным образом «мерой изношенности» и шитое-перешитое пальто тут лидировало, а куртка, бывшая в глубоком отдалении флотской шинелью, пребывала в середняках, то ватник явно выделялся своей стойкой добротностью, а также тем, что хозяин испытывал к нему некую «тонкую симпатию»... Секрет симпатии был прост: однажды, надев ватник, Игорь Иванович вышел во двор, чтобы помочь соседу с устройством голубятни; Настя увидела «его узкое лицо с глубокими продольными морщинами на впалых щеках, высокий лоб, переходящий в обширную лысину, сосредоточенный взгляд, обращенный в себя, строгую складку узких губ, увидела все это и сказала: «Ты у меня прямо профессор кислых щей». Игорь Иванович «понял, что она шуткой старалась скрыть сильное впечатление, произведенное его видом, и почти всякий раз, надевая ватник, он надеялся услышать еще раз «профессора». И хотя Настя больше так не говорила, он бы голову дал на отсечение, что слышал это, слава богу, не один раз».

Читатель, оценим печаль этого юмора и юмор этой печали. Наша жизнь полна знаков, и ватник — знак, и впалые щеки «профессорского» лица — тоже знак, и то, что слово «профессор» не спотыкается о слово «ватник» и лишь ищет иронического прикрытия,— опять же знак... Я не касаюсь хорошо освещенного автором вопроса, как вырабатываются такие знаки и лепятся такие лица... Я даже не обсуждаю, сколь прекрасен — горестно-прекрасен — классический мотив «шинели», звучащий, однако, без его мечтательной и праздничной части, как, впрочем, и без трагической, в полном соответствии с новым, безмерно терпеливым и фантастически выносливым героем... Но я не могу обогнуть-пропустить замечательного, по-своему рискованного авторского предположения, что «судьбу одного человека проследить и описать куда трудней, чем историю государства, города или знаменитого корабля». Наверное, так оно и есть, при условии, что государство, город, корабль описываются с привлечением судеб лишь выдающихся особ и с многозначным арифметическим обо-

значением всех остальных. Но когда историю государства, города, корабля воспринимают, как историю народа, населения, экипажа, или как совокупный человеческий опыт, то задача безмерно усложняется, и лишь литература дерзает с ней справиться, ведя отсчет со все той же судьбы одного человека. Автор «Капитана Дикштейна» знает, о чем говорит: проследить и описать судьбу одного человека значит косвенным образом вместить частицы множества судеб и, может быть, даже судьбы государства. Но при этом, впереди и раньше этого,— некий человек, тот же капитан Дикштейн, и без его живой обособленности, индивидуальности, единственности, ничего другого не будет: никаких «частиц», никаких «судеб». Нет героя, нет человека,— чьими глазами смотреть?.. Не потому ли читатель видел мало вблизи и вдали, что не было таких глаз, чтобы вместе смотреть? Чтобы хотелось смотреть? Чтобы была надежда — увидеть?

Фантастика чужого, спасительного, приросшего имени, от которого не освободиться до конца, не объясниться...

Фантастика ложного, выбитого, вынужденного признания... Не воскреснуть, не объяснить...

Фантастика чужой, отталкивающей роли, дневной, затвердевшей маски... Освободиться бы, заговорить своим голосом...

Проза 87-го года в своей наиболее яркой и художественно значительной части — освобождение и объяснение, демонтаж фантастики и абсурда.

4

Кто читал «Пути-перепутья» (1973) Федора Абрамова, наверное, помнит, как сорванный с сенокоса — срочное совещание! — мчался за сорок семь верст в райцентр, сменив двух коней, колхозный председатель Лукашин, как втиснулся в забитый до отказа клуб вместе с такими же, как он, запоздавшими работягами, и вслушался...

И услышал: новые труды товарища Сталина «мощным светом озаряют наш путь...» И припомнил утренний разговор мужиков об академиках, кои развели лженауку и взялись уничтожать русский язык...

Вслушивался Лукашин и думал: если это программа на ближайшие годы, то как работать дальше, в программе не разобравшись? Хорошо хоть райкомовцы перевели с непонятного языка на понятный: «ожесточение классовой борьбы». И еще яснее: «Вкалывать надо!»

Пять лет как жили без войны, всего пять лет, жизнь захлебывалась вопросами, но не теми, не теми — не вопросами языкознания...

Федор Абрамов прекрасно чувствовал, где реальность, где жизнь человеческая, где крестьянский хлеб тех лет, «похожий не то на черное мыло, не то на глину», а где «сплошное затемнение мозгов», слепая вера, рождающая миражи, металлический блеск абстракций, празднество мнимостей.

Вот реальность, говорил он нам, а вот то, что внедряет себя на ее место, подменяет какие-то важные ее части, тщится заместить или заслонить собою... Как же не любил он всякие домыслы и фантазии по поводу действительности, казенную патетику, чопорную канцелярскую сухомятину!..

Но почему, почему вспоминаю я Федора Абрамова и его героя именно сейчас? Не потому ли, что писатель раньше многих остро ощутил *несовпадение* слов, объясняющих жизнь, и самой жизни? И настаивал на правоте жизни, ее подлинных нужд и вопросов? Не потому ли еще, что он хорошо знал фантастические, а то и зловеще фантастические выверты обстоятельств и считал своим долгом обнаруживать и выставлять на свет божий фантастику догматизма или произвола? Обыденнейшую из фантастик...

Примчаться, как Лукашин, вслушаться, остолбенеть... Поверим ли, что помрачение умов тотально, а прозрения коллективны, и то и другое — по приказу?

Избранный колхозниками (народом), Лукашин посредничает между ними и районной властью (государством), пытаясь сообразовать интересы сторон, но чем больше он ощущает себя государственным служащим, тем сильнее в нем «сшибка» (см. «Новое назначение» А. Бека). В отличие от героя Бека Лукашин не может жить, подавляя в себе «сшибку», покорствуя силе и авторитету. Он делает выбор (в трудный час выдает хлеб колхозникам), и ему этого не прощают. В конечном счете такой выбор приводит Лукашина к гибели.

Если бы «сшибка» была отягощением совести, чем-то неясным, невразумительным... Но на то она и «сшибка», что люди всегда догадываются или знают, чем отягощены, какой ложью, каким непосильным компромиссом, каким предательством...

Согласимся с героиней Веркора, что «правда, даже самая жестокая, важнее в жизни, чем... своего рода счастье, чем счастье, которое мало-помалу подгнивает от сознательного неведения».

Согласиться-то согласимся, но явно не все: пусть подгнивает — да покуда сгниет! На наш-то век, может быть, хватит?

Или это и есть добровольное помрачение умов, уставших в жизненной борьбе, достигших чего-то сносного или даже покоя и не желающих им рисковать?

Но — «белые одежды»!? Из глубочайшей глубины человеческого опыта доносится весть о людях, не осквернивших одежд своих: «будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни...»

В романе Владимира Дудинцева «Белые одежды» («Нева», 1987, №№ 1—4) из того же древнего текста

приведены другие строки: «сии, облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли?.. это те, которые пришли от великой скорби».

«Побеждающие» и — «великая скорбь»? Да еще спрашивают: «доколе... не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»

О ком речь? О каких вечных типах в человечестве?

В. Дудинцев искал образ, способный выразить главное в его героях. Он назвал роман — «Неизвестный солдат», но передумал. Побеждающие духом, не избывшие в себе скорбь потерь, взыскующие справедливости и отмщения — вот о ком он писал. На вопрос «доколе?» отвечено, как известно, не было, а даны были каждому из вопрошающих «белые одежды». В своем романе и писатель — всевышний судья, и Владимир Дудинцев ответил тем же: «белыми одеждами».

Если разделять убежденность В. И. Вернадского в нарастающем и неизбежном торжестве ноосферы (сферы разума), то вполне возможно, что через какое-то время роман Дудинцева будет прочитываться как роман фантастический. Государственная акция по пресечению опытов над мушкой-дрозофилой, гражданская и прочая казнь генетики, отлов упорствующих и нераскаявшихся — разве не фантастика, хотя бы с точки зрения здравого смысла, здорового непомраченного ума?

Но мы-то знаем, помним, что самое фантастическое, абсурдное способно на какое-то время стать бытом, бытовым явлением и, значит, грозной, повседневной реальностью. И человек, совпавший с таким временем своим собственным временем, своим коротким жизненным сроком, вынужден считаться с этой реальностью как реальнейшей из реальных. Если же его голова не захвачена мороком, светла и свободна, он словно бы предназначен в герои для известного, а чаще всего безвестного столкновения с совсем не эфемерными, обретшими плоть и силу фантастическими обстоятельствами. Федор Иванович Дежкин из «Белых одежд» — именно такой герой — предназначенный, и героический его выбор, о котором рассказывает роман, словно предопределен. Этот Федор Иванович, человек с командировочным удостоверением инквизитора (раскрой, разгреби, Федя, сынок, «подпольное кубло»,— наставлял народный академик) «подозрителен» с самого начала: в нем проглядывает некая неординарная изготовка мысли и души, некая опорная философия стойкости (личность способна не поддаваться «формирующим воздействиям» бытия), которая плохо вяжется с повадками ретивого исполнителя и преследователя. Писатель не скрыл от читателя героической изготовленности Федора Ивановича; он рассказывал о нем и его товарищах по научному подполью именно так, как рассказывают о людях, зная и переживая их будущие беды, и знание это почти невольно повсюду оставляло свои пометки, намеки и указательные знаки. И прежде всего то были знаки огромного сочувствия своим героям, нескрываемого восхищения ими. Авторская пылкая любовь к своим персонажам, не подтвержденная в глазах читателей ничем существенным, выглядит фальшиво. Тут другой случай: во-первых, есть за что любить и чем восхищаться: во-вторых, это сдержанное, строгое чувство, внутренняя теплота текста, авторское желание не только изобразить-восхититься, но понять и саму работу такого понимания-обдумывания откровенно читателю представить... И мысль читателя в желательном для автора направлении подтолкнуть...

Ну, например, на первых страницах романа мы узнаем кое-что о «железной трубе», куда жизнь может загнать человека. У трубы, как известно, «только два выхода — вперед или назад». Если тебе не пришлось попасть в этакую трубу, то можно отойти в лучшие миры, так и не узнав, «кто ты — подлец или герой». (Вероятно, «сшибка» — это когда человек отсиживается в трубе.) Человек — как «спящая почка»: ее почти нет, но стоит ее «подтолкнуть», и она даст побег.

Вроде бы все просто и ясно, и нетрудно догадаться, что Федор Иванович чем-то похож на «спящую почку» и вот-вот как-то неожиданно раскроется. И «железную трубу» как образ жестокого испытания воспринимаешь, как некоторое предсказание. Но, оказывается, героя ждала впереди не условная, а настоящая «огромная железная труба» и уготована ей была еще неведомая читателю «историческая служба».

Простенькие метафоры Дудинцева: «железная труба», «спящая почка», «питательная трубка», перехватывая которую можно управлять людьми, «черная собака» — воплощение нечистой силы инакомыслия,— преследуемая толпой, «песочные часы» — как строение человеческой души: конус — вовне, в бесконечность, и конус — вовнутрь, в другую бесконечность...

Домашнее философствование? Как вам будет угодно. Но писатель считал, что жизнь, судьбы людей нуждаются в обдумывании, и он дал своим героям возможность задуматься над тем, что с ними творится. Они не ссылаются на великих, на авторитеты, они думают сами. Через свои метафоры они познают мир. Познают законы обытовленной фантастики.

В самом деле, странные картины: Федор Иванович бегает иногда на лыжах, но знакомый тренер лыжников вовсе не тренер, и лыжники его, бравые ребята, вовсе не лыжники, и полковник Свешников не совсем полковник, а если и полковник, то в каком-то высшем, несубординационном смысле, да и сам Федор Иванович Дежкин, верный ученик академика Рядно, не вполне верный ученик, а скорее даже наоборот — антиученик, и

требует какого-то иного имени, например, Федор Иванович Дежкин-2 в отличие от всем известного верного ученика Федора Ивановича Дежкина-1, а кроме того, надо помнить, что хотя бы на время он еще к тому же некто Стригалев Иван Ильич, поскольку тот заперт в далеком узилище... Но что поделаешь: жизнь — театр, а с поправкой О. Чиладзе — «железный театр», и длятся суровые и даже беспощадные игры... И требуется это подневольное, тягостное, героическое актерство, спасительное для праведного дела, для истины!

Поистине детективный сюжет: мы много узнали о штирлицах, узнаем кое-что о дежкиных и свешниковых... Об их вынужденной и трагической «двойной игре». О неизвестных солдатах чести и правды, которые были повсюду и всегда, во все времена.

Может быть, повсюду и, может быть, всегда — хочется заземлить не очень-то популярный ныне оптимизм, но роман написан с такой верой в лучшие силы человека, что я выбираю оптимизм.

Кто-то ищет в современной прозе «очернительство», «подрыв основ», «попрание святынь», абсолютизацию «негатива», а мы ищем человека и никого, и ничего более!

Пусть историки взвешивают и перевешивают на своих весах факты, деяния и репутации значительных лиц. Художник упрямо начинает с другого конца: с судьбы безвестного человека. Он этой судьбою захвачен, он высвободит «спящую почку», вы еще увидите, как взметнется побег, и содрогнетесь от боли и тревоги за него!

«Мы освободимся, наконец, от нападающих по ночам»,— говорят герои Дудинцева.— Освободимся от бьющих с «высокого берега».

Дежкин и Свешников, Лена Блажко и Стригалев — люди с низкого, пристрелянного, демократического берега. Их победа — победа истины, но также — демократии.

Красивая, однако, фраза (о демократии), но за ней — живое драматическое существование героев романа, их борьба, страдания, гибель. *Положительных*, скажем так, героев, тех самых, которых призывала критика, но отчего так невелика радость по поводу их положительности?

Нет, не та причина, что образы героев не взяли художественностью. Скорее они просто не те, кого призывали. Это *другие* положительные герои — не командиры производств, не гении искусств, не передовики промышленности и сельского хозяйства, а люди, выделенные художником по иному признаку,— по степени личного противостояния силам догматизма, невежества, произвола, несправедливости, а то и просто — антисоциалистическим силам... Никакая ведь диалектика не поможет нам причислить к силам революции, например, генерала Ассикритова, а его «философию» («Не всегда истина подлежит защите. Если она стоит у нас на пути...») к философии социализма. Можно, конечно, и причислить, но по причисляющим — узна́ете их... Но узна́ете ли революцию и социализм?

Оглянемся на прозу 87-го года... Таких положительных героев — героев противостояния (в разные времена, в разных обстоятельствах) — немало: у А. Рыбакова в «Детях Арбата», у Б. Можаева в «Мужиках и бабах», у Г. Матевосяна в «Хозяине», у А. Азольского в «Степане Сергеевиче» и «Затяжном выстреле», у Д. Гранина в «Зубре», у В. Белова в «Канунах». Но прежде чем что-то сказать о них, уже замеченных и отмеченных критикой, надо проститься с героями Дудинцева.

Наметанный глаз заметит в «Белых одеждах» несовершенство стиля, те или иные непреодоленные писательские затруднения. Кто-то из героев написан лучше, ярче, кто-то лишь намечен и т. д. Все так, но для меня затруднения и неловкости Дудинцева дороже и выше той бойкой, витиеватой, многословной, болтливой «художественности», за которой только и видишь претензии, претензии да самодовольство. Где краткость, изгнанная сестра таланта? И Дудинцев не краток, верно, но как много жизни, да какой жизни — мучительной, горькой, прекрасной — вместил его роман (именно роман, с романной интригой, а не хроника, не слепок с действительности), как много знания, печали и сострадания к человеку. (Когда же знаний мало, а мысль топчется на месте, витиеватая художественность принимается плести свои тенета и покрикивать на «серую» безымянную литературу. Таким способом она твердо и предусмотрительно исключает себя из «серого» сословия.) Роман Дудинцева свободен от суеты славолюбия и гордыни, в нем дороже оплачены слова, они труднее достались. Он похож на ту «спящую почку», что пробудилась, подняла асфальт бугром и пробилась к свету.

Простим роману мелодраматические повороты сюжета, эти светлые волнения и светлые слезы,— зачем пренебрегать ими? Время от времени они подступают к горлу жизни, их тоже нам нужно услышать.

Что может писатель? В полную меру своих сил и чести рассказать, поведать... Чем может он отличить тех, кто страдал в его романе и кого он любил, кем гордился? Не как своими созданиями, а как созданиями жизни? Федору Ивановичу не сыграть еще одну роль — графа Монте-Кристо, хотя что-то от замечательного графа мелькнет-промелькнет в его чертах. Так чем же отличить, вознаградить, воздать?

Уже отвечено: белыми одеждами.

Сказано для нас. Они себя в белых одеждах не видели и не увидят. «Страдающего не тянет к зеркалу. И поэтому Федора Ивановича осаждали воспоминания, несущие с собой боль. Он видел

Ивана Ильича, отхлебывающего из своей бутылочки, или Свешникова, с окровавленным лицом продирающегося сквозь кусты ежевики. Но никогда он не видел около этих людей себя! Свою кровь на лице он не видел...»

(Это к вопросу о зеркалах. К вопросу о мужестве литературных героев и мужестве писателя.)

Но кровь не на своем, на другом, чужом лице?!

5

Ах, эти сентиментальные вопросы! Напряжем и выставим свои непреклонные, мужественные подбородки! Нигде никакой фантастики и абсурда, никакого лишнего страдания, никакого противостояния, никаких «неизвестных солдат»! Маршировала историческая неизбежность с ее фатальной выправкой, ни вправо, ни влево, только прямо и только вперед, не оглядываясь! Кто там упал? Сомкни ряды, еще и еще сомкни!

Самые «мужественные» из читателей и писателей призывают и нас, живущих сегодня, не оглядываться. Начиная свои, скажем мягко, увещевания с прославления героического пути народа, они непременно заканчивают их хлопотами о бережном отношении к одной и той же личности. (О бережном отношении к тем человеческим единицам, из которых состоит народ, они не пишут никогда.) Когда-то подобным образом хлопотали о почтении к священной особе государя-императора.

Когда говорят, что наша история втаптывается в грязь, то хочется услышать какие-нибудь доказательства. Но ни доказательств, ни примеров нет. Тогда возникает уточняющий вопрос: о какой истории речь? О послереволюционной истории народов нашей страны? Но где, в каких книгах она не то чтобы «втаптывается», а хотя бы принижается или оскорбляется? И где, следовательно, принижаются или оскорбляются наши народы?

Вероятно, имеется в виду проза и поэзия минувшего года, а также конца восемьдесят шестого. Но вспомним: их герои, написанные с любовью, пониманием и величайшим сочувствием,— люди труда: крестьяне Можаева и Белова, селекционеры, ученые-биологи у Дудинцева и Гранина, детдомовцы военной поры у А. Приставкина, рабочие-метростроевцы у С. Антонова... Кто же еще? Ах да! Мать, томящаяся в тюремных очередях с передачей сыну у Анны Ахматовой, самодеятельные актеры-заключенные в лагерном театре у Анны Никольской. Может, через них — принижение и оскорбление? Или повинен Александр Твардовский со своей поэмой «По праву памяти» и со своим — скажем так — лирическим героем, всегда державшим сторону народа и революции? Или поищем подальше — в менее известной поэме белоруса Сергея Граховского «Болючая память»? Или в «Повести для себя» другого белоруса, Бориса Микулича, где речь все о том же — о страданиях, стойкости и достоинстве людей, не поддающихся тяжелой, давящей силе обстоятельств. Или, наконец, оскорбляют нашу историю герои романов А. Бека, Ю. Трифонова, А. Рыбакова крупные партийные и хозяйственные работники, студенты, служащие, школьники?

Наверное, так и есть — оскорбляют! — хотя приходится ограничиваться догадками. Когда в романе И. Стаднюка «Москва. 1941» из трагических дней войны всплывали «золотистые глаза» Сталина, это, кажется, судя по печатным откликам, никого не оскорбляло: ничьей памяти, ничьей истории. «Золотистые глаза» из июля сорок первого года...

Задумаемся: может ли истинный художник изображать крупное историческое лицо как бы в отдельности, вне нравственной и этической связи с тем, что происходит с народом, которым это лицо взялось руководить?

Вспомним опыт Л. Толстого в «Войне и мире», в «Хаджи-Мурате».

Наполеон, Кутузов, Николай I — вне исторической ответственности? Вне зависящих от них человеческих судеб?

Немыслимо.

Вокруг льется кровь, но что эпическому взору и чувству кровь каких-то безымянных: одна двадцатимиллионная плюс еще одна двадцатимиллионная... и т. д.

Говорят, цвет глаз зависит от внутреннего состояния человека и освещения. В том числе от исторического освещения, должно быть. Допустим, от зарева народной беды.

Так внедрялись в массовое сознание два счета: один — для «великих», другой — для «малых сих».

Когда же литература взялась восстанавливать единый нравственный счет, поднялся переполох: «историю втаптывают!..»

Изображая напряженный разговор Сталина и Кирова (Сталин крайне раздражен брошюрой Енукидзе), А. Рыбаков пишет: «Сталин исподлобья, в упор смотрел на Кирова, глаза его были желтые, тигриные. Все больше раздражаясь, а потому говоря с сильным акцентом, он сказал: «Честность, искренность, любовь — это не политические категории. В политике есть только одно: политический расчет».

Не утверждаю, что «желтые, тигриные» — описание безупречное, но за ним — действительное состояние раздраженного, едва скрывающего свой гнев персонажа. И слова про честность и любовь под стать этому состоянию и тому сквозному — в романе — политическому цинизму, которому персонаж как бы поневоле поддается.

Все вокруг плохие, коварные тянутся к власти, хотят подсидеть, унизить, уронить авторитет, обидеть, все интригуют и сговариваются за его спиной... Что ж, на расчет он ответит расчетом, на

интригу интригой и т. д. Он как бы даже ни в чем не виноват. Не виноват же он, что, как ни разгоняй, как ни разоблачай заговорщиков, они опять и опять норовят поднять голову и все ищут и ищут новых сторонников... Не виноват же он, что даже Киров, вроде бы добросовестно и преданно работавший на создание образа вождя, столь необходимого этой стране,— даже он, Киров, дрогнул и пустился в интеллигентские разговоры об искренности и честности...

Однажды на страницах «Правды» за 1925 год мне попалась на глаза речь Демьяна Бедного на одном из литературных совещаний той поры. В частности, он сказал: «У тов. Сталина исключительно трезвая и ясная голова, и смелости ему не занимать стать. Но он мне говорил: «Самая опасная штука — шепот. Важно вовремя узнать, о чем шепчут...»

Иные читатели волнуются: чем «документированы» мысли и чувства незабываемого вождя? Но вот несколько строк из старой газеты... Разве они ничего-ничего из психологии персонажа — непроизвольно, самым случайным образом — не «документируют»?

Но дело не в этом и даже вовсе не в этом. Читатель вправе спрашивать что угодно, вправе негодовать и даже устраивать из книг кострища,— желательно из собственных. Но спрашивать, к примеру, Толстого Л. Н., или Толстого А. К., или Толстого А. Н., чем «документированы» мысли и чувства их исторических персонажей, бесполезно, и не потому, что поздно. У художника тоже есть права, и с ними бы научиться считаться.

В 30—40-е годы был выработан и внедрен в сознание миллионов образ «гениальнейшего вождя», который плохо сообразовывался с марксизмом, социализмом, с ленинской традицией, этической и политической, но то были преодолимые трудности [1]. Никто почему-то не интересовался, чем «документирован» образ вождя в «Хлебе» А. Толстого. Да и в наши дни, пока он в литературе и кино совпадал (хотя бы частично и внешне) с устоявшейся, хотя и поколебленной после 1956 года версией, никто о документальном подтверждении не хлопотал. Значит, дело не в какой-то особой и прекрасной тяге иных читателей и критиков к абсолютной и неопровержимой правде. Дело в другом: одна версия устраивает, согласуется с устоявшимися, заветными представлениями, другие не согласуются и потому отталкивают, отвращают, оскорбляют. Документы усиленно требуют только во втором случае...

Если б, думаю я, такое отталкивание было бы связано лишь с отношением к образу былого вождя, то можно было бы это как-то понять и даже отнестись спокойно. Хоть и сказано «не сотвори себе кумира», но мало ли что наговорили учителя человечества. Учителей принято не слушаться. Тревога моя о другом: когда гневно толкуют о «втаптывании» нашей истории в грязь и «оскорблении» народа, то доказательств не приводят. Их подразумевают. Но вряд ли подразумевают только роман Рыбакова и только в той его части, где действует и размышляет Сталин. Несомненно, что возмущение имеет повод посерьезнее и искать его нужно едва ли не во всех значительных явлениях нашей литературы минувшего года и прежде всего в ее идеях и героях, в новых ракурсах, в которых предстала перед нами вроде бы хорошо знакомая, стократ описанная, объясненная и словно бы канонизированная историческая действительность.

Хочется упразднить новых героев, сделать вид, что их не бывало и быть не могло. Хочется перечеркнуть новые точки отсчета и новые углы зрения как третьестепенные и побочные. («Сказано же: помарки, погрешности на исторических листах!) Хочется сократить, упростить представление о собственном народе и его жизни: какие-то «неизвестные солдаты» (против кого они, интересно, воюют?), недобитые мятежники, затаившиеся в темных углах, хитрая подкулачница, затесавшаяся в славные ряды героических метростроевцев, какие-то сытые детки с Арбата, баловни власти из дома на набережной, вылущенные оттуда в тридцать седьмом... А детдомовские братики Кузьменыши с их жуткой, душераздирающей судьбой?..

---

[1] Трудности преодолевались и с помощью искусства. Например, на страницах массовых изданий 1939 года широко репродуцировались произведения живописи, графики и скульптуры на темы: рабочий кружок изучает сталинскую Конституцию; Сталин в ссылке, в селе Новая Уда; Сталин в Туруханской ссылке; политическая демонстрация батумских рабочих под руководством тов. Сталина; первые рабочие кружки в Тбилиси под руководством тов. Сталина; встреча Ленина к Сталина в Таммерфорсе; выступление Сталина в Тифлисе; свидание Ленина со Сталиным на квартире рабочего в Лесном; Ленин обсуждает со Сталиным план ликвидации мятежа на форте Красная Горка; Ленин и Сталин в Горках; Ленин и Сталин на III съезде; Ленин, Сталин и Молотов в редакции «Правды»; Сталин вручает Красное знамя Луганскому полку; Сталин среди детей; Сталин провозглашает автономию Дагестана; Сталин, Ворошилов и Буденный на южном фронте; Сталин и Ворошилов среди летчиков; руководители партии и правительства в президиуме совещания жен — общественниц тяжелой промышленности; товарищ Сталин среди стахановцев; руководители партии и правительства на просмотре спектаклей Казахского театра; прием в Кремле работников высшей школы; выступление Сталина на II съезде Советов; Сталин в штабе Октября; творец Конституции социализма товарищ Сталин; Сталина слушает весь мир, и т. д.

А вот несколько строк из документа: «У нас есть величайшие люди эпохи,— у нас был Ленин, у нас есть Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов. А в худо ественной литературе у нас нет еще показа людей т-кого великого ума и революционного размаха, как наши вожди. Дать образ этих людей в литературе надо обязательно... во главе Коммунистической партии стоит величайший, гениальнейший из людей современности — т. Сталин» (П. Юдин. Новая, невиданная литература. «Литературная газета», 22 января 1934 г.).

Теперь-то, впрочем, не сократить. Не выйдет. Как не сократить и ахматовских строк! «Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был».

Наверное, нельзя признать эту поэтическую формулу универсальной, да еще в ее прямом значении. Но на подлинное «местопребывание» художнической совести и воображения в час народных испытаний она указывает точно.

«...Он подличает от недостатка воображения»,— не приведи, бог, повторить эти слова Сартра — иметь право их повторить — о человеке, мнящем себя художником!

Единственное, чем можно утешить недовольных (новыми героями, новыми сюжетами), так тем, что проза наша на перевале и перевал еще не преодолен. На плечах много не вполне своего, братски подхваченного груза (литература первой стала рассказывать действительную историю советской биологии, историю общественной жизни тридцатых годов, заново обдуманную историю коллективизации и т. п.). Она слишком обременена исторической ношей, долгом искупления и воздаяния, и потому художественно несвободна.

6

Реконструкция социальной жизни русской деревни конца 20-х годов, обнажение механики «великого перелома» в «Мужиках и бабах» В. Можаева («Дон», 1987, №№ 1—3), в «Канунах» В. Белова («Новый мир», 1987, № 8) предстают задачей едва ли не центральной, особенно у Б. Можаева. Тут тяжба — прямая, откровенная — с исторической наукой, с ее многолетними, бухгалтерски бесстрастными штампами, с ее жестким схематизмом и неизменно оптимистическими обобщениями. Чем целенаправленнее тяжба, тем заметнее ее отпечаток на идеологической сфере романа. Авторская версия событий, их подоплеки, их дальних и ближних причин постепенно приобретает, на мой взгляд, избыточное значение. Борясь со схематизмом и односторонностью, она, в свою очередь, схематизирует расстановку противоборствующих сил. В таких случаях авторские идеи отрываются от художественной почвы и взаимодействуют как идеи с другими подобными идеями, витающими в воздухе наших дней. Одни идеи сталкиваются с другими, и продолжается спор о русской деревенской общине, о «правых» и троцкизме, о национальном достоинстве, о коварстве инородцев и т. д. А герои романа, рязанские мужики и бабы, остаются внизу, на земле, под туманными облаками тех споров... Этих людей жаль, за них больно, их будущее скрыто от наших глаз, их удаляющиеся фигуры на исторической дороге размыты. Художественно сильные картины их жизни, растерянности, страданий, борьбы — вот существо романа и главный авторский аргумент в «тяжбе».

В эпилоге автор объясняет, что писал «роман-хронику», а не «эпопею о становлении колхоза или о судьбе главного героя». Потому-то «и не было у меня главного героя, а все были вроде второстепенные».

А когда все — «второстепенные», что же первостепенно? Первостепенна — жизнь обитателей русской деревни «в трудную пору «великого перелома». Первостепенна — авторская версия «перелома» и авторская тяжба-полемика.

Художественность теснится... Художник принимается объяснять впрямую, метит вешками дорогу для читательской мысли, а читатель поискушеннее отстраняет эти объяснения. Такого читателя мало занимает, какие кто носит фамилии и какие политические имена в годы написания романа легко было склонять, а какие нет. Читатель потрясенно смотрит, как разгорячившиеся уполномоченные добирают до «плановой цифры» кулаков, выгоняя из домов старых и малых, как выбрасывают на улицу семью участника гражданской войны, бывшего красноармейца Прокопа Алдонина... Вот тут-то за саму возможность взглянуть на этот опрокинутый, безумный мир глазами Прокопа и поблагодарит, должно быть, читатель писателя... за восстановление вычеркнутого, упраздненного взгляда. Не забыть, конечно, залыгинского Степана Чаузова, но у Можаева другое: не одного выдергивают, а пучками, охапками... Тяжело смотреть: с пятерыми детками, да зимой,— куда? Что на тебе надето, то и твое, остальное — народное. Вот и спят ребятишки последнюю ночь дома: «все пятеро в шапках, в валенках, в шубенках и даже в варежках лежали поперек кровати, как мешки вповалку...»

Одни, взыскующие Нового града, выбрасывают других, взыскующих Нового града...

Заметим: романы Можаева и Рыбакова закончены схожим образом: скороговоркой эпилога; последняя точка в повести С. Антонова «Васька» («Юность», 1987, №№ 3—4) мало что завершает. Как будто есть что-то более важное, чем традиционная завершенность сюжета и главных судеб. Кажется, что это более важное как-то связано с одним и тем же: с внутренней установкой на реконструкцию исторической правды как главной цели и одновременно — на распознавание строителей истинного и мнимого Нового града...

Московское метро вроде Нового града: мраморные дворцы, «лестницы-чудесницы», красота, порядок и демократия. Когда что-то крепко стоит, то, кажется, и обсуждать нечего: кто строил, как строил? Но человек — более хрупкий материал, чем мрамор и железобетон. Человек исчезает, а камень остается и сверкает. Он себе сверкает и ласкает взор, а мы почти не помним, что он отшлифован и уложен людьми. Кто-то и сегодня прокладывает новые подземные пути, но это другие люди. Мы всплываем на эскала-

торах из подземной глубины, и мы тоже другие. Ну, а те, первые, допустим, из весны 34-го года, когда на Метрострое не оказалось цемента,— какие?

Какие? «Цемента у нас нет,— говорит в повести С. Антонова Первый Прораб Метростроя Каганович.— Мы вас обеспечили прекрасным человеческим материалом. Потрудитесь руководить так...», и т. д.

Это повесть о прекрасном человеческом материале, который должен был восполнить нехватку бетона, опалубки и всего, чего угодно, в 34-м и в последующие годы и выстроить эти мраморные дворцы в установленные сроки.

Та же Москва, что у Рыбакова, только с другого хода. Одна восполняет другую, но вместо рыбаковской суховатой объективности — ироническая, чуть насмешливая объективность Сергея Антонова. Таковой не бывает? Отчего же? Антоновская ирония — ирония исторической дистанции: опадает торжественное и великое, торжествует обыденное и простое; патетическое выглядит нелепым; нелепое, несуразное — прекрасным и патетическим. Это не опровержение героизма, но, может быть, опровержение легенды. Молодой взгляд оттуда, из 34-го, чист и доверчив (бригадир и комсорг Митя Платонов), наивен и помрачен страхом (лишенка и рабочая Метростроя Маргарита Чугуева, она же Васька), но первейшее его свойство: беззащитно открыт будущему... Там, впереди, все непременно будет хорошо, честно и справедливо. Митя и Васька, как «спящие почки» Дудинцева — вот-вот они пойдут в рост... Есть, есть гарантия — Сталин; и Митя в Колонном зале не сводит глаз с «обожаемого лица». Автор не сводит глаз тоже: ни с Мити, ни с некогда обожаемого лица. Он видит вроде бы то же самое, что и Митя, но в то же время много и непоправимо больше.

Так и кажется,— да, да, я уже об этом говорил,— люди сидят внутри своего времени и вздрагивают от грохота наших о них слов, но вот к ним входит человек от нас, он вернулся, он опускает свои ладони на их теплые руки, он улыбается их и своей наивности, идеализму младых лет, он был такой же юный, чудной, смешной и послушный, он любит их всех — даже убийственно принципиальную Тату, даже беспринципного писаку Гошу,— судья ли он им? — и мы слышим, как вздрагивают их руки, как бьются сердца, и нет ничего, что мешало бы их слышать...

Инженер Бибиков у Антонова рассуждает о «высших законах исторической необходимости», которые мешают ему вступиться за героическую метростроевку, лишенку Чугуеву.

Бригадиру Мите Платонову законы не мешают; кажется, он допускает, что есть кое-что повыше тех законов, а кое-кто повыше есть точно, и он вступается. Он пишет письмо вождю, и повесть на этом обрывается. Последствия Митиного поступка непредсказуемы.

В пространстве современной прозы действие упомянутых «высших законов исторической необходимости», к счастью, ослабло. Она не боится теперь «вступаться» за тех, кого вчера еще не очень-то привечала... Оказалось, что иные «высшие законы» могут иметь низменную, корыстную и даже абсурдную природу, а объявленная — уже марширующая, ни вправо, ни влево! — «историческая необходимость» вполне может быть едва замаскированным произволом. (Вспомним «необходимость» борьбы с «вейсманизмом-морганизмом», «необходимость» кратчайших сроков «сплошной коллективизации» целых районов и областей и т. п.). Это не значит, что литература впала в нигилизм и утверждает в массовом сознании относительность разного рода ценностей и закономерностей. Наоборот, настаивая, что нет ничего, что было бы вправе отменить человечность или встать над нею, она выявляет действие и присутствие действительно высшего закона, чью необходимость еще нужно осознать и укоренить как исторически неизбежную и, в сущности, безальтернативную.

Давно замечено, что самая запутанная картина жизни проясняется, если хотя бы в углу картины появляется детское лицо. Бывает, детский взгляд только предположен, воображен, и уже невозможно задуманное жестокое или бессовестное дело: о н и увидят! Вспомним, что удерживает героя повести В. Быкова «В тумане» («Дружба народов», 1987, № 7) от немедленного исполнения беспощадного партизанского приговора? Присутствие женского и детского взгляда. Они у в и д я т, и что с ними будет? Впрочем, какие пустяки, какие нежности! Для можаевского Сенечки Зенина,— он из той породы, что всегда на подхвате, всегда с сильными и властными,— все возможно, все дозволено. Но напрасно не замечает он хмурых глаз четырнадцатилетнего Петьки Алдонина, напрасно... И этот, Петькин угол зрения был,— соучаствовал в истории, проливал, что называется, свет! — и литература его не пропустила, не обошла... По крайней мере она о нем помнит.

Что такого необыкновенного сделал Анатолий Приставкин, рассказав в повести «Ночевала тучка золотая» («Знамя», 1987, №№ 3—4) о несчастных братьях Кузьменышах? Чем поразил нас? Ведь он не стал обсуждать взрослые дела 1944 года (в частности, выселение некоторых народов Северного Кавказа из родных мест) в каких-нибудь взрослых разговорах и авторских отступлениях. Он просто вписал в северокавказский пейзаж 44-го своих маленьких героев. Всего-навсего. Он просто подменил потом одного из них, безжалостно убитого мстителями с гор,— подменил русского чеченцем, мальчика мальчиком,— и спас их, новых Кузьменышей, братьев по судьбе, для жизни, для нашей общей, братски соединенной и честной памяти.

Писатель напоминает забывчивым и ошалевшим от угара национального превосходства: сначала мы — люди, а потом все остальное.

Если же мы сначала не люди и не принадлежим к человечеству, то что бы мы ни поставили на первое место, с чего бы ни начали отсчет, мы никогда не договоримся и в конце концов окажемся бессильными спасти этот мир, столь прекрасный...

Мы,— твердит Ростом Мамиконян, старая коряга цмакутского леса, его последний спаситель и защитник,— мы,— твердит он,— мы поехали, спешились, смиренно сказали, мы взглянули, ответили, рассмеялись,— мы, нам, о нас...

Цмакутский лес, Цмакут,— земля Гранта Матевосяна, земля его родины, страна воспоминаний, потерь и надежд, и если повесть называется «Хозяин» («Дружба народов», 1987, № 10), то потому, что Ростому Мамиконяну назначено хранить и беречь эту землю.

Какое, однако, неожиданное, дерзкое, ошеломляющее, вместительное, хозяйское, светоносное «мы»!

За ним — достоинство и застенчивость, мудрое всеведение и детская чистота, уважение к себе и насмешка над собою, усталость и непреклонность, за ним — человек, «заступник народа», аргумент человека.

Среди наших словопрений, среди безмерных абстракций должен же являться аргумент человека...

Нет, я не забыл о детском взгляде и возвращаюсь к нему.

«Мы оглянулись.., посмотрели и в этом полном скрытого бешенства и ненависти мире увидели л и ц о ч е л о в е ч н о с т и» (выделено мной.— И. Д.).

То было лицо мальчика, отказавшегося повиноваться злу, воспринявшего аргумент (пример!) старого, несломленного человека.

Но прежде чем досказать о цмакутском лесннике Ростоме, я бы хотел вглядеться в «лицо человечности». Правда, в другое лицо,— хотя человечность роднит лица,— в лицо эстонской девочки с маленького хутора (Вийви Луйк. «Седьмая мирная весна». «Таллин», 1987, №№ 1—3).

Что собралось в том лице, что отпечаталось?

Весь роман — отпечаток: высокой травы и колючей проволоки в высокой траве; бабушки с винтовкой, выставленной в охранение; самого факта появления героини на свет «за два года до о б л а в ы» (такова местная хронология); куклы в полосатом платье арестанта, занятой рытьем оборонительных рвов и потайных ходов; неизвестного человека, страшно затаившегося в темной комнате; горячей надежды, что хозяев хутора с яблоневым садом и лодкой на реке «тоже увезут куда-нибудь», и тогда, тогда,— ничейный сад, ничейная лодка...

Нет, не пересказать жизни, заполняющей роман и детские глаза. Кажется, даже коровы «были втянуты в политику». Детский карандаш перерисовывал крылья ангелов в Библии в крылья самолетов. «Жестокий запах истории, исходивший от взломанного дождями и ветрами леса, затруднял дыхание».

Жизнь девочки в семье и в истории, и неизвестно, что впереди. Обычно так и пишут, но В. Луйк смешала времена и задумалась над контрастной параллельностью наших существований: здесь разминают в ведре вареную картошку для свиного пойла, а где-то неподалеку, как бы в ином, более приличном измерении, в ванну из кранов бежит вода, детей облачают в ночные рубашки, и существует апельсиновый сок... Колхозный бригадир, пригрозивший подать на бабушку «жалобу за саботаж», не видел, что из глаз девочки на него «невинно и непоколебимо» глядели «новые роскошные колхозные центры, Межколхозстрой и Эстколхозстрой, пруды с карпами и гаражи», да и «гроб бригадира виднелся в них». Неудивительно: будущее бригадира уже наступило, а в свое время «оно так же вызывающе глядело из его детских глаз на зажиточных хозяев и предвещало мальчикам в матросках и гольфах суровые годы ватников».

Перекрещиваются времена, и в каждом смешалось и дорогое, и ненавистное... Из эпохи «джинсов и вельветовых юбок» на девочек в ситцевых платьях тоже смотрело будущее. Какое? Мы этого еще как следует не знаем.

Перекрещиваются времена в романе В. Луйк, перекрещиваются в прозе минувшего года. И поворачивается многогранник жизни неведомыми суровыми гранями. И новые герои заставляют нас смотреть их глазами.

Не забыть штрафников из повести М. Симашко «Гу-га» («Дружба народов», 1987, № 8) в их последнем бою. Не забыть трагедии старой литовской крестьянки из повести Р. Гранаускаса «Жизнь под кленом» («Дружба народов», 1987, № 12). Не забыть дядю Диккенса и деда из «Пушкинского дома» А. Битова («Новый мир», 1987, №№ 10—12).

А еще был опыт А. Адамовича в антимилитаристской фантастике — «Последняя пастораль» («Новый мир», 1987, № 3). И В. Быков продолжал исследовать в повести «В тумане» феномен тотальной подозрительности, ее страшного предвоенного раската. И явились первые книги талантливых, идущих своей независимой дорогой Т. Толстой и С. Каледина. И еще прочли мы «Котлован» и «Усомнившегося Макара» А. Платонова, «Собачье сердце» М. Булгакова, забытые произведения Б. Пильняка, И. Катаева, Л. Добычина и других русских писателей.

Разве это не богатство, не радость для каждого, кому дорога наша литература? Как справедливо было замечено: правда ничего очернить не может, правда историю только возвышает. И еще, как известно, правда не нуждается в ухищрениях

литературщины. Захлестывающая волна литературщины, мнимой художественности, стилистической монотонности, ремесленного благодушия явно спала. Высокая художественность, обращенность к подлинному и широкому народному опыту — стойкий ориентир лучшей прозы минувшего года.

Я думаю, что за человек — старый Ростом из повести Г. Матевосяна? Отчего он так непокорно, непокладисто живет? Чего он ищет, хочет, отчего не успокоится? Характер ли такой или еще что? А потом я понял: он человек «другой жизни», той, что должна осуществиться «по ту сторону туннеля», он — из упрямцев, взыскующих Нового града, ему осточертела продажная, жадная, эгоистическая жизнь, основанная на бесконечной сделке с совестью.

Может быть, когда он твердит свое «мы», то в какой-то степени присоединяет к себе всех живых и мертвых, хотевших когда-то «другой», «правильной» жизни и боровшихся за нее?

Нет ответа на сомнения старого священника из книги Александра Воронского. Но как мощно напоминает о себе «другая жизнь» в лучших произведениях современной литературы, какой очищающий свет она несет! И призвана эта литература не стечением обстоятельств, не новой «оттепелью», а самим ходом истории, глубинными потребностями страны и народа. Будем же ей благодарны.

Письмо в редакцию

Шесть с половиной лет назад, на Седьмом съезде писателей СССР, мне уже приходилось выступать против высказываний Станислава Куняева в «Литературной газете», оскорбляющих солдат Великой Отечественной. А теперь вот, в журнале «Молодая гвардия» (№ 8, 1987) в преамбуле к статье, прикрывающейся знаменитой строкой А. Твардовского «Ради жизни на земле», Куняев слово в слово перепечатал главные свои откровения. Например: «Просто победить — мало. Убить врага — дело не главное и не высокое. Высока честь победить его духом, правдой».

Неужели кому-то действительно непонятно, что на войне уничтожение врага было как раз «делом» самым главным и самым высоким? Что тот, кто уклонялся от службы в армии, подставлял под пули другого — предавал жену и мать?.. К счастью, трусов оказалось единицы — не хочется произносить громких фраз, но нигде и никогда не было таких взлетов человеческого духа, как на этой великой войне. И победили мы именно «духом, правдой» — если пользоваться стилистикой Куняева.

Однако теперь поэт Куняев обвиняет фронтовиков уже не только в том, что в бою они уничтожали, а не перевоспитывали фашистов, но еще и за то, что фашисты убивали их самих...

И на кого ополчился человек, на что поднял руку? На юных окопных поэтов, на «мрамор лейтенантов — фанерный монумент», на их скромные посмертные литературные памятники: тоненькие книжки стихов. Не всегда совершенных, но всегда честных и мужественных. Удивительно чистых стихов, так нужных сейчас молодежи, уставшей от рационализма и цинизма, изголодавшейся по искренности...

По возрасту Куняев — младший брат этих фронтовиков. Не могу и не желаю понимать, какие комплексы стимулируют его патологическую неприязнь к погибшим поэтам. Он вменяет им в вину даже... интернационализм и изрекает, что о войне «в полный голос сказать новую истину дано судьбой было не им, детям своего времени, а поэтам нового поколения».

Этот, мягко выражаясь, странный приговор, заключающий, венчающий статью, вынесен Куняевым из стихотворения Алексея Прасолова «Спешат санитары с разгрузкой». На своем опыте знаю, что такое разгрузка раненых — не приведи господь!.. Понимаю чувство ужаса и скорби лирического героя Прасолова. Но при чем здесь «новая истина»? Сколько было в мировой литературе стихов и прозы на вечную, увы, тему «внимая ужасам войны»! «Новой истиной» правомернее назвать ту силу духа, которая характерна и для творчества павших и для творчества вернувшихся домой солдат-победителей. Нечто подобное было только после первой Отечественной войны. Недаром среди декабристов оказалось так много ее участников. Объясняя этот феномен, Матвей Муравьев-Апостол с гордостью сказал: «Мы были дети двенадцатого года!»

Неужели журнал «Знамя», название которого говорит само за себя, не защитит детей сорок первого года?

«И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят» — это голос Николая Майорова, долетевший до нас из солдатской могилы.

«Знамя», скажи свое слово!

Юлия ДРУНИНА.

Л. Лазарев

«А ИХ ПОВЫБИЛО ЖЕЛЕЗОМ...»

Недавно судили компанию молодых людей. Они придумали себе забаву — стали стрелять по обелиску, что стоит в Долине Славы на 82-м километре шоссе Мурманск — Печенга. В заметке по этому поводу, опубликованной в «Юности» (1987, № 7), рассказывается, что это далеко не единственный случай осквернения солдатских могил в тех местах. Вот до какого нравственного одичания можно дойти...

Станислав Куняев напечатал в журнале «Молодая гвардия» (1987, № 8) статью «Ради жизни на земле», которая посвящена поэтам фронтового поколения,— центральное место в ней занимают рассуждения о молодых поэтах, отдавших на поле боя жизнь за Родину [1]. Тех, о которых писал Давид Самойлов: «Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверье. А их повыбило железом...» О них главным образом и пойдет речь в моих заметках; я не буду касаться того, что пишет Куняев о ныне здравствующих поэтах, хотя и об этом можно было бы написать немало.

Скажу сразу, Куняеву очень не нравятся эти погибшие на фронте поэты. Ну что ж, это в конце концов его личное дело — не нравятся так не нравятся, никто его не заставляет любить этих поэтов, да и не должно быть в литературе таких явлений, которые были бы ограждены от критического рассмотрения,— серьезные принципиальные возражения вызывает в его статье другое. Справедливо заметив, что «вся правда о войне настолько многогранна и громадна, что ее, видимо, познает только народ на протяжении истории», Куняев затем выступает в роли выразителя «народного ощущения, толкования, осмысления» войны и с этой позиции вершит суд над их творчеством и даже над их судьбой. А такого рода претензии следует отвергнуть самым решительным образом. Кроме того, Куняев касается в своей статье некоторых проблем, выходящих за пределы литературы, мимо которых, однако, пройти нельзя.

Но сначала о тех фактах, на которые опирается в своих рассуждениях Куняев. Для того чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведет речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их «ифлийцами», все время говорит об «ифлийском братстве», «ифлийской молодежи», «ифлийцах старшего поколения», даже об «ифлийстве» как некоем идейно-художественном направлении. Он старается внушить читателям мысль, что ИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории) — нечто сомнительное, бросающее тень на его питомцев, этакий зловредный рассадник безнационального духа, равнодушия к Отечеству, элитарной книжности, оторванной, а то и противостоящей истинной народной жизни. Все это к действительности не имеет никакого отношения. На основании каких материалов или свидетельств делает свои выводы Куняев, непонятно. Все, что было опубликовано на сей счет, говорит о том, что ИФЛИ — одно из лучших наших довоенных гуманитарных учебных заведений. Но суть в данном случае даже не в том, каким был этот институт и чему там учили.

Вот что обращает на себя внимание: из так называемых Куняевым «ифлийцев» ни Михаил Кульчицкий, ни Николай Отрада, ни Арон Копштейн, ни Николай Майоров, ни Борис Слуцкий, ни тем более прямо со школьной скамьи ушедшие на фронт Александр Межиров и Булат Окуджава никогда в этом институте не учились. Не похоже ли это на то, как поступил, когда ему не хватило фактов, герой стихотворения Маяковского «Смена убеждений», который «назвал мимоходом «жидами» двух самых отъявленных русских»? Студентами ИФЛИ были лишь Семен Гудзенко и Давид Самойлов (один проучился там два года, другой — три); Сергей Наровчатов и Павел Коган (в 1939 году оба они перешли в Литературный институт им. Горького), да еще Константин Симонов после окончания Литературного института год пробыл в ифлийской аспирантуре, но никто из них по тем или иным причинам не окончил ИФЛИ. Так что «братство» не очень-то получается, особенно если вспомнить к тому же, что противопоставляемый Куняевым всем этим поэтам Александр Твардовский единственный в отличие от них окончил ИФЛИ и вспоминал его всегда с благодарным чувством.

[1] **Отрада (Турочкин) Николай Карпович** родился 26 декабря 1918 г. в деревне Николаевка Воронежской области. Школьные годы провел в Сталинграде, в 1936 г. поступил в Сталинградский учительский институт, в 1939 г. в Литературный институт им. Горького. В декабре 1939 г. вступил добровольцем в армию. Красноармеец 12-го лыжного батальона Н. К. Отрада погиб в бою 4 марта 1940 г. на Суо-Ярви Петрозаводского направления.

Копштейн Арон Иосифович родился 16 марта 1915 г. в Очакове. В годы гражданской войны остался сиротой, воспитывался в детском доме, затем работал на заводе. В 1939 г. поступил в Литературный институт им. Горького. В декабре 1939 г. вступил добровольцем в армию. Красноармеец 12-го лыжного батальона А. И. Копштейн погиб в бою 4 марта 1940 г. на Суо-Ярви Петрозаводского направления.

Майоров Николай Петрович родился 20 мая 1919 г. в Иванове. В 1939 г. поступил на исторический факультет МГУ им. Ломоносова. В октябре 1941 г. вступил добровольцем в армию. Политрук пулеметной роты Н. П. Майоров погиб в бою 8 февраля 1942 г. под деревней Баранцево на Смоленщине.

Коган Павел Давидович родился 4 июля 1918 г. в Киеве, с 1922 г. жил в Москве. В 1936 г. поступил на филологический факультет ИФЛИ, в 1939 г. перешел в Литературный институт им. Горького. Осенью 1941 г. вступил добровольцем в армию. Лейтенант П. Д. Коган погиб в разведке 23 сентября 1942 г. на сопке Сахарная Голова под Новороссийском.

Кульчицкий Михаил Валентинович родился 19 августа 1919 г. в Харькове. После окончания школы работал на заводе, затем в 1937 г. поступил на филологический факультет Харьковского университета, с 1938 г. учился в Литературном институте им. Горького. Осенью 1941 г. вступил добровольцем в армию. Командир минометного взвода младший лейтенант М. В. Кульчицкий погиб в бою 16 января 1943 г. под Сталинградом.

И еще одна странность, бросающаяся в глаза: почему Куняев, твердящий об «ифлийском братстве», оставляет в стороне Сергея Наровчатова, написавшего так много об ИФЛИ, ближайшего друга Павла Когана и Михаила Луконина, который был земляком и школьным товарищем Николая Отрады,— вместе они потянулись из Сталинграда в Москву, в Литературный институт, вместе отправились добровольцами на финскую войну. Куняев мотивирует это тем, что «их поэзия достаточно подробно осмыслена в критике» (словно о тех поэтах, которых Куняев избрал объектом для атаки, не писали много и подробно); во-вторых, объясняет он, «целью статьи является анализ двух ярко выраженных течений в поэзии войны — книжно-романтического и реалистически-народного» (к каким иным течениям — ярко выраженным или не бросающимся в глаза — относится поэзия Сергея Наровчатова и Михаила Луконина, остается загадкой). Должен вполне откровенно заметить, что все это довольно неуклюжие отговорки, но не стану вдаваться в то, какими принципами мог руководствоваться в своем отборе имен и произведений автор статьи «Ради жизни на земле».

Посмотрим, как и чем подкреплены те или иные утверждения Куняева.

Заявляет, скажем, Куняев, что Михаил Кульчицкий, отравленный идеями революционного «глобализма», не жалеет свой народ. Надо же это заявление — назовем его вежливости ради фантастическим — хоть как-то подтвердить, чем-то обосновать. И в качестве улики Куняев приводит концовку последнего стихотворения Михаила Кульчицкого, написанного перед самым отъездом из училища на фронт: «Не до ордена, была бы Родина с ежедневными Бородино», сопровождая ее полным испепеляющей иронии комментарием: «Ежедневное Бородино» — сказано эффектно, но как подумаешь, что на Бородинском поле пало пятьдесят тысяч русского войска и что после этого побоища Кутузов отдал приказ о сдаче Москвы... К таким сражениям народы готовятся десятилетиями и после них десятилетиями приходят в себя.

Последствия таких событий долгие десятилетия тяжело влияют на судьбы народов, отражаются в жизни последующих поколений».

Как-то даже неловко — настолько это очевидно — говорить о том, что Михаил Кульчицкий, упомянув Бородино как пример героической битвы, повернувшей ход войны, долгожданной победы, верен высокой отечественной традиции — патриотической и литературной. В «Войне и мире» именно в Бородинской битве раскрывается наконец в полную силу «скрытая теплота патриотизма» защитников Отечества. Правда, Толстой — прозаик, а статья Куняева о поэзии. Ну, а лермонтовское «Бородино»? Куняев даже специально останавливается на трактовке войны Лермонтовым, сводя ее «в конечном, главном, «идеальном» счете к неприятию войны и насилия»,— в этом он видит истоки «реалистически народного» течения в поэзии. Но в эту формулу никак не вмещается «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», и Куняев не поминает лермонтовское стихотворение, словно его не существует. Но что за удивительная у него «народность», в которой нет места «Бородину»?

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов...» — писал Кутузов. И в минуты для Отечества критические люди укреплялись духом, обращаясь к этому примеру высокой доблести и самоотверженности. Во время Сталинградской битвы, когда на подступах к городу завязались невиданного ожесточения бои, находившийся там Константин Симонов писал в своей корреспонденции: «В степях под Сталинградом много безвестных холмов и речушек, много деревенек, названий которых не знает никто за сто верст отсюда, но народ ждет и верит, что название какой-то из этих деревенек прозвучит в веках, как Бородино, и что одно из этих широких полей станет полем великой битвы». Ненародный, как утверждает Куняев, Михаил Кульчицкий в тяжелейшие дни войны, когда бои шли на берегу Волги и на Кавказе, выразил в своем стихотворении надежду и веру народа, что врагу, как когда-то на Бородинском поле, будет нанесен наконец сокрушительный удар. Сталинград и стал Бородином Великой Отечественной, там, вспоминал Константин Симонов уже после войны, мы услышали «хруст непоправимо надломившейся немецкой машины». А Михаил Кульчицкий там, под Сталинградом, и погиб—меньше, чем через месяц после того, как написал строки, о которых Куняев ныне пренебрежительно роняет — «сказано эффектно», погиб, чтобы осуществилось то, к чему он призывал в своих стихах.

Кстати, и в наши мирные, вполне благополучные времена, когда внутренних оснований для этого несравнимо меньше, чем у Михаила Кульчицкого, некоторым поэтам Бородинская битва

служила образом-символом. Приведу несколько строк из одного такого стихотворения:

История! Не глохнет твой набат.
Смотрю на горизонта полукружье...
Другие времена, другой солдат,
другое — современное оружье.
Кружится времени веретено,
меняются армейские уставы...
Но навсегда живет Бородино,
и не тускнеет отблеск этой славы.

Это стихотворение — «На поле Бородинском» — написал когда-то Станислав Куняев. Не в минуты смертельной опасности для Родины, как Михаил Кульчицкий, а к юбилею. И, пожалуй, ему сподручнее было бы свой новый взгляд на Бородинскую битву продемонстрировать, разбирая собственное, а не Михаила Кульчицкого стихотворение. Во всяком случае, в подобных ситуациях — это элементарное требование этики — начинать следует все-таки с себя.

Но желание во что бы то ни стало сокрушить «ифлийцев» так захватывает Куняева, что он не помнит не только собственного стихотворения, но и самого себя. От Бородина он переходит к тяжким потерям нашей войны, чтобы упрекнуть уже не одного Кульчицкого, а всех «ифлийцев» чохом: «Вот они демографические, социальные язвы... о возможности которых не задумывались поэты-ифлийцы, язвы, которыми переболеть и изжить которые судьба определила мальчикам и девочкам, родившимся в 30-е годы». Действительно, эти поэты, как все их ровесники, не больно задумывались над грядущими демографическими зияниями, все их мысли были о том, чтобы остановить и разгромить захватчиков, чего бы это ни стоило, и они по повесткам военкомата, а многие добровольцами шли на фронт. Мы понесли в войну страшные, опустошительные потери, демографические последствия которых были тем тяжелее, что, в сущности, выбитым оказалось молодое поколение, те, у кого не было ни собственной семьи, ни детей. Как писал через много лет после войны в стихотворении «С переписи» Борис Слуцкий: «Старики же не пришли с войны. Молодыми все они убиты». Но в чем они виноваты перед Куняевым, предъявляющим им счет от имени «мальчиков и девочек, родившихся в 30-е годы»? Да ведь этих мальчиков и девочек, которым, как высокопарно выражается Куняев, судьба определила успешно изживать демографические язвы (а если это перевести на обычный житейский язык, благополучно рожать и растить детей), просто бы не было на свете, если бы победили фашисты. И чтобы разгромить захватчиков, юноши Великой Отечественной не жалели себя, своей жизни.

У Куняева это почему-то вызывает не уважение, не чувство благодарности, а глухую неприязнь. «...Его (Михаила Кульчицкого.— **Л. Л.**) старший товарищ Арон Копштейн,— замечает Куняев,— пошел добровольцем на «не знаменитую» финскую войну, **как бы** подтверждая слово судьбой и поступком и **как бы** доказывая абсолютную искренность своего поколения (подчеркнуто мною.— **Л. Л.**)». Что должно означать это дважды повторенное «как бы» — ведь это пишет не с трудом выражающий свои мысли человек, а стихотворец, хорошо знающий вес каждого слова. Подтвердил ли Арон Копштейн слово делом и поступком или это только одна видимость, обманчивое впечатление? Погиб он на финской или, может быть, и не погиб вовсе, а лишь «как бы» погиб? Чтобы читатели в полной мере оценили нравственную суть этого «раздумчивого» — кто, мол, знает, как там было на самом деле,— стиля Куняева, приведу воспоминания Михаила Луконина о том, как погиб Арон Копштейн,— они были в одном лыжном батальоне. «Вчера на озере в бою белофинны окружили взвод и кричали: «Сдавайтесь!» — рассказывал Луконину комсорг батальона, товарищ по Литературному институту, молодой украинский поэт Платон Воронько...— Взвод прорвался, вдали черной точкой на снегу виднелось тело Отрады. Арон Копштейн посмотрел на всех своими добрыми глазами, сошел с лыж, взял ремень волокуши и пополз туда. Стреляли снайперы. Арон уже возвращался обратно, тащил Колю; пуля сначала обожгла его плечо, другая попала в голову...»

Но если Куняев и с людьми не больно церемонится, то стихам от него достается вообще без всякой меры. Приводит он, скажем, четыре строчки из Михаила Кульчицкого:

Наперевес с железом сизым
И я на проволоку пойду,
И коммунизм опять так близок,
Как в девятнадцатом году.

Наверное, это не лучшие стихи Михаила Кульчицкого, но они искренни, очень характерны для того времени и совершенно ясны по смыслу. Однако разбор их Куняев начинает с совершенно неожиданного и, как ему кажется, убийственного замечания: «Но в 19-м году был близок коммунизм с очень существенным эпитетом — «военный». С таким же успехом можно было бы сказать, что Михаил Кульчицкий проповедует «казарменный» коммунизм, почему бы нет? Затем на основе четырех строк делаются обобщения, никакого отношения к ним не имеющие и уходящие в такую даль, что оттуда их, пожалуй, и не разглядишь: «Герои этих стихов сделаны не из плоти и крови, а как бы из одних идей и убеждений, предчувствие войны-революции наполняло их души не естественным для человека ужасом, а своеобразным восторгом». Но и это для Куняева еще не все, это лишь подступ к выводу, что герои стихов Михаила Кульчицкого равнодушны к Родине. Если ему достаточно всего четырех строк, чтобы

определить мир чувств лирического героя поэта, я не пожалею места, приведу из стихов Михаила Кульчицкого цитату побольше, а выводы пусть уж делают читатели — и об отсутствии «плоти и крови» у его лирического героя, и о том, чем для него была Родина.

Я очень сильно
люблю Россию,
но если любовь
разделить
на строчки —
получатся — фразы,
получится
сразу:
про землю ржаную,
про небо про синее,
как платье.
И глубже,
чем вздох между точек...
Как платье.
Как будто бы девушка это:
с длинными глазами речек в осень,
под взбалмошной прической
колосистого цвета,
на таком ветру,
что слово...
назад...
приносит...
И снова
глаза
морозит без шапок.
И шапку
понес сумасшедший простор
в свист, в згу.
Когда степь
под ногами накреняется
набок
и вцепляешься в стебли,
а небо — внизу.
Под ногами.
И боишься
упасть
в небо.
Вот Россия.
Тот нищ,
кто в России не был.

Может быть, Куняев забыл эти строки (можно было бы привести и другие подобного содержания)? Но говорят, что у поэтов хорошая память на стихи. Или не читал их, хотя не так уж много напечатано стихов Михаила Кульчицкого — тоненькая книжечка. Не знаю, не хочу гадать, но в своих рассуждениях Куняев исходит из того, что этих стихов **как бы** не было. Многие читатели молодежного журнала могут не знать или не помнить стихов Михаила Кульчицкого, да и других погибших на войне поэтов,— издавали их несравнимо реже и куда меньшими тиражами, чем, скажем, такого поэта, как Куняев,— я уж и не припомню, когда было последнее издание. На это расчет?

Такую же операцию проделывает Куняев со стихами Павла Когана — опять же в надежде на неосведомленность читателей. Силовым приемом выдираются четыре строчки из «Лирического отступления»:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Вырванным строкам Павла Когана Куняев противопоставляет стихотворение современного поэта: патриотизм героя этого написанного в наши дни стихотворения, заявляет он, «не носит столь глобального размаха, как патриотизм лирического героя поэзии Павла Когана, но в то же время он чрезвычайно конкретен, взращен почвой малой родины, и в этом его органическая сила. Ибо воспоминания о ней рождают особую, может быть, более способную к выживанию любовь, нежели умозрительное чувство, которое скорее дает силы жертвенно умереть, нежели выжить, чтобы победить». Неужели надо напоминать о том, что на фронте погибали, и довольно часто, и, чтобы победить, многим приходилось жертвовать своей жизнью? Куняев их осуждает, для него высший вид мужества на войне — выжить. Что это, забавы праздного ума или апология шкурничества?

А теперь о патриотизме лирического героя Павла Когана — он, этот патриотизм, умозрителен, ущербен, если вообще не сомнителен, ему не хватает почвы, корней, он лишен органической силы — надеюсь, я не исказил мысль Куняева. И чтобы показать, чего она стоит, приведу строки из того же «Лирического отступления» — они предшествуют процитированным Куняевым, и не заметить их можно, только очень сильно зажмурив глаза:

Но людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать.
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю.
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох как пес от ностальгии
В любом кокосовом раю.

Однако это еще не все, что стремится «выжать» из четырех строчек «Лирического отступления» Куняев. Он пишет: «Это нечто иное, нежели пушкинское «От финских хладных скал до пламенной Колхиды». Пушкин подразумевал пространство, медленно и естественно обжитое и освоенное (разумеется, кампании 1808—1809 гг. на севере, многолетних кавказских войн для Куняева **как бы** не было.— **Л. Л.**) цепью поколений, деятельность которых была далека от лихорадочной экспансивной сверхзадачи, которую ставит себе лирический

герой Павла Когана, мечтающий о «земшарной республике Советов».

Я не вижу ничего дурного и зловредного в торжестве подлинного социализма (каким его представляли себе самые благородные и умные люди прошлого и нынешнего века), если такова будет свободная воля народов, а не огнем и мечом насаждаемый порядок,— это для полной ясности в вопросе о «лихорадочной экспансивной сверхзадаче» или, как дальше говорит Куняев, «фантастической цели, не имеющей ничего общего с ходом реальной истории».

Так вот о ходе реальной истории. Стихи Павла Когана, которым Куняев приписывает «лихорадочную экспансивную сверхзадачу», написаны в 1940—1941 гг., когда за нашими границами почти вся Европа («до Англии») оказалась в руках у гитлеровцев, изготовившихся для нападения на Советский Союз, когда в Японии тоже на всех парах шла подготовка к завоевательным походам. Наверное, Куняев этого не помнит — вернее, не хочет знать, ибо столь элементарные сведения о собственной истории, если берешься судить-рядить о том времени, все-таки полагается иметь,— как же ему понять молодых поэтов той поры, твердо знавших, что им предстоит в жестокой войне отстоять Родину, а для этого необходимо уничтожить фашизм, который угрожает не только нам, но всему человечеству, освободить порабощенные им страны? Это и было их «сверхзадачей» — уж не знаю какой, «лихорадочной», «экспансивной» или трезво осознанной? Стихи Куняев истолковывает самым превратным образом, стараясь изобразить борьбу с фашизмом как экспорт революции, экспансию, а последнее было абсолютно чуждо мировоззрению поэтов этого поколения — революционному и гуманистическому одновременно. И реальная история — именно она — подтвердила в 1945 году дальновидность и праведность их юношеской программы, они выполнили и этот исторический долг — участвовали в освобождении народов, оказавшихся под властью иноземного и своего, доморощенного фашизма. И если бы Павел Коган дожил до Победы, он мог бы, вероятно, написать о том же, о чем написал тогда Сергей Наровчатов:

Какая боль на дне бессонных глаз,
Какую сердце вынесло невзгоду...
Так вот кого от гибели я спас!
Так вот кому я возвратил свободу!

Далекие и грустные края,
Свободы незатоптанные тропы...
— Как звать тебя, печальница моя?
— Европа!

Или Борис Слуцкий:

Я роздал земли графские
крестьянам южной Венгрии.
Я казематы разбивал.
Голодных я кормил.

И это было бы прямым продолжением его предвоенных стихов.

Куняев старается доказать, что поэты, о которых он пишет, не были настоящими патриотами,— с помощью каких приемов это делается, читатели уже могли видеть,— исходит же он из убеждения, что патриотизм несовместим с интернационализмом. Или одно, или другое. Идея эта ложная, совершенно несостоятельная — и в сфере чистого разума, и в политике, и в житейской практике, я бы даже сказал, опасная. Но именно она стала основой статьи «Ради жизни на земле».

У поэтов фронтового поколения патриотизм и интернационализм неразделимы, органично слиты. Куняев, замалчивая, игнорируя, перечеркивая патриотический пафос их стихов, ополчается на мотивы интернациональные. Интернационализм этих поэтов, утверждает Куняев, был в ущерб Родине. Он цитирует одно из двух последних стихотворений Арона Копштейна, присланных им с фронта, незадолго до гибели:

И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым
делом,
Потом опять пойду на фронт любой.

Далее следует очередная куняевская инвектива: «На фронт любой» — означало куда угодно — в Испанию, на Халхин-Гол, в Абиссинию, потому что любое пламя войны в любом регионе в те времена казалось романтикам отсветом пожара мировой революции, которой они отдали душу и которую призывали». Вот ведь как пишет: «куда угодно», «любое пламя войны» — как о ландскнехтах.

Придется опять обратиться к реальному ходу истории. В то время, когда писались цитируемые Куняевым строки, «на фронт любой» никак не могло для Арона Копштейна означать ни Испании, ни Халхин-Гола, ни Абиссинии — там все уже было кончено, а ожидала нас, несмотря на заключенный в 1939 году с Германией пакт о ненападении, война с немецкими фашистами — то, что она не за горами, понимали все. А на этой, неотвратимо приближавшейся войне боевые действия развернулись, как известно, от Черного до Баренцева моря — и, кто мог угадать, на каком фронте тебе придется воевать.

И не были Абиссиния, Испания, Халхин-Гол «любым пламенем войны в любом регионе», как об этом с необъяснимыми высокомерием и язвительностью пишет Куняев, и никому тогда не казались «отсветом пожара мировой революции», он почему го путает 1940-й год с 1920-м. Другое пламя уже занялось, там — и в Абиссинии, и в Испании, и на Халхин-Голе — шла война со все больше набиравшим силу, все больше наглевшим фашизмом, с которым рано или поздно нам предстояла схватка не

на жизнь, а на смерть,— всем было ясно, что это не «чужая» нам война, к нам она имеет самое непосредственное отношение. Сражаясь в Испании и на Халхин-Голе, советские люди не только помогали народам Испании и Монголии, но отстаивали и наши кровные интересы. Кстати, невозможно понять, почему над войной за освобождение Болгарии в 1877 году, как пишет Куняев, «витал дух правого дела», а над антифашистской войной в Испании или над войной с японскими империалистами на Халхин-Голе не витал?

«О моральной готовности народа вступить, если понадобится, в вооруженную борьбу с фашизмом,— рассказывает о событиях тех лет современник,— говорили и глубокий отклик в сердцах, вызванный процессом Димитрова, и решимость молодежи в любую минуту ехать добровольцами в Испанию, и всеобщее одобрение, которое в 1938 году вызвала готовность Советского правительства прийти на помощь Чехословакии, и такое же единодушное возмущение Мюнхеном. Во всяком случае, в той рабочей и студенческой среде, в которой я жил в те годы, не помню ни одного разговора, даже с глазу на глаз, в котором кто-нибудь из моих сверстников проявил бы равнодушие к судьбам Испании или высказался в том смысле, что «наша хата с краю» и зачем нам ввязываться из-за чехов в войну с немцами. Война справедливо рисовалась нам тогда как нечто неизбежное, хотя и вынужденное. Ее начало представлялось как нападение на нас фашистской Германии или Японии, или обеих вместе...»

Не только «романтики» — поэты, витающие, как старается втолковать читателям Куняев, бог весть в каких там революционных и интернациональных облаках и потому не очень озабоченные судьбой своего Отечества, но и широкие слои народа, и даже такие трезвые люди, как профессиональные военные, долг которых обеспечить безопасность страны, воспринимали тогда — да и теперь тоже — Испанию и Халхин-Гол как пролог мировой и Отечественной войны. Так что точка зрения Куняева на эти события абсолютно самобытна и, надеюсь, неповторима.

Можно ли сомневаться, что ситуация в Европе была бы иной, гораздо более благоприятной для нас и в политическом и в военном отношении, если бы фашисты в Испании потерпели поражение? И если бы мы не разгромили японцев на Халхин-Голе, не показали на деле, на что способны, Япония наверняка бы в 1941 или 1942 году напала на нас, а так не решилась, там хорошо помнили халхин-гольский урок — тому есть многочисленные и весьма авторитетные исторические свидетельства.

Нравится это Куняеву или не нравится, но сама история позаботилась о том, чтобы связать Испанию и Халхин-Гол с Великой Отечественной войной. И биографии многих наших «испанцев» и «халхингольцев» приобрели символический смысл. Лейтенант Родимцев, отличившийся во время боев 2-й интернациональной бригады на испанской реке Харама, станет прославленным сталинградским генералом, чья дивизия, оборонявшая легендарный Мамаев курган, преградила немцам путь к Волге. Через неполных шесть лет после того, как комкор Жуков на Халхин-Голе загнал в кольцо и разгромил армейскую группу японцев, он, уже Маршал Советского Союза, принял в Берлине безоговорочную капитуляцию поверженной гитлеровской Германии.

Я напоминаю о вещах общеизвестных, азбучных, но это приходится делать, потому что Куняев отвергает их, он предлагает такую азбуку, которая искажает реальную историю нашей страны, нашего общества. Впрочем, эта куняевская азбука не с небес свалилась, она порождена многолетними и многократными перекраиваниями истории в угоду тем или иным очередным веяниям; эта широко распространившаяся методология позволяла не считаться с фактами, выдавать черное за белое, из мухи делать слона, объявляя его исконно русским животным...

Снисходительно одобряя Константина Симонова, Куняев пишет: «Знаменательно то, что одним из первых, кто понял, что акценты Великой Отечественной существенно отличаются от акцентов гипотетической войны, которую ифлийская молодежь называла «последним решительным боем», был ифлиец старшего поколения — Константин Симонов.

Именно он, по-прежнему изображавший до войны сражения под Уэской, вдруг заговорил о малой родине, о трех березках, которые «никому нельзя отдать», о дорогах Смоленщины».

Куняев уверен, что формула «последний решительный», заимствованная из «Интернационала», выдает с головой, уличает поэтов, погибших на войне, в пагубной приверженности интернационализму. Она кажется ему такой нелепой, такой дичью, что он произносит эти слова — «последний решительный» — только иронически. А, собственно говоря, почему? Разве история не подтвердила, что на той войне дело шло о существовании нашей Родины,— могло ли быть что-нибудь для нас более решительным? И не только тогда, перед войной, мы думали, что «гипотетическая война» будет последней, мы и сегодня надеемся, что третьей мировой не будет.

Возвращаюсь к только что приведенной цитате из Куняева. Поразительное дело, сколько вздора можно наговорить всего в двух фразах. Возбужденное больно задевшей его чувства Уэской воображение Куняева — отнюдь не романтика — так разыгралось, так высоко взмыло над реальностью, что хочешь не хочешь придется вернуть его на скучную

почву фактов. Итак, если «сражения под Уэской» Куняев понимает буквально, то должен сказать, что они поминаются Симоновым лишь в одном стихотворении «Генерал», написанном в 1937 году. Если «Уэска» толкуется расширительно, как испанская война, то Симонов написал о ней еще четыре стихотворения: «Рассказ о спрятанном оружии» в 1936-м году, «Сережин сон» и «Рассказ о глотке воды» в 1938-м, «Изгнанник» в 1939-м, так что «по-прежнему» «до войны» и т. д. никак не получается. Если Куняев понимает «Уэску» совсем широко, включает сюда и Халхин-Гол, то действительно в 1940 году Симонов напечатал большой цикл монгольских стихов «Соседям по юрте». Но все равно та линия, которая нужна Куняеву, не выстраивается. Потому что перед войной Симонов написал и поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов» (последнюю, правда, Куняев может зачислить в стихи об «Уэске», поскольку в центре ее зарубежная кампания Суворова — переход из Северной Италии через Альпы в Швейцарию в 1799 году), и такие стихотворения, как «Портрет», «Поручик», «Английское военное кладбище в Севастополе» — все о русской истории. И вовсе не «вдруг» Симонов «заговорил о малой родине, о трех березках, которые «никому нельзя отдать». Не «вдруг» и, должен совсем разочаровать Куняева, не в Великую Отечественную войну. Первая редакция «Родины» была опубликована в журнале «Литературный современник» в 1940 году (№№ 5—6), и все, о чем пишет Куняев, уже есть в этой редакции. Скорее всего, должен снова огорчить Куняева, к этому стихотворению Симонова подтолкнула «Уэска», то бишь Халхин-Гол. С другой стороны, об «Уэске» Симонов не забыл и во время Великой Отечественной. В 1943 году он написал стихотворение "У огня" — о человеке, который «под Мадридом продырявлен в первый и под Сталинградом — в пятый раз». К какому месту статьи Куняева ни притронешься, все расползается под руками, как гнилая ткань...

И еще один, последний пример. Это единственный случай, когда Куняев полностью цитирует критикуемое стихотворение, в других, как могли убедиться читатели, выдирались с мясом, с хрустом отдельные строки:

Стих встает, как солдат.
Нет, он политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
землю всю. Глину всю. Весь песок.
Стих встает,
а слова, как солдаты лежат,
как славяне и как елдаши,
вспоминая про избы, про жен, про
лошат,
он-то встал, а кругом ни души!
И тогда политрук...
Впрочем, что же я вам говорю,
стих хватает наган,
бьет слова рукояткой по головам,
сапогами бьет слова по ногам,
и слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом и при этом поют,
мироздание все матеря.
И хватаясь (зачеркнутые) за живот,
умирают, смирны и тихи...
Вот как роту подъемлют в атаку и вот
как слагают стихи.

В этом стихотворении, заявляет Куняев, воплощены «литературно-романтические представления» Слуцкого о войне, романтический героизм (ведь «ифлийцы» должны принадлежать к «книжно-романтическому направлению»), но так как «окопная правда» этого стихотворения совершенно не вяжется ни с книжностью, ни с романтизмом, Куняев, не задерживаясь на этом, резко сворачивает в совершенно неожиданную сторону: «Герой ощущает себя,— пишет он,— на много голов выше и значительней рядового «материала войны». Во всяком случае, ни о каком окопном товариществе, ни о каком фронтовом братстве здесь нет и речи. Политрук Слуцкого стремится к своей цели любой ценой, а «славяне и елдаши» для него всего лишь винтики войны, у которых за спиной всякие «мелочи», препоны, мешающие ему повести их на славную смерть,— «жены», «избы», «лошата». А у него этого живого груза на ногах, кажется, нет,— он человек идеи, им недоступной, и ему ведь столько сил приходится тратить на этих роботов войны». То, что Куняев не хочет замечать, с какой душевной болью говорится в стихотворении о солдатах,— это меня не удивляет. Не сомневаюсь, что читатели эту боль почувствуют. Поражают меня его рассуждения: у него получается, что воюют солдаты только из-за политрука, без него они бы отправились по домам — целыми и невредимыми. Но правда и трагизм этого стихотворения именно в том, что герою его надо и самому — первым! — подняться под губительным огнем и чтобы они, солдаты, поднялись — а это нечеловечески трудно,— и атаковать немцев, и кто-то навсегда останется на этом поле, но если не ему, не им, то другим — таким же, как они,— придется идти в огонь, потому что нельзя победить врага, кончить проклятую войну, не одолев это насквозь простреливаемое поле, не выбив немцев из траншей, в которых они сидят. К этому нужно добавить, что стихотворение Слуцкого не только о повседневной трагедии войны, но и о том, что дело поэта, как бой, требует «полной гибели всерьез»,— оно и называется «Как делают стихи», о чем Куняев не говорит. Только пережив леденящие минуты атаки, когда жизнь со смертью наравне, можно было создать такой глубокий и трагический образ мук творчества. Все это Куняев оставляет без внимания.

А теперь несколько цитат из стихов Бориса Слуцкого как ответ на обвинения Куняева, которые, совершенно очевидно,

относятся не только к одному стихотворению «Как делают стихи». Итак, лирический герой Бориса Слуцкого «ощущает себя на много голов выше и значительнее рядового «материала» войны, к солдатам он относится как к «винтикам», к «роботам войны». Борису Слуцкому приписывается абсолютно чуждая ему идеология, на противоборстве с которой и возникало его творчество («Не винтиками были мы»,— прямо писал он в одном стихотворении). Хочу напомнить, что и печатать Слуцкого стали после 1953 года, многие его стихи десятилетиями ходили в списках и только в наше время увидели свет. Посмотрим же, как лирический герой Слуцкого «возвышается» над рядовыми воинами:

Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад в бою,
Перед голодными, перед холодными,
Голодный и холодный.
Так!
Стою.

А это тоже об отношении к «роботам» и «винтикам»:

Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил,— забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.
Шагали солдаты по свету —
Истертые ноги в крови.
Вот это,
друзья мои, это
Внимательной стоит любви.
Готов отказаться от парков
И в лучших садах не бывать,
Лишь только б не жарко, не парко,
Не зябко солдатам шагать.

«Политрук Слуцкого стремится к **своей цели** любой ценой... (подчеркнуто мною.— **Л. Л.**)»,— пишет Куняев. Чему призван служить, какие чувства возбуждать этот стиль намеков и околичностей, недомолвок и приписок? Интересно, что же это за «своя», то есть иная, чем у солдат, цель у лирического героя Бориса Слуцкого, что имеет в виду Куняев? И какую цель он сам преследует, когда пишет заведомую неправду? А что это напраслина, читатели убедятся, как только возьмут в руки стихи Слуцкого:

Не умел воевать, но умел я
вставать,
Отрывать гимнастерку от глины
И солдат за собой поднимать
Ради родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.

Или вот это стихотворение:

Им хлеб не выдан,
им патрон недодано.
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали из
дому,
Все то, что в песнях с их судьбой
сплелось,
Все это снова, заново и сызнова,
Коротким словом — родина —
звалось.

Но разве лишенные и грана правды выпады Куняева объясняются неведением? Да нет, он прекрасно помнит стихи Бориса Слуцкого. Он даже приводит никогда прежде не публиковавшуюся строфу из давнего его стихотворения. Он точно знает, что стихотворение это посвящено Михаилу Кульчицкому, а пишет, что «безымянному поэту, в которой (так у Куняева.— **Л. Л.**) угадывается не чья-то конкретная, но судьба целого поколения интеллигентов-романтиков», иначе не получается нужного ему обобщения. Он знает, какой строфой начинается это стихотворение:

Одни верны России
потому-то,
Другие же верны ей
оттого-то,
А он не думал — как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Знает, но строфу эту опускает, потому что она сразу же опрокидывает всю его постройку.

В ту пору, когда Куняев делал свои первые шаги в поэзии, его опекал Борис Слуцкий, и я помню время, когда Куняев с гордостью говорил, что он ученик Слуцкого. Увы, это еще один вариант старой, как мир, много раз повторявшейся за два тысячелетия истории об учителе и ученике. Не стану в это вникать, как говорили в старину, бог ему судья, ученику. О другом я хотел бы сказать здесь — и с той прямотой, которой требует предмет разговора. Вот вопрос, который не может не возникнуть, когда читаешь статью «Ради жизни на земле»: почему о войне, запечатленной в стихах Слуцкого, Куняев пишет так, словно он, Куняев, а не Борис Слуцкий пробыл на фронте четыре года — от звонка до звонка, словно он, а не Слуцкий поднимался сам под пулями и поднимал за собой бойцов, словно он, а не Слуцкий был тяжело ранен и тяжело контужен, словно он, Куняев, а не Слуцкий после войны почти два года промаялся по госпиталям в таком состоянии, что и недругу своему этого не пожелаешь? Откуда этот тон высокомерного превосходства, этот прокурорский металл в голосе, эта самоуверенность суждений по поводу жестокого, кровавого и святого дела, каким была Великая Отечественная война и которое Куняев в самом лучшем случае знает понаслышке, а скорее всего — иначе бы поостерегся писать то, что написал в статье «Ради жизни на земле»,— по плохим кинофильмам и лжи-

вым книгам. У моего фронтового поколения война выработала идиосинкразию к громким словам, и мне нелегко было написать «святое дело» — заставила беспрецедентная по смыслу и тону статья Куняева, в которой вокруг войны ведутся нечистые «литературные игры».

Какие только пороки не обнаруживает Куняев у изобличаемых им поэтов: войну их герои «принимают с жертвенной радостью», даже со «своеобразным восторгом»; ими движет «умозрительное чувство», поскольку они «супермены», они отправляются на фронт как «на опасную прогулку», и даже «не умеют плакать» (а это, по Куняеву, обязательное проявление истинно народного характера); им свойственны «догматическая узость», «лихорадочное возбуждение» и «полудетский инфантилизм» (что это значит?); в их «опыте не хватало исторической прапамяти о войне как о стихии, приносящей народу горе, сиротство, нищету» (интересно было бы выяснить, почему именно им не хватало, и относится ли это, например, к Арону Копштейну, оставшемуся в гражданскую войну круглым сиротой),— и все это для того, чтобы вынести приговор: это поэзия чуждая, противостоящая «живой народной стихии».

Очень тянет продемонстрировать, какой несусветной «липой» является каждое из этих обвинений, но тогда моим заметкам не будет конца и я стану повторяться — методология у Куняева одна и та же, да и набор приемов не больно разнообразен. Видно, цель не только оправдывает, но и диктует средства. Если нужных фактов нет, они каким-то непостижимым образом создаются из ничего. Если факты мешают, противоречат выводам Куняева, они отбрасываются или трансформируются так, что, как говорится, мать родная их не узнала бы. Какое Куняеву дело до того, что там было в действительности с могилой майора Петрова на Ваганьковском кладбище, коли эта могила ему понадобилась для того, чтобы внушить читателям мысль, что поклонники Владимира Высоцкого, развращенные его аморальными песнями, способны на любое святотатство — скандальная эта история уже получила освещение в печати. А выдранные цитаты, перетолкованные Куняевым до полной неузнаваемости,— все сгодится, любая зацепка, даже видимость зацепки — слово, фраза, а дальше он без оглядки на то, что написано в стихотворении, будет гнуть свое. Хочу просто предупредить читателей, что в статье «Ради жизни на земле» нельзя принимать на веру ни одного факта, ни одной цитаты, ни одного утверждения!

Вся статья Куняева проникнута стремлением разделить поэтов на чистых и нечистых, народных и ненародных, обладающих «исторической прапамятью» и не обладающих, столкнуть их лбами. Занятие это малопочтенное и безуспешное — у поэтов фронтового поколения много общего и в военных биографиях, и в мировосприятии, и в темах, но тем больше усердствует Куняев, пускаясь во все тяжкие. Вот он противопоставляет Сергея Орлова поэтам, чуждым «живой народной стихии»: «Ведь недаром же герои стихотворения Сергея Орлова, его боевые товарищи мечтают не о других странах, а о том, чтобы победить врага на этой земле, выжить и вернуться к родным градам и весям». Но посмотрим стихи Сергея Орлова военных лет, герои которых, как утверждает Куняев, не желали участвовать в заграничном походе:

От щели, может, пятый час
Водитель не отводит глаз.
А щель узка, края черны,
Летят в нее песок и глина,
Но в эту щель от Мги видны
Предместья Вены и Берлина.

Как ни старался Куняев, а номер опять у него не удался: не то, что бы ему хотелось, писали поэты...

Чтобы с минимальными трудностями и максимальным эффектом решить задачу «сталкивания лбами», Куняев ставит друг против друга ныне здравствующих поэтов и погибших четыре с лишним десятилетия назад на войне, филологическое образование не вогнало его в краску, его закаленное нравственное чувство не дрогнуло, не смутилось. Так же легко и свободно, не испытывая ни малейшего неудобства, он перетасовывает довоенные юношеские стихи и стихи, написанные вполне зрелыми по возрасту людьми через два-три десятилетия после войны, и ведет о них разговор так, словно они появились на свет в одно время. Но и на этом Куняев не останавливается — «фронт работ» он расширяет и расширяет. Поэтическим учителям «ифлийцев» — Антокольскому, Багрицкому, Сельвинскому, Луговскому, Светлову, Тихонову (этот список предложен Куняевым, на самом деле учителя у них были разные — у каждого свои — и вовсе не все названы в этом списке) он противопоставляет Есенина, Пастернака, Ахматову, Заболоцкого, Твардовского, таким образом разделив уже всю советскую поэзию на народную и ненародную...

Хочу тут заметить, что погибшим на войне поэтам, о которых пишет Куняев, при жизни почти ничего не удалось напечатать. Павлу Когану и Николаю Майорову — вообще ни одной строчки. В их стихах жил тот дух революционного свободолюбия, который в 30-е годы все больше и больше становился не ко двору. Они понимали, что предстоящее стране, их поколению испытание — война с фашизмом — будет нелегким, их стихи противостояли весьма распространенным и насаждаемым сверху настроениям «шапкозакидательства», разоружавшим народ. И это тоже закрывало им тогда, до войны, дорогу в печать. В ходу было совсем другое: «малой кровью», «на чужой территории». В главном история подтвердила правоту этих поэтов, хотя, конечно,

они были детьми своего времени и разделяли некоторые из его заблуждений и предрассудков. Время их стихам пришло после XX съезда партии — лишь тогда они были напечатаны, а имена молодых поэтов, хотя они не были членами Союза писателей, занесены на мемориальную доску в ЦДЛ, их творчество заняло по праву принадлежащее ему место в истории нашей поэзии. Обо всем этом Куняев, конечно, умалчивает.

Лирический герой поэтов фронтового поколения, пишет Куняев, «выросший и воспитанный в 20—30-е годы с их лозунгами всемирной революции и глобальной схватки миров, готовился к большему: к последнему и решительному бою». «А этого боя не получилось,— продолжает Куняев.— Получилась Отечественная война. Потому с такой откровенной разочарованностью звучит противопоставление мечты и действительности...» Вот что, оказывается, было им не по сердцу, вот на какой почве они потерпели душевный крах,— Куняев так и пишет: «Да, не удалась жизнь!» Они не были настоящими патриотами, и Отечественная война поэтому не стала их войной — к такому выводу пришел Куняев. Верный своему методу, он только «забыл» в своей статье упомянуть о том, что Николай Отрада, Николай Майоров, Павел Коган, Михаил Кульчицкий ушли на фронт добровольцами и сложили голову в боях. «Забыл», потому что это сразу же разоблачило чудовищную ложь и безнравственность того, что он пишет. Но как бы ни силился Куняев их опорочить, он не может поколебать непреложного факта: то, что они писали в юношеских стихах, проверено и оплачено их кровью, жизнью, которую они отдали за Родину. А чем оплачена статья «Ради жизни на земле», какими деяниями ее автора, чем он пожертвовал для Отечества? По какому же праву он ставит под сомнение искренность их любви к Родине?

Я на днях случайно прочитал
книжку невеликого поэта.
Где-то под Ростовом он упал,
захлебнулся кровью и не встал
и не видел, как пришла победа.
Но отвага гению сродни,
но подобно смерти откровенье,
и стоит, как церковь на крови,
каждое его стихотворенье.

Это стихотворение Куняев написал двадцать с лишним лет назад. Трудно поверить, что можно проделать такую эволюцию — к статье «Ради жизни на земле», в которой Куняев крушит церкви — те, что стоят на крови. В последнее время он много и громко говорит о своей любви к Родине, о том, как дорога ему ее история, ее прошлое. Но человек, искренне преданный Отечеству, не может не испытывать уважения и благодарности к тем, кто пал за Родину. Если он способен поднять руку на павших, порочить их светлую память,— он обуреваем какими-то иными страстями и целями, но только не патриотическим чувством.

Прочитав статью «Ради жизни на земле», я вспомнил о молодых людях, которые стреляли по солдатским могилам. Может быть, они не ведали, что творили. О Куняеве этого нельзя сказать...

Главная правда: действовать!

«Прямая речь» — такое название честно заслужил сборник публикаций газеты «Советская культура». Здесь представлены тридцать пять авторов — писатели и педагоги, режиссеры и ученые, люди различных профессий. Остро и откровенно обсуждают они перед стотысячной аудиторией главные проблемы сегодняшней жизни.

Еще два-три года назад казалось, стоит только «разрешить» — и все заговорят, правда так и грянет со всех сторон. Но уже небольшой опыт гласности показывает, что сказать прямо и «на публике» готовы и хотят далеко не все. Мало того, порой кажется, что говорят-то в основном те, кто и прежде не молчал. Среди авторов сборника Вадим Абдрашитов и Борис Олейник, Александр Рекемчук и Георгий Товстоногов, Юрий Черниченко и Владимир Яворивский... Рубрику «Прямая речь» в «Советской культуре» открыл статьей «Личное мнение» Евгений Евтушенко.

И рубрика «Прямая речь» стала действительно гражданской трибуной газеты «Советская культура». С прямотой и гневом, революционным нетерпением и максимализмом вместе с авторами начали говорить о самых острых проблемах читатели, так что страницы книги, посвященные обзору писем, порой напоминают стенограмму бурного митинга. Так полтора года, складываясь из мнений сотен людей, рождалась книга.

Читая ее, поневоле замечаешь, как экстенсивный путь, пройденный некогда экономикой, запоздало (и, наверное, потому особенно бурно) проходит публицистика. Охрана памятников и администрирование в культуре, национальные проблемы и «белые пятна» истории, громокипящая бюрократия, вопрос «номенклатуры»... По сборнику можно с карандашом в руках проследить, как наша журналистика отвоевывает пространство для действий у наполненной миражами внегеографической пустыни, сложившейся за многие годы постепенным соединением «зон вне критики».

На этих страницах недавний день становится историей. Авторы спорят о новой организации производства, убеждают, а мы уже знаем, каким будет Закон о социалистическом предприятии. И у индивидуальной трудовой деятельности в обиходе уже появилась собственная аббревиатура — ИТД... И Детский фонд имени В. И. Ленина, создать который еще совсем недавно так страстно призывал в «Прямой речи» Альберт Лиханов, уже действует. Оглянуться назад хорошо хотя бы потому, что достигнутые цели помогают идти к более далеким. И если за чтением книги вдруг покажется, что тот или иной автор начинает ломиться в открытую дверь, полезно приостановиться и вспомнить: а ведь действительно вчера эта «дверь» была закрыта.

Впрочем, мы, к сожалению, еще не можем поздравить друг друга с тем, что решены все или хотя бы большая часть проблем, поднятых за последнее время. Нестареющих аргументов в книге достаточно. Процитирую разговор лишь на одну тему. Многим (и отнюдь не только литераторам) знакомы, думаю, чувства воронежского писателя Валентина Семенова:

«Горечь не покидает меня, потому что, начитавшись центральных газет, с утра надышавшись воздухом правды, радостно заряженный энергией действия, я прихожу на работу и узнаю, что из верстки уже очередного номера журнала снят очередной материал... Мы говорим работникам отдела культуры обкома: вот вы снимаете, Москва печатает. На что нам уверенно отвечают: то Москва. А здесь — Воронеж! Вот так. Помалкивай и думай: что бы это значило?»

Режиссер Марк Захаров дополняет эту невеселую картину московскими зарисовками: «Огурцовы и бываловы, к сожалению, не перевелись. Эти веселые вампиры требовали и продолжают требовать бодрости при категорическом запрете любых суждений, недоступных их пониманию... Только они, единственные и избранные, знают, что нужно нашему народу, а что ему не нужно. Что можно показать нашему зрителю, а что можно смотреть только им самим».

Прямая речь. Публицистический сборник. М., Правда, 1987.

Пересказать содержание сборника нельзя, конечно. Поэтому назову лишь несколько проблем: нравственные резервы общества, воспитание личности, перестройка мышления, место художника в революционных переменах... Хочу обратить внимание читателя еще на одну важную сейчас тему. Так же как всякая поэтическая книга — обязательно и о самой поэзии, сборник «Прямая речь» — это и рассказ о нашей сегодняшней публицистике, ее заботах. Сейчас публицистика вынуждена одновременно работать, совершенствоваться и защищать свои позиции. По заголовкам статей можно понять, сколько аргументов все еще уходит на защиту той же прямой речи: «Сор — из избы!», «Фигура умолчания» «Легкой и удобной правды не бывает», «Исцеляющая гласность». У газет хватает работы, чтобы слово, перешедшее в иностранные словари, не осталось там памятником одному лишь периоду нашей истории.

Впрочем, гласность гласностью, но примеров печальной актуальности немало в статьях, опубликованных «Советской культурой» и в прошлом, и в позапрошлом годах. Именно поэтому, читая наполненную гневом и горечью книгу, слышишь главную правду: действовать!

«Время не просто сложное — драматичное,— пишет Михаил Ульянов.— Нутром ощущаю: пограничное время, ход его может и туда, и сюда повернуться. Или — полное обновление «генной системы», или все заговорим, утопим в словесах. И тогда снова, надолго, если не навсегда погрузимся в спячку: ведь как-то жили... И потому зову каждого, и прежде всего своих собратьев по искусству, в лагерь добра, в лагерь перестройки, зову идти вместе с партией до конца. Теперь или никогда».

Пройдет время, сегодняшние запал и пафос останутся как колорит истории, а публицистический напор пригодится лишь для того, чтобы оценить силу прошлого сопротивления. Конечно, время все расставит на свои места: в чем мы были правы, в чем наивны, в чем ошибались. Но прямая речь гарантирует по крайней мере, что потомкам не придется заниматься утомительной археологией,— очищать мнения и факты от оптимистического лака. Есть надежда, что страницы истории современности, которые создает сегодняшняя публицистика, не надо будет переписывать нашим детям.

Анатолий Гостюшин

Без знаков различия

Сколько правд на свете? Ни много, ни мало: столько же, сколько людей, ибо поиски своей правды, в сущности, являются содержанием и оправданием всякой индивидуальной судьбы. Кажется, что тут доказывать? Однако доказывать приходится по сей день. Примером тому — эволюция нашей военной прозы. Неблизкий путь от мышления в масштабах «десяти сталинских ударов» до утверждения правды окопной, «лейтенантской», правды блокадника, партизана, военнопленного, ребенка, пройден ею с боями и отмечен рождением столь необходимых нам теперь книг. Уверен, такие произведения будут появляться и впредь, обогащая наши представления все новыми и отнюдь не частными подробностями военных лет. И не только потому, что в отсутствие всеобъемлющего художественного создания, подобного «Войне и миру», неизмеримо возрастает значение каждого отдельного литературного свидетельства. Война — единственная по своей трагичности и концентрированности, как бы крайняя форма жизни, продолжение ее иными средствами, в абсолютных значениях пограничной ситуации. И потому человек на войне — тема неисчерпаемая для литературы.

Сегодня военная проза, как и литература в целом, обретает новое качество правды. Вспомним повести «Это мы, господи!..» К. Воробьева и «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, рассказ Д. Гранина «Еще заметен след». В. Кондратьев предпослал своему рассказу «На станции «Свободный», опубликованному в «Юности», такое посвящение: «Тем моим сверстникам, которым воевать было труднее, чем остальным, но воевавшим не хуже, а, может, и лучше других». Герой рассказа — девятнадцатилетний солдат, отец которого репрессирован. Кто знает, может быть, именно сыну выпадет освобождать узников нацистских концлагерей...

Морис Симашко в повести «Гу-га» открывает нам тот лик войны, который долгие десятилетия оставался для читателя в глубокой тени. До начала шестидесятых годов понятия «штрафбат», «штрафная рота», «штрафник» в энциклопедиях отсутствовали. Слово «заградотряд» и по сегодня либо не значится в словарях, либо не объясняется. Да, были «Штрафные батальоны» и «Все ушли на фронт» Высоцкого — песни, до сих пор бытующие на правах фольклора: «Ведь мы ж не просто так — мы штрафники.

Морис Симашко. Гу-га. Повесть. Дружба народов, № 8, 1987.

Нам не писать «Считайте коммунистом». Были глухие, отрывочные, нередко одной фразой исчерпывающиеся упоминания в книгах о войне. Имеется, правда, военно-научное описание: «...Личный состав штрафной части в годы второй мировой войны лишался воинских званий и наград и использовался на наиболее тяжелых и опасных участках фронта». Но не много почерпнешь из короткой и сухой информации — больше угадывается... Сегодня у нас есть возможность прочесть повесть писателя из Алма-Аты.

В продолжение нескольких недель курсант летной школы Борис Тираспольский дважды пересечет страну. Туда, на передовую,— без погон, в пилотке без звездочки и под конвоем. Обратно, на учебный аэродром близ узбекского городка,— «как искупивший», с оружием, добытым в бою. «В каждом городе тут по три-четыре эвакуированных училища», поэтому среднеазиатские штрафники — из «Полтавского танкового, Третьего харьковского самоходных орудий, Ивановской высшей школы штурманов, Ташкентской школы стрелков-бомбардиров, Туркестанского стрелково-пулеметного»... Плюс «прямые тюремные». Курсантский срок — «месяц штрафной без суда». Позади кровопролитный искупительный бой. Люди без знаков различия, отмеченные общностью изгоев этой войны, под убегающими или отчужденными взглядами погребают своих убитых: «Теперь мы опять все вместе: восемнадцать живых с лейтенантом, которого рвет кровью, и восемьдесят четыре мертвых».

Из курсантов в штрафники — две натоптанные дорожки: «непочтение родителей» (конфликт со старшим по званию) и «по заповеди» (не продай казенного имущества). «Отдельно — самоволка, если больше суток. Что еще может быть? Разве как со мной»,— думает Борис. Случай героя повести, улетевшего на учебном самолете проститься с любимой женщиной, на общем рутинном фоне и впрямь выглядит экстравагантно. Возвращаясь с фронта, Борис впервые коснется своей щеки лезвием бритвы. Недолгое время, разделившее эти два события, вместит в себя опыт, которого хватило бы на целую жизнь. «А как же те, которые с начала войны так лежат?» — с ужасом спрашивает себя Борис, теряя сознание в торфяном болоте, напоенном запахами «сладкого гниения». Однако именно ему и его товарищам предстоит совершить то, чего пока не сумел никто до них: «Второй год топчемся. Зимой, слышал, что тут происходило? Дивизию целую в неделю положили... Но, если нас сюда, значит, тут и начнем».

Кажется, в другой жизни остались «интернациональная комсомольская семья», в которой появился на свет герой повести М. Симашко, и ликующая песнь свободного полета, которую уже не вспомнить после того, как колеса коснутся земли, гостеприимство и скудное существование дехкан, житье-бытье тылового гарнизона, девочки Рина и Надя, с которыми целовался по очереди, и перевернувшая все встреча с Тамарой Николаевной, первая оглушающая страсть, и непостижимость новых отношений, когда мучительно «не сходится что-то» в них и не понять — почему. Полувзрослая, как бы слегка невзаправдашняя жизнь молодого здорового существа, неосознанно-счастливая, несмотря ни на что, полная событий настоящего и обещаний будущего. Однажды линии любви, войны и смерти пересеклись в этой судьбе, выделив ее из других судеб и уравняв с ними. «Будь таким, как Покрышкин!», «Будь таким, как Луганский!», «Будь таким, как Кожедуб!» — призывали плакаты в штабе училища. Борис Тираспольский, подобно другим курсантам, тайком изучал фотографии героев. Ощущал ли он тогда, что при дверях уже испытание железом и кровью, жестокостью и милосердием, из которых каждый выходит не кем-то, а только самим собою? Что прикосновенность к смерти наделяет чувством иной справедливости и иной, высшей правды?

Он не был школяром на войне. До училища ему пришлось видеть, как отступают и как бомбят, он стрелял во врага, охраняя караванные транспорты с английским оружием. И все же настоящее огневое крещение было впереди. Он принял его на самом опасном участке, в рядах фронтового братства неприкасаемых.

В спину направлены пулеметы тех, что залегли позади штрафников; их тоже рота, они дисциплинированны и щеголеваты, курят папиросы, одеты в специальные накидки, «эти» носят фуражки с цветными околышами и такие же погоны. «Эй, кацо!» — по привычке окликает их завсегдатай штрафных частей Даньковец. «Зачем так говоришь? Где у них кацо? — возмущается разжалованный Саралидзе.— Не говори больше так. Кацо — это друг. Понял?» Впереди — выступ немецкой оборонительной линии, о который полтора года спотыкается наступление на этом участке фронта. Выбить отсюда немцев, подготовив плацдарм для прорыва,— это и есть работа штрафников. «Я так это вижу, капитан, что на «гу-га» придется брать»,— заключает многоопытный Даньковец.

«Сначала глухо, едва слышно, сложив ладони перед губами, потом все громче: «Гу-га, гу-га, гу-га...». Напряженная тишина стоит над болотом. Лишь где-то из глубины его идет наше уханье... И вдруг огненная стена рушится на нас. Бьют из автоматов, пулеметов, с ноющим звуком обрываются мины... А, суки, они боятся нас! Ждут сейчас, прислушиваются. И не смеют уже говорить. Злое радостное чувство переполняет нас... В третий и в четвертый раз начинаем мы: «Гу-га, гу-га, гу-га...». И все повторяется... «Ну, теперь знают, кто здесь,— говорит удовлетворенно Даньковец, обтирая тряпкой штаны и бушлат.— От Белого моря и до Черного моря они этот знак понимают, что штрафная тут!»

Что же за слово «гу-га», откуда оно явилось, как и почему стало паролем «неизвестной войны»? Звукоподражание это, сокращение, искажение или вполне самостоятельная форма? В романе С. Залыгина «Соленая Падь» описывается «арара» — крайнее средство, которое применяло против колчаковцев партизанское войско, когда оказывалось в критическом положении. В засаде собирались старики, бабы и ребятишки: «у передних — две-три берданы, заряженные дымным и вонючим порохом, у остальных — обыкновенное дреколье. В решающий момент лавина эта мчится на противника, оружие у нее одно: «Ура, ур-ра!» Кони — топочут, ребятишки — визжат, старики — рыкают, из всего этого получается другое ар-ра-ра-а-о-о». У белых сдавали нервы, и они отступали перед неистовым натиском «арары». Как знать, не восходят ли «арара» и «гу-га» к общему архитипическому истоку — способам совместной обороны, практиковавшимся в древности?

У лаконичной и сдержанной прозы М. Симашко есть привкус документальности, порой возникает даже ощущение, что читаешь письмо или дневник. В сущности, это и есть дневник сменяющих друг друга эмоциональных состояний героя, глазами которого увидены события, составляющие фабулу повести. Однако такая простота стиля способна оказаться вещью весьма обманчивой. В этом легко убедится всякий, кто попробует сформулировать для себя, как «сделана», например, проза Ю. Домбровского. Здесь схожий случай. Лучшее, на мой взгляд, место в повести М. Симашко — эпизод боя. Сюжетно ему предшествует сцена с Тамарой Николаевной: линии любви, войны и смерти связались в узел. Ошеломляющая скоротечность боя дана через ощущение сгустившегося, мучительно замедленного времени. «Как бы два сознания у меня сейчас»,— фиксирует герой. Его двойное зрение совмещает планы восприятия: события разворачиваются, как во сне, но регистрируются и осмысливаются, как в яви.

Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову рассматривать штрафную часть как рассадник гуманизма и милосердия. Наверняка не посещали подобные фантазии и самих штрафников, тянувших лямку чернорабочих войны. Другой вопрос, что они отказывались разделить взгляд на себя как на бывших людей, годных лишь на то, чтобы стать бросовым пушечным мясом. Человеку свойственно оставаться человеком в любых обстоятельствах, порой противостоя им с тем большим достоинством, чем сильнее их власть. И потому в основу неписаных законов, по которым живет это особое сообщество, оказываются положены естественные представления о справедливости, товариществе, сострадании. Мы открываем это для себя вместе с героем повести. Вот разжалованный из полковников капитан Правоторов на свой страх и риск отпускает из-под конвоя вора, на котором, «говорят, больше ста лет с побегами», и тот возвращается под стражу, простившись с женой и дочкой. «Будто сломалось что-то» между «тюремными» и «военными» после этого случая. Вот перед отправкой на фронт принимают в роту двух мальчишек, попытавшихся украсть муки. «Правоторов всегда таких берет... Тут, считай, кража социмущества: сколько лет загорать. С бородой выйдут. А так: раз-два, и готово... Вот и прибавляют себе такие пацаны годы, чтобы в штрафную. Если человек жалостливый, конечно, найдется...».

Пацанов в том страшном бою оберегут, капитан лишится ноги, и командование примет на себя герой повести, Даньковец получит очередь в грудь, и уже не «обреченно и страшно», а тихо и непонятно для посторонних прозвучит в память о нем последнее «гу-га», как последнее «прости». Как положено, штрафники сдают оружие, но перед этим салютуют погибшим. «Обгорелые, мокрые, оборванные, со страшными лицами, глаза их смотрят пусто и прямо» — это могло быть сказано и о мертвых, и о живых. Горстка уцелевших долго глядит, как женщина кормит теленка распаренной соломой. «Лишь люди из деревни, женщины и старики, останавливаются и смотрят прямо, провожая нас долгим взглядом...» Остальные — «сбоку или в спину. Как только мы поворачиваемся, отводят глаза. И быстро все делают, если мы просим». Не консервы, не спирт — необходимо что-то другое, а не вспомнить. Звездочки! Их прикрепляют к грязным мокрым пилоткам. Погоны у старшины есть только того цвета, что и околыш на его фуражке. Их не берут. Ходят тесной кучкой, стараясь касаться друг друга. А ночью в землянке «повторяется все сначала: те, которые лежат там, в торфе, укрытые шинелями, бегут рядом.., кричат беззвучно». Оставшиеся собираются вместе и сидят так до утра..:

А поверху неудержимо катится в прорыв застоявшееся наступление, воют танковые моторы, и «как будто с неба слышится многократно усиленный голос: «За Родину, за Сталина!» Вот и военная проза также оставила позади молчаливую эту землянку. В силу специфических условий, в которых развивается наша литература, стать в ней первооткрывателем темы, наверное, не так уж сложно. Однако сам факт освоения писателем новых жизненных пространств еще не гарантирует художественного открытия. К счастью, публикации последних двух лет доказывают, что книги, пришедшие к читателю поверх всевозможных барьеров, являются не только творчески состоятельными, но зачастую и вершинными для их авторов. Выстраданное оказалось выношенным. В ряд произведений, без которых трудно помыслить себе сегодняшнюю словесность, встала и повесть М. Симашко.

Виктор Малухин

Драконий посев, или Мемуары вечного курсанта

О зорком читателе-аналитике, чей взгляд не скользил бы небрежно по строчкам, но устремлялся в глубь авторского замысла, мечтает каждый литератор. А Сергей Рядченко не мечтает, он **требует** такого читателя. Иному попросту не одолеть его «Полосу препятствий», не разобраться, что здесь к чему.

Поначалу кажется — любопытное бытописание, и только. Группа студентов-филологов проводит два летних месяца на военных сборах. В зримых деталях предстает армейская повседневность, очерчены характеры юных курсантов и их наставников-командиров, взаимоотношения, радости, невзгоды. Впрочем, кое-какие странные несоответствия замечаешь сразу. Например, рассказчику уже тридцать, он вспоминает события десятилетней давности, а повествование, то вычурно ироническое, то наивно риторичное, звучит совсем по-студенчески. Ошибиться невозможно, она ведь очень характерна, эта речевая бойкость желторотого остроумца, которому страсть как не терпится блеснуть дерзкой идеей, недопонятой латинской цитатой, ошеломительным сравнением.

Слово рассказчика прихорашивается, забавно петушится, вроде бы приглашая посмеяться. Что ж еще делать, если «чуден взвод при тихой погоде», и образ мыслей Жени Лунина приобретает «ярко выраженный сержантский уклон», и поэт Миша Журавлев (он же повествователь) «пытается переложить бытующий в природе порядок на военно-патриотический лад»? Да и персонажи веселятся вовсю, юношески наслаждаясь и трудностями учений, и блаженными минутами отдыха, беспечно горланя «Взвейтесь, соколы, орлами», хохоча по любому поводу. Вот только у читателя как-то нет охоты разделять их веселье, тем паче, что он уже предупрежден о беде, ждущей одного из героев. Сержант Лунин погибнет от шальной «рикошетной» пули. Красавец, атлет, счастливый влюбленный и лихой воин, он умрет потому, что близорукий толстяк Мигуля впопыхах выпустит заряд в землю, где притаилась роковая «железяка».

Повествователь заранее ненавидит «хлипкого растяпу», по чьей вине должен сложить голову «лучший из нас». Он почти смакует картины страданий Мигули, студента-отличника, «в естественных условиях полигона» ставшего всеобщим посмешищем. В бронетранспортере его «укачивает, мутит», стрелок он никудышный, на бегу задыхается, при попытке одолеть полосу препятствий, иначе именуемую «мясорубкой», запутывается в колючей проволоке и т. п.

Глубинную природную справедливость усматривает рассказчик в том, что этот недотепа для окружающих уже не Юра, а Цапа, и только ленивый его не высмеет, не унизит. Но, на Юрину беду, среди его товарищей ленивых нет — всех аж распирает молодая бодрость. Полагая, что «в бесцветной, выжженной степи», куда занесла их судьба, нет ничего «веселее простой, всем понятной, абсолютно глупой шутки», парни благодушно изощряются в издевательствах над Мигулей. Его и до слез доводят, но что поделаешь, если «Цапа будит в человеке все садистские наклонности»?

Тягостное впечатление усугубляется тем, что Журавлев вспоминает эту безобразную ситуацию без тени стыда. Он и десять лет спустя не понимает, сколь недостойной была травля товарища, виновного в том лишь, что слабее прочих. Не сознает, что и трагический конец Лунина был, по сути, расплатой за мучения Мигули. Следствием его истерического состояния, поминутно усугубляемого потехи ради. Курсанты день за днем, резвясь, подготавливали катастрофу, и сам Журавлев к общему делу руку приложил.

Замысел С. Рядченко построен на парадоксе: читателю все ясно, а рассказчику невдомек. Увидеть истину Журавлеву мешает потрепанная пошлая теория, что-де от слабых все зло. Вот и доказательство: здоровяк Лунин погиб из-за «мягкотелого хлюпика». Журавлев лелеет мечту: хорошо бы всех подобных Мигуле «обвинить по какому-нибудь пока еще не существующему закону и изолировать», чтобы под ногами не путались...

Потрясенный моральным, гражданским, наконец, историческим невежеством Журавлева, читатель вместе с тем чувствует искренность его скорби о друге, об ушедшей юности, о собственной неостановимо тускнеющей жизни. Расчет автора верен: смесь сострадания к Михаилу и недоверия к его выводам побуждает чутко вслушиваться в откровения рассказчика, ища истинных объяснений уже не только несчастному случаю с Луниным, но и одиозной позиции самого Журавлева. Что это с ним? Отчего он так глух к урокам действительности, что умудрился, по убийственному определению давнего приятеля, до зрелых лет сохранить «все ту же детскую жестокость и дидактизм старой бабки»?

Чтобы разрешить этот вопрос, стоит вглядеться в образы лейтенанта Дышлова и майора Сокола. Ернические ужимки, присущие повествовательной манере Журавлева, не могут скрыть восхищения Миши, по-мальчишески плененного бравой выправкой и властной повадкой своих командиров. Те же чувства переполняют сердца его товарищей: Сокол и Дышлов предстают перед ними в ореоле всепобедительной мужественности, внушая трепет и тягу к подражанию. Чувствуется, что сейчас любое семя, брошенное командирами в души ребят, найдет благодатнейшую почву, пустит глубокие корни... Однако если авторитет наставников так высок, откуда болезненные конфликты книги С. Рядченко? Почему курсанты докатились до позорной истории с Мигулей? Как мог Миша превратиться в этакого доморощенного ницшеанца с оглохшей совестью.

В том-то и горе, что для душевно незрелых героев книги не благом, а злом оборачиваются воспитательные методы Сокола и Дышлова. Наивно принимаемые курсантами за образцы мужественности, майор с лейтенантом на поверку оказываются для них примером совсем иного рода. Это они, взрослые люди, облеченные властью и ответственностью кадровые офицеры, провоцируют травлю курсанта Мигули. Дышлов, например, лично изобретает популярную в подразделении «ритуальную шутку», намекающую на мужскую несостоятельность Юры, и со смаком толкует, что «был бы крайне счастлив, выпади ему, лейтенанту Дышлову, в свое время возможность сообщить мигулиным родителям, как надо поступать, чтобы такие дети на свет не рождались». И топорные остроты Сокола вызывают у товарищей Юры настоящие пароксизмы хохота, а уничижительные разглагольствования насчет слабаков укрепляются в сознании мускулистых парней, весьма уступающих Мигуле по части постижения наук. Куда как охотно усваивают они удобное майорское убеждение, что Юра «по всем статьям никуда не годится», он даже не гражданин вовсе, а «позор своей страны».

С. Рядченко не упрощает проблему. Он видит, что Соколом и Дышловым движет не садизм, а превратное понимание неких «общих, армейских» идей, принимающих обличье солдафонской нетерпимости ко всему, что армия призвана оберегать: к духовным ценностям и заботам мирной жизни. Недаром Дышлов даже в собственной семье создает «условия, приближенные к армейским», а Соколу требуется «подавить в себе все живое», чтобы кое-как соблюсти вежливость в разговоре со штатским. Собеседник, правда, обмолвился о своем флотском прошлом, но и то не легче: «отношение майора к морякам было еще хуже, чем к штатским».

Таковы те, кому выпало обучать Мишу Журавлева и его однокашников военному делу. Они свято верят, что поступают, как должно, мнят себя психологами, педагогами. Втаптывая в полигонную пыль достоинство двадцатилетнего курсанта, горе-командиры и в мыслях не имеют, что их действия недопустимы. Для них все просто: армии нужны тренированные бойцы, Мигуля не таков, значит, пусть послужит объектом назидательной демонстрации, дабы другим было неповадно походить на него. Достоинство человека не принимается в расчет, ибо Дышлов и Сокол видят свою задачу в том, чтобы заменить это «штатское» понятие гордостью бойца. Не дополнить одно другим, а вытеснить, как вытесняют противника со спорной территории.

Перед нами тревожная, остропроблемная, отнюдь не только к армии обращенная книга о воспитании. О невосполнимых потерях, которыми чреваты упрощение и подмена общечеловеческих нравственных понятий, хотя бы и во имя государственной цели. Сокол и Дышлов хотят вырастить защитников Отечества, но семена, оставленные ими в душах курсантов, похожи на драконьи зубы из античного мифа.

Рознь то и дело вспыхивает между героями книги. Там, где «все как один» легко превращается во «все против одного», человеческие связи не крепнут, а перегнивают, на дне душ заводятся опаска, зависть, злость. Распаленное самолюбие настолько туманит мозг, что, к примеру, Лунин (лучший из всех!) мается от жажды избить сержанта Мережу, обогнавшего его на полосе препятствий. И тот же Лунин, сорвав командами голос, всерьез трусит, как бы его за хрипоту не подняли насмех, жалобно ропщет: «Будь оно проклято, это вечное стремление надрывать животики».

Выходит, в созданной майором Соколом атмосфере не по себе даже тем, кто любит и умеет «взвиваться орлами». Не один «хлюпик» Юра, а и сам «супермен» Женя на грани истерики. Студенческое и армейское братство вырождается в стадность, дух соревнования — в завистливое соперничество, здоровая юношеская потребность в физической культуре — в культ силы.

«В кого вы превратились?» — корит товарищей Мигуля, не замечая, что та же метаморфоза коснулась и его. Добрые задатки Юры затоптаны, идеалы разбиты, зато ребяческий эгоизм под напором «полигонных истин» оброс несокрушимой броней. Мигуля ждет реванша, и не напрасно. Быть ему в князе деканом, а Журавлеву — его подчиненным, томящимся под началом этого гибкого, циничного администратора. Такой Мигуля, может статься, даже поднял бы заздравный кубок «за учителей своих», приохотивших его к беспощадной житейской игре. Сила теперь на его стороне, и Журавлеву остается тосковать о былых днях, словно он оставил на полигоне свою душу.

Да ведь он и впрямь ее там оставил. Променял на бездумность упоительных «мгновений абсолютного единства» со всеми, на сладость безответственной уверенности, «что под вечер тебе обязатель-

С. Рядченко. Полоса препятствий. М., Советский писатель, 1987.

но выставят оценку и ты поймешь, что хорошо, а что плохо», на приятное сознание превосходства над «мигулями»... Покинутая в мире таких убогих иллюзий душа героя больше не взрослела — о том говорит стиль его речи и мышления. По сути, Журавлев так и остался никчемным, агрессивным духовным недорослем — так сказать, вечным курсантом. Но, следуя за ним в то прошлое, где Михаил, как ему кажется, был счастлив, читатель вынужден искать не найденные героем ответы на трудные вопросы бытия.

И. Васюченко

Строкаж

На первый взгляд Михаил Числов относится к числу наиболее плодовитых наших критиков. Шутка ли: издав первую книгу одиннадцать лет назад, только за минувшее пятилетие он выпустил еще пять книг. Их общий тираж составил 358 тысяч экземпляров, что позволило этим изданиям попасть едва ли не во все книжные магазины разных городов и весей нашей страны.

Но вот если начать разбираться, если решиться ввести себя в расход и все эти книги все же приобрести (а неужели же не мечтает М. Числов, как и всякий автор, чтоб его книги приобрели и прочитали?), выяснится неожиданная картина: не только не плодовит этот критик, а, напротив, как бы это поделикатнее выразиться,— скуповат в своем творчестве.

Существует такая литературная технология — ей можно было бы дать наименование безотходной. М. Числов ею владеет мастерски. Берет он, скажем, свою первую книгу («Советская поэма на новом рубеже». М., 1976) и механически делит на пять неравных частей. Затем эти произвольно выделенные части тасуются, как карты. И новая колода, простите, книга («Время зрелости — пора поэмы». Издание первое. М., 1982), отличаясь от первой внешне, внутренне повторяет ее до деталей. Смотрите, как все просто: первая часть (с. 3—5) стала четвертой (с. 149—151), вторая (с. 6—20) — первой (с. 38—53), третья (с. 21—42) превратилась во вторую (с. 70—92), четвертая (с. 43—45) — в пятую (с. 152—154), пятая, в свою очередь (с. 46—59),— в третью (с. 95—107). Ни одна строка из первой книжки М. Числова не осталась за бортом второй — все пошло в дело.

Но, возразит мне кто-нибудь, вторая книга критика гораздо толще и тяжелее первой: видно, что прошедшие между ними шесть лет он не терял времени зря, работал! Да, отвечу я на это, работал. Например, над кандидатской диссертацией — она открывает собой книгу. Писал также рецензии в газеты и журналы — они разбросаны по разным частям книги, а также составляют специальный, третий по оглавлению, раздел. Но и тут пришел в действие уже знакомый нам механизм: и двух месяцев не прошло после выхода книги «Время зрелости — пора поэмы», а ее третий раздел уже вышел самостоятельным изданием. Различие между ними заключается в первой строке. Было: «В книге Олега Шестинского «Жизнь» есть такие строки...» Стало: «С удовольствием прочитал в книге Олега Шестинского «Жизнь» такие строки...»

А следом за третьей книжкой поспевает четвертая. Потом выходит второе издание второй. И так далее. Книги М. Числова, как матрешки: каждая последующая заключает в себе все предыдущие. То есть вроде бы их и шесть, а в то же время как бы и одна...

Но давайте наконец посмотрим, о чем пишет столь щедро издаваемый автор. Откроем вышедший в издательстве «Современник» в самом конце 1987 года солидный том, на котором золотыми буквами начертано: Михаил Числов. ЛЕД И ПЛАМЯ.

Ба, знакомые все лица! Все тот же, кочующий из книги в книгу обширный раздел о Егоре Исаеве (дополненный, правда, недавними газетными выступлениями Числова по поводу новых поэм Исаева). Все те же, переходящие из книги в книгу соображения о поэмах Алексея Маркова, Германа Валикова, Василия Федорова, Юстинаса Марцинкявичюса, Анатолия Преловского...

Впрочем, есть и новые персонажи. Ну, например, В. Куковякин, «поэтическая поступь» (так!) которого особо отмечена критиком. Или Н. Харлампьева, стихи которой — «это поэзия сложных душевных переживаний, по-современному психологически напряженная, интеллектуально насыщенная». Или: «В поэзии появилось новое интересное имя — Людмила Букина. В ее стихах ощущается мощная, прямо-таки первобытная сила». Или: «В лице К. Рябенького современная поэзия обретает еще один свежий и добрый голос». Собранные вместе, эти высказывания кого угодно заставят сокрушаться: как же мы проглядели приход в нашу поэзию этой замечательной плеяды «мощных» молодых авторов?

Михаил Числов. Лед и пламя. М., Современник, 1987.

Спасибо Михаилу Числову: теперь мы знаем подлинное место новых дарований в отечественной и мировой культуре. «Ближе всех к Ларисе Саенко страсть и мысль великого Шекспира, бушующие под покровом строгих одежд сонета». Впрочем, наедине с Шекспиром М. Числов юную поэтессу не оставляет: он вводит ее в общество Петрарки и Микеланджело, Лопе ве Веги и Ронсара, Пушкина и Верлена, Бехера и Камоэнса. Увы, сами стихи Ларисы Саенко не выигрывают от столь блистательного соседства. Но М. Числов неутомимо демонстрирует могущество сравнительного метода. Параллелям несть числа: К. Рябенький «душевно родственный человек» Сергею Есенину; стихи Л. Букиной «напоминают позднего Луговского с его поисками гармонии в хаосе жизни, с его яростными, волевыми ритмами и интонациями».

В один ряд с «Ахматовой, Ахмадулиной, Пастернаком» ставится Галина Мясникова, а с «Пастернаком, Цветаевой, Ахмадулиной» — Ия Сотникова. Конечно, лестно А. Парщикову «продолжать традицию» Хлебникова, Заболоцкого, а заодно и Гесиода. Дескать, ну что, брат Гесиод?.. Но что общего у этого и впрямь талантливого молодого автора со славным поэтом античного мира? Что, наконец, общего у всех трех названных критиком поэтов между собой?

Эрудиция М.Числова простирается, однако, далеко за пределы литературы. Он пишет об одном из современных поэтов: «Авторская мысль оказывается сродни актуальнейшим натурфилософским идеям новейшего времени — прозрениям Вернадского, Циолковского, Эйнштейна». В главе о другом поэте этот ряд дополняется еще одним великим именем: «Поэт в какой-то мере (?! — А. М.) современник Эйнштейна, Циолковского, Вернадского, Менделеева».

Повзводно и поротно маршируют по страницам книги М. Числова классики и современники, дебютанты и отягощенные славой авторы. Оговорюсь, я далек от того, чтобы оценивать здесь творчество того или иного упомянутого выше поэта. Речь не о них — а о Михаиле Числове.

Но пора сказать и о главном: написав в этой книге о десятках поэтов, М. Числов умудрился не написать в ней ни слова о поэзии.

Вы найдете в книге, например, рассказ о том, как Е. Исаев, служа в группе советских войск в Германии, строил волейбольную площадку, или — в связи с молодыми поэтами — изложение перипетий, связанных с возведением БАМа, но собственно стиховедческого разбора, анализа образной ткани стиха в ней нет или по крайней мере почти нет.

«Конечно, их стихи профессионально несовершенны»,— оговаривается как бы между делом М. Числов в разделе о молодых поэтах, однако уже в следующей фразе твердо заявляет: «Но они обладают обаянием подлинного документа, так как написаны людьми, непосредственно работавшими и продолжающими работать на БАМе».

Хвалит наш автор те или иные стихи, того или иного автора главным образом за тему. Конечно, и за жанр тоже: если пишет поэмы — хороший поэт, если нет — плохой; но главным образом все же за тему, за «мысли», которые стихотворец пропагандирует.

«Это критик широкого диапазона и глубокого мышления, умеющий синтезировать самые различные явления нашей реальности, стремящийся соотнести слово с жизнью, тему с позицией»,— читаем в издательской аннотации на книгу «Лед и пламя». А тему с исполнением не надо, что ли, «соотносить»?

Читаешь книгу — и тебя не оставляет ощущение, что это не о разных, а об одном каком-то, пока тебе незнакомом поэте написано. «История... постоянно, всегда живет, ощущается в строках стихов Леонида Мартынова. В самых что ни на есть современнейших стихах, обращенных к злобе дня». «...Для С. Наровчатова характерно постоянное обращение к национальной истории, русскому народному поэтическому творчеству... история становится... лишь трамплином для воспарения поэтической мысли, занятой решением насущных, сегодняшних задач». «Поэзия Вл. Соколова, будучи активно связана с бурями и страстями своего времени, вместе с тем живет ощущением неразрывной связи с делами и событиями прошлых времен». «А. Романов пишет в своих северных поэмах... о действительных трудностях сегодняшней жизни села, но все время не теряет из виду внушающую гордость историческую ретроспекцию и историческую же перспективу». Та же нехитрая мысль и примерно в тех же неудобочитаемых выражениях — в главах книги, посвященных А. Маркову, Ю. Марцинкявичюсу, А. Алдан-Семенову, Ст. Куняеву... Можно было бы подставлять вместо указанных фамилий любые другие.

А теперь разрешите вопрос: адресуя сборник многим тысячам читателей, был ли М. Числов сам читателем своей книги? Вопрос не праздный. Собрав в одну кучу опубликованные и не опубликованные прежде рецензии, а также разрозненные части ранее выходивших книг, М. Числов не поправил в них ни слова. Хотя поправить следовало многое.

Ну, например, в свое время М.Числов вставил в одну из статей о Е. Шевелевой ранее публиковавшийся, его же перу принадлежащий разбор ее поэмы «Мост у Островы». Поскольку в эту книгу попали и статья, и разбор, получилось так, что страницы 124 и 199 в ней совершенно одинаковые!

Неожиданные повторы обнаруживаем в главе об Ал. Михайлове: «Еще одна особенность творчества критика Ал. Михайлова. Его интересы сосредоточены почти исключительно на проблемах современной советской поэзии» (с. 279). «Ал. Михайлов — один из немногих

серьезных критиков, интересы которого сосредоточены главным образом в области новейшей поэзии» (с. 286). «Совпадение» отнюдь не случайное: статья состоит из двух частей — отзывов на книги Ал. Михайлова «Тайны поэзии» и «Два ключа».

Перепечатывая ту или иную рецензию под видом литературного портрета, М. Числов не озаботился даже тем, чтобы хоть немного осовременить ее. В результате в главе о Куняеве (которая публиковалась в журнале «Наш современник» в 1982 году) М. Числов называет «новым сборником поэта» книгу «Солнечные ночи», хотя после нее Куняев издал еще шесть книг лирики! Точно так же творчество Владимира Соколова закончилось для Числова книгой «Сюжет» (1980), а Александра Романова — сборником «Северные поэмы» (1979), и Роберта Рождественского он считает автором одной-единственной поэмы — «Двести десять шагов» (1976), хотя это не первое и не последнее произведение поэта в крупном жанре. Более того, если верить М. Числову, оказывается, и Василий Федоров не умер, а активно «участвует в этом благородном общем деле по-своему...» Повезло разве что Валентину Устинову: М. Числов перепечатал рецензию не на очередной сборник лирики, а на «Избранное», вышедшее сравнительно недавно — в 1984 году, и потому путь поэта оказался в книге представлен более полно.

Так что если какой-нибудь дотошный читатель заинтересуется, почему это М. Числов в разделе о своде поэм А. Преловского «Вековая дорога» разбирает только три из шести поэм свода, мы можем, не боясь ошибиться, объяснить: да потому, что соответствующую рецензию он опубликовал в «Советской культуре» в 1980 году, когда остальные три поэмы еще не были написаны, и с тех пор без изменений перепечатывает ее во всех своих книгах, включая и последнюю, о которой речь. Названия приводятся, правда, всех шести поэм, а вот разбираются первые три. Дочитать свод Преловского для критика оказалось задачей непосильной.

В свое время мне довелось быть составителем сборника поэм молодых авторов, который был предложен издательству «Молодая гвардия», но не был опубликован после отрицательной внутренней рецензии М. Числова. На нет и суда нет — рукопись была отдана в другое издательство. Однако в новой книге М. Числова я обнаружил ту самую злополучную, в авторский лист, рецензию: М. Числов не только разбирает в ней неопубликованные произведения, но и полемизирует с мнениями известных поэтов, написавших предисловия к ним,— мнениями, также не увидевшими пока свет. «Как-то не принято» разбирать еще не вышедшие произведения, оговаривается он в наспех написанном предуведомлении. Но дело в том, что не «не принято», а запрещено законом (ГК РСФСР, ст. 479, 492, п. 2, 499)!

Авторы сборника уже высказали в печати отношение к этому странному факту («Литературная газета», 2 декабря 1987 г., с. 7), поэтому не буду распространяться на этот счет подробно. Скажу лишь об одном, весьма характерном курьезе. Получив в свое время из издательства отзыв М. Числова на сборник поэм, я обратил внимание на его заключительную часть: «Ну, а представим себе, что все составителем задуманное, вместе со вступительными словами известных поэтов, увидело бы свет? Получился бы манифест поэтического направления, ориентированного не на все реальное богатство нашего поэтического наследия, а на какую-то ее часть». Прошу обратить внимание на предпоследнее слово: «ее». Кто эта таинственная незнакомка, обозначенная невесть откуда взявшимся местоимением? Самое удивительное заключается в том, что М. Числов в священном трепете перед собственным сочинением перепечатал его, не изменив ни слова, вместе с «ее».

Ну скажите теперь: перечитай он собственную рукопись, разве не поправил бы он свой текст в этом месте? Разве не устранил бы повторы? Разве не заменил бы в главе о Вас. Федорове настоящее время на прошедшее? Разве не сделал бы то же самое в главе о «бамовской» поэзии («национальные республики, края и области нашей страны активно участвуют в строительстве БАМа, посылают туда отряды своих представителей»).

В нашем издательско-писательском обиходе появилось уродливое словечко: «строкаж». Звучало оно даже на последнем съезде писателей СССР. Применяется оно по преимуществу, когда речь заходит об авторах толстых романов, умышленно раздувающих размеры своих сочинений, чтобы увеличить «строкаж», а соответственно и полагающееся за «строкаж» вознаграждение. Похоже, что за «строкажем» гонятся у нас не только неуемные романисты, но даже и критики. Чем же еще объяснить появление многочисленных книг М. Числова, которые являют собой какой-то бесконечный, тягостный пасьянс из одних и тех же карт.

Андрей Мальгин

Из почты «Знамени»

Журнал «Знамя» в № 11 за 1987 год одобрительно отозвался о недавних публикациях «Нашего современника» против пьянства. Но вот в рецензии «Ради славы российского театра» («Наш современник», 1986, № 7) Николай Зуев бросает ретроспективный взгляд на это явление и смело шагает в глубь веков вместе с авторами рецензируемых книг: «...пьянство было хорошо рассчитанным иноземным влиянием на русский народ, средством его разложения и — в конечном итоге — уничтожения... Грозный, коварный враг! Шли через Польшу на Русь корчмари,— говорит автор устами своего героя,— шли, чтобы спаивать русский народ, разлагать его». Автор за речи своего персонажа может нести только, так сказать, художественную ответственность. А вот Н. Зуев, согласный с тем персонажем и выражающий со своей стороны вполне определенное мнение, должен отвечать за себя. Чьим конкретно было это иноземное со столь далеким прицелом влияние? Какое государство или какая организация избрали зеленого змия орудием разложения и уничтожения целого народа? Иначе говоря, когда и где возник заговор и зародилась идея сделать алкоголь орудием геноцида? И почему именно русский народ был избран его объектом?

Наука история — дама строгая: ей подавай определенность, факты — кто, где, когда? Тут за спину персонажа не спрячешься, художественной вольностью и условностью не отговоришься, туманными намеками не отделаешься.

Заглянем в Большую Советскую Энциклопедию: «Выработка водки (хлебного вина) в России началась в конце 14 в. Водка делалась из ржи, пшеницы и ячменя» (БСЭ, изд. 3, т. 5, с. 513). «Получение спиртных напитков посредством брожения сахаристых и крахмалистых веществ было известно с глубокой древности. В 11 в. в Италии впервые был получен винный спирт перегонкой виноградного вина. Значительное развитие производство спирта получило в 14 в. в Зап. Европе и России... В 16 в. при Иване IV Грозном водка стала предметом казенного обложения. В последующие годы винокурение как источник государственного дохода приобретало все большее значение» (Там же, т. 24, кн. I, с. 327).

Транзитные ли корчмари занесли в Китай и Японию рисовую водку (один из видов которой — китайская мао-тай — семидесятиградусной крепости)? Порох китайцы изобрели сами. И раньше европейцев. Надо полагать, и водку тоже...

Слово к о р ч м а есть во всех славянских языках (разумеется, в разном звуковом обличье). В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «О значении корчмы в старину сохранилась память в песнях южных славян, где корчмарка (содержательница корчмы) — постоянный друг и посестрима народных героев». Словарь разъясняет, что «всего чаще под корчемством разумеют тайный провоз и продажу вина». И продолжает: «В Московской Руси установилась питейная регалия, но народ не мирился с нею, продолжал по старинке сам варить пиво, курить вино, заводил тайные корчмы, а в царевы кабаки не шел — там собирались одни лишь питухи. Корчемствовали все: воеводы, дьяки и головы, ведавшие кабацкие сборы, дворовые люди, крестьяне и дворники (дворники — владельцы или содержатели постоялых дворов.— **Э. Х.**), стрельцы и солдаты, монахи и монахини. Правительство энергично преследовало корчемников, налагая на них штрафы, которые выбивались правежом, подвергая наказанию кнутом, пыткам, конфискации всего имения и ссылке на Яик и в Сибирь, устанавливая для крестьян и бобылей тех сел и деревень, где открывалось корчемство, круговую ответственность за недонесение, но все эти меры оказывались бессильными». А почему правительство преследовало корчемников? А потому, что видело в их

деятельности «злоупотребление, клонившееся к ущербу казенных доходов» от продажи водки в кабаках. «В течение всего XVIII столетия цена на вино увеличивалась беспрестанно, а вместе с этим развивалось и корчемство с быстротою, удивлявшею правительство и ставившею его в большие затруднения» (Брокгауз и Ефрон, т. XVI, СПб, 1895, с. 359).

О различии между царевым кабаком (первый из которых завел иа Балчуге Иван IV) и корчмой, о царской и боярской кабацкой сети, системе кабацких голов, целовальников, кабацких бурмистров, системе откупов — всего того, что в совокупности представляло страшную машину обирания и спаивания народа, советую Н. Зуеву прочесть в книге Ивана Прыжова «История кабаков в России в связи с историей русского иарода» (СПб. — М., 1868), а также в книге Б. Ф. Брандта «Борьба с пьянством за границей и в России» (Киев, 1897), статье И. И. Дитятина «Царский кабак Московского государства» (в его книге «Статьи по истории русского права». СПБ., 1896). И эта безжалостная машина начала действовать, набирая со сказочной быстротой обороты, более чем за полтораста лет до событий, происходящих в книгах, рецензированных Н. Зуевым.

И. Прыжов саркастически замечает: «...в числе всех этих бояр, которые, местничая между собою, чтоб не быть бесчестным, заняв место пониже, не нашлось ни одного, который решился бы отказаться от кабака, и во множестве дел о местах вы тщетно будете искать случая, чтобы кто-нибудь счел за бесчестье сидеть или служить рядом с владельцем кабака, а между тем Хилков не хотел быть ниже Пожарского, которого родители бывали в приказчиках (Русск. ист. сбор. III, 391). Такова была граждаиская честь, легшая в основу московского царства».

Тамга и кабак — желанная цель князей и бояр с половины XVI века. Среди «искателей кабачной мзды» князья Ф. Ф. Мещерский, А. М. Львов, дьяк Чичерин. «Кабацкая прибыль... сделалась источником для удовлетворения всяческих нужд царя, начиная от государственных и до семейных. Умерла в 1615 г. в Суздале царица старица Александра, и указом царя велено было, чтобы тотчас взяли на ее погребение из кабацких денег пятьдесят рублей».

Любопытно фарисейское переименование в 1651 году кабаков в кружечные дворы (отсюда кружала), а в 1746 году — в питейные заведения. Порося в карася...

Вот что говорит современный исследователь: «Долгое время на Руси преобладала «престижная» форма потребления алкоголя: пиры, стоившие дорого, были доступны только князьям и являлись не только развлечением, ио и закреплением дипломатических контактов, торгово-хозяйственных договоров, данью уважения к соседу и т. п. Что касается массового потребления крепких напитков, то оно начинает складываться в конце XVI века, когда производство и продажа алкоголя всецело стали делом государства. До этого они находились в ведении «вольной корчмы», функционирующей сезонно (осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, и зимой). Примечательно, что корчмарь избирался населением на строго определенный срок. Кроме того, общинное самоуправление осуществляло меры социального контроля: следило за качеством напитков (преобладали не очень крепкие), мерой (злоупотребление осуждалось, пресекалось и высмеивалось), субъектами потребления (подростки и женщины практически исключались), характером и стилем общения в застолье (корчма была разновидностью мужского клуба). Уничтожение этого института и создание системы государственных кабаков (в 1552 году существовал только один, а в середине XIX века их было уже более полумиллиона) изменило ситуацию радикально: потребление алкоголя стало массовым и плохо контролируемым процессом. В основе лежала алчность правительства... Сошлемся на данные XIX века: в 1819 году питейный доход составил 11% поступлений в бюджет, в 1859 году — 38%, а за двадцать лет (1865—1885) доходы по этой статье почти удвоились. Именно тогда стали говорить о «пьяном бюджете».

Нельзя забывать и о политических соображениях царизма. Еще Екатерина II говаривала, что «пьяным народом легче управлять». Широко известны слова

представителя русского консерватизма К. Леонтьева — «школы вреднее кабаков» и мнение одного из последних министров просвещения: «водка — лучший оплот против занятий политикой». Словом, лучше кутежи, чем мятежи! Винную монополию в демократической печати вполне обоснованно расценивали как шаг в эпоху Ивана Грозного, учредившего в завоеванном Новгороде кабаки, «чтобы обессилить народ».

Пьянство имело и внешнеполитический аспект. Многие военные авантюры царизма фактически финансировались «пьяными деньгами»... В XIX веке началось промышленное производство дешевой картофельной водки. Это сделало алкоголь практически общедоступным. Началось формирование питейных обычаев и обрядов, установок и стереотипов... Выпивка превратилась в атрибут национального образа жизни» (И. А. Голосенко. «Русское пьянство: мифы и реальность». «Социологические исследования», 1986, № 3, с. 204—205).

Нет, не транзитные корчмари, не иноземцы, а цари да бояре, государство царское усердно спаивали народ. Не иноземную руку надо искать здесь и на нее валить это черное дело, обеляя тем истинных виновников, реабилитируя в этом пункте царское государство. На самом же деле пьянство держалось на двух китах: фискальном и политическом интересе государства и тяжелой доле народа.

Напомню: Николай Алексеевич Некрасов печально свидетельствовал: «Одна дорога торная — дорога к кабаку». Вот и Иван Прыжов в предисловии к своей книге пишет: «Целью нашей было изучить питейное дело со стороны той плодотворной жизни, на которой произрастали кабаки, сивуха, целовальники,— взглянуть на него глазами миллионов людей, которые, не умудрившись в политической экономии, видели в пьянстве божье наказание и в то же время, испивая смертную чашу, протестовали этим.., иначе, пили с горя».

Поразительно, как это Н. Зуева и единомыслящих с ним не смущает, что никто из известных русских писателей ни разу не свалил самое появление крепких напитков на Руси на иноземцев или иноверцев. Не говоря уж о том, что ни один из этих писателей ничего не сказал о когда-то кем-то за тридевять земель, в тридесятом царстве задуманной алкогольной диверсии. Неужто писатели XVIII—XIX веков были менее Н. Зуева и его единомышленников осведомлены в этом вопросе?

Наука верна фактам, как Пенелопа Одиссею, и бесстрашна перед их лицом, как Ахилл перед рядами троянцев.

«Факты — воздух ученого»,— справедливо утверждал академик Иван Петрович Павлов.

Почему бы этим чистым воздухом не дышать публицистам, и критикам, и редакторам?

Зачем же загрязнять информационную среду злонамеренными домыслами и указаниями на фантастические причины, к сожалению, весьма давней недоброй традиции?

Эр. Хан-Пира,
филолог

Уважаемая редакция!

В «Литературной газете» за 25 ноября 1987 года (№ 48) опубликована беседа с писателем Михаилом Алексеевым, главным редактором журнала «Москва». В этой беседе М. Алексеев затрагивает и творчество Александра Бека. Цитирую: «Рискуя навлечь на себя гнев, хочу все-таки сказать, что недавно опубликованный роман «Новое назначение» Александра Бека, правда, под другим названием, был в журнале «Москва» много лет назад. Мне, тогда военному писателю, дорого было имя Бека, автора «Волоколамского шоссе», он очень талантливый человек, но этот роман показался нам весьма средним с точки зрения художественности.

Еще раз заявляю во всеуслышание: роман был отклонен вовсе не по «идейным» соображениям».

Прочитав этот пассаж, я испытала горестное недоумение: неужто такое возможно? Не мне обсуждать художественные достоинства бековской прозы — это, надеюсь, сделают другие,— я просто хочу привести полностью письмо Михаила Алексеева от 13 января 1969 года, которое хранится в архиве отца.

«Уважаемый Александр Альфредович!

Очень внимательно прочитал Ваш роман «Новое назначение» (значит, название рукописи другим не было? — **Т. Б.**). Слов нет, написан он рукой сильной и опытной. Основная же концепция (здесь и дальше разрядка моя.— **Т. Б.**) его нам представляется решительно неприемлемой.

Суть романа: все, кто работал со Сталиным и верил в него, исторически обречены, все они как бы больны неизлечимой болезнью. Мысль эта воплощена в образе Онисимова.

И, напротив, те, что были подальше от вождя или внутренне сомневались в нем, заключают в себе будущее страны (Челышев, Головня-младший).

Можно ли согласиться с такой философией? А не обижаете ли Вы те тысячи и миллионы своих сограждан, людей безусловно честных, сокрушивших фашизм и ныне занимающих важные государственные, партийные и народнохозяйственные посты? Ведь Сталину безраздельно верили и те, коим ныне за сорок,— а это основная масса нынешних руководителей всех звеньев.

Думается нам, что Вы шли не от жизни, а от заранее созданной Вами же схемы.

Если у Вас будет время и желание, я бы охотно поговорил с Вами о рукописи более подробно.

Глубоко уважающий Ваш талант

М. Алексеев».

Так что же все-таки смутило в 1969 году М. Алексеева в романе Бека «Новое назначение» — слабая в сравнении с какой-то иной журнальной продукцией того времени художественность или же неуместная в то время концепция, суть, философия? И как понимать слова Алексеева, заявленные «во всеуслышание», что роман был отвергнут исключительно по художественным, а не по «идейным» соображениям?

Татьяна Бек

Исполком городского Совета сообщает, что факты, изложенные в статье «О перестройке фрамуг в Вязьме» («Знамя» № 9 за 1987 год.— **Ред.**), частично подтвердились.

Средняя школа № 2 сдана в эксплуатацию в 1975 году с серьезными недоделками. Большинство из них за прошедшие годы устранено.

В настоящее время в каждом классе школы открывается по одной-две фрамуги. Классы регулярно проветриваются. Проверки санэпидстанции не отмечают нарушения воздушного режима в классах.

Статья «О перестройке фрамуг в Вязьме» обсуждалась на совете директоров в гороно и на совещании при директоре средней школы № 2.

В 1988 году планируется провести замену оконных переплетов с заменой фрамуг на обыкновенные форточки.

Контроль за соблюдением воздушного режима в школах города возложен на директоров школ и медицинский персонал.

Председатель исполкома Вяземского городского Совета народных депутатов Смоленской области В. К. Луканов

6.10.87 г.

Советуем прочитать

Павел Постышев. Воспоминания, выступления, письма. М., Политиздат, 1987.

«Вспоминая с благодарностью», «Сын рабочего класса», «С него брали пример»... Так названы лишь некоторые из глав, воскрешающих эпизоды жизни члена партии большевиков с 1904 года Павла Петровича Постышева и написанных его соратниками. Человек большого организаторского таланта, сочетавший в себе скромность и непримиримость к врагам, глубокую преданность делу народа и потребность конкретно заботиться о нуждах трудящихся, он оставил след и в жизни тех, кто трудился с ним бок о бок в Иваново-Вознесенске и на Украине, сражался за Советскую власть в Сибири и на Дальнем Востоке. В сборник включены также воспоминания самого П. П. Постышева о революции, гражданской войне, его письма и выступления.

Книга вышла, когда перед нашим обществом стоит благородная задача: сказать правду о тех, кто безвинно погиб в годы культа личности,— и не просто заявить о посмертной реабилитации, а воздать должное огромному вкладу истинных ленинцев, подобных П. П. Постышеву, в то, что достигнуто нашей страной.

Виктор Астафьев. Затеси. Наш современник, № 10, 1987.

«Слово... не может заставить светить солнце или падать дождь... но если не внешнею природою, то оно овладело внутренним миром человека». Это давнее высказывание Виктора Астафьева вспоминается сегодня, когда читаешь продолжение цикла его рассказов «Затеси», начатого более четверти века назад. Писательское слово, неравнодушное, а порою горькое, и ныне обращено к современнику, с тем чтобы пробудить в нем боль, сочувствие, подвигнуть не к разрушению — к созиданию, пробуждению лучших качеств души. И как не опечалиться грустными размышлениями автора о судьбе льняного поля России, ныне заброшенного: сеять и обрабатывать его на Вологодчине практически некому.

Небезразлична для нынешнего дня тема рассказа «Не запрягайте женщин в плуг», хотя действие его происходит далекой весной сорок четвертого военного года в глубоком тылу, в деревне Деряжнице. Повыбило почти всех мужиков, лошадей осталось «две калеки», случалось, и баб впрягали в плуг, а начальство «на трибунах говорило че-то... блага сулило».

И хотя в последней, менее чем полустраничной миниатюре «Приветное слово», настроение у автора мрачное, встреча с незнакомой маленькой девочкой, которая с присущей ее возрасту детям открытостью и добротой «приветствует всех, всему радуется»,— встреча эта не может не вселять надежды на доброе, лучшее. Не может заглушить уверенности в том, что, «овладев внутренним миром» читателя, астафьевское слово не оставит его равнодушным к делам земным.

Константин Ваншенкин. Приметы. Лирика в двух книгах. М., Советский писатель, 1987.

Две книги лирики Константина Ваншенкина — «Эти письма» и «Встреча» объединены под одной обложкой. Стихи, вошедшие в первую,— о юности, через которую прошла война. Она наделила поэта нелегким опытом, горькими воспоминаниями о потерянных друзьях, мудростью, обретенной в испытаниях. Память об огненных годах не покидает поэта, напротив, с годами она все отчетливее:

...Пока мы были на войне,
В ее дыму, в ее огне,
Она жила кругом, вовне...
Но оказалось, что во мне.

За плечами большая жизнь, она продолжается, наполненная радостью встреч, горечью разлук, счастьем познания, и во второй книге поэта немало размышлений о творчестве,— стихов о женщине, любви, Родине,— вечных тем поэзии.

Владимир Яворивский. Мария с полынью в конце столетия. Роман. Авторизованный перевод с украинского Е. Мовчан. Дружба народов, № 9, 1987.

Место действия — небольшой украинский город и его окрестности, время — сегодняшнее, всего несколько дней из жизни этого городка. И, однако, значение того, что свершается, поистине всемирно, ибо город этот — Чернобыль, а дни — те самые, когда разразилась одна из горчайших драм нашего века. Начавшись как повествование о радостях и горестях, мечтах и заботах семьи Мировичей, роман воссоздает картину страшной катастрофы, в которой жизнь главных героев рушится вместе с жизнью тысяч других людей.

«Рассказать об этих событиях — мало,— предваряет автор роман.— Поэтому делаю попытку помочь вам увидеть их...»

Участь Мировичей напоминает об опасности, грозящей большой семье человечества. Недавняя боль, оживающая на страницах произведения, нестерпима для сердца и разума, и писатель, сам ставший свидетелем событий в Чернобыле, надеется, что правда об этой беде может стать целительной.

Г. Файман. Кинороман Михаила Булгакова. Искусство кино, №№ 7—9, 1987.

«Я не знаю, кто и когда будет читать мои записи. Но пусть не удивляется он тому, что я пишу только о делах. Он не знает, в каких страшных условиях работал Михаил Булгаков, мой муж». Наверное, эти слова Елены Сергеевны Булгаковой с полным правом можно отнести ко всей поистине подвижнической творческой деятельности русского писателя.

Хотя автор публикации и комментариев Г. Файман говорит в предисловии, что это его личная версия обстоятельств работы Михаила Булгакова в кинематографе середины 30-х годов (а конкретно это годы 1934—1936), нельзя не отнестись к этой версии с доверием. Ибо материалы, приведенные в журнале,— служебная и личная переписка, дневниковые записи, выдержки из газет 30-х годов,— настолько красноречивы, что в комментариях почти не нуждаются. С интересом и, конечно, не без привкуса горечи читаешь об этих не таких уж далеких, но уже принадлежащих истории годах, событиях, деятелях театра, кино. И порою ловишь себя на странном ощущении: наверное, многие наши современники, писатели и сценаристы, работавшие в мире кино по зову сердца и таланта, до недавнего времени могли сказать: «Да это же и про нас тоже!..»

Е. Б. Черняк. Невидимые империи. Тайные общества старого и нового времени на Западе. М., Мысль, 1987.

Обложка книги, на которой изображена рука в перчатке с мастерком, увенчанным масонской символикой, и ее подзаголовок («Тайные общества старого и нового времени на Западе»), несомненно, привлекут читателя, неравнодушного к миру исторических загадок и невероятных приключений, таинственных исчезновений и злодейских заговоров. Надо сказать, автор не обманет надежд: наряду с интереснейшими сведениями о розенкрейцерах, масонах и прочих тайных обществах, овеянных легендами, одна фантастичнее другой, Е. Черняку удалось уместить на двухстах с небольшим страницах массу исторической информации, незнакомой или полузабытой теми, кто всуе и не к месту употребляет слово «масон». Заинтересовавшийся этой книгой откроет для себя немало занимательных страниц из прошлого нашего общего европейского дома, на которых оставили свои видимые и с трудом различимые следы «избранные» — члены привилегированных тайных обществ старого и нового времени.

К сведению читателей:

Объявленная на 2-й номер автобиографическая повесть Анатолия Жигулина «Черные камни» будет опубликована в последующих номерах журнала.

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Редколлегия: Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ (зам. гл. редактора), Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, В. Я. ЛАКШИН (первый зам. гл. редактора), В. С. МАКАНИН, В. Д. ОСКОЦКИЙ, Р. В. СВЯТОГОР (отв. секретарь), В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, Тверской бульвар, 25.
Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — 202-04-49, секретариат и заместители главного редактора — 202-30-29 и 202-73-10, отдел прозы — 202-71-97, отдел публицистики — 291-04-43, отдел критики и библиографии — 202-67-79, отдел поэзии — 202-98-80.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.12.87. Подписано к печати 07.01.88. А 05301. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Учетно-изд. л. 23,27. Усл. кр.-отт. 21,17. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1721.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.